

#48
KRESCHATIK
International Literary Magazine

International Literary Magazine #

KRESCHATIK

#48

П Е Р Е К Р Е С Т О К

Вест-Консалтинг

Международный
литературно-
художественный
журнал





Главный редактор
Борис Марковский

Зам. главного редактора
Евгений Степанов (Москва)

Редакционная коллегия:

Айдар Хусанов (Уфа)
Борис Херсонский (Одесса),
Игорь Савкин (Санкт-Петербург),
Владимир Цивунин (Сыктывкар),
Борис Констриктор (Санкт-Петербург),
Игорь Лощилов (Новосибирск),
Юрий Проскураков (Москва),
Валерий Куклин (Берлин)

Художник
Сергей Пионтковский (Киев)

Ответственный секретарь
Елена Мордовина (Киев)
тел. (038) 067-83-007-11

Связи с общественностью
Александра Беренс (Берлин)

Год издания тринадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:
В. Markowskij, Tränke str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
e-mail: borismark30@T-Online.de
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2010 г.
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2010 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Феликс Чечик / <i>Натаня</i> /	«Перепутав конец и начало...»	4
Борис Марковский / <i>Корбах</i> /	«Не поможет ни райское пение...»	76
Игорь Панин / <i>Москва</i> /	Мертвая вода	108
Рафаэль Шик / <i>Дюссельдорф</i> /	«Значенье слов...»	125
Евгений Степанов / <i>Москва</i> /	«ты не стала богинею...»	160
Борис Юдин / <i>Нью-Йорк</i> /	«Тысячу строк ни о чём...»	197
Ирина Горюнова / <i>Москва</i> /	Из цикла «Шаманская книга»	223

В гостях у «Крещатика»

Поэты Ганновера
Общество «Die Fähre/Паром»

Михаил Аранов	235
Нина Мазур	238
Иосиф Моков	278
Виталий Шнайдер	281
Юрий Ткачѐв	299
Сергей Викман	302

Проза

Вл. Алейников / <i>Коктебель</i> /	Четверо. <i>Повесть</i>	8
Леонид Коньхов / <i>Москва</i> /	Киевские рассказы	78
Дмитрий Савицкий / <i>Париж</i> /	Blue in green. <i>Отрывок из повести</i>	112
Дм. Верещагин / <i>Москва</i> /	Божий суд. <i>Повесть</i>	128
Виктор Санчук / <i>Нью-Йорк</i> /	Эх бы нам — вдоль реки...	163
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	Уже хорошо!	199
Игорь Шестков / <i>Берлин</i> /	О, Джонни. <i>Рассказ</i>	225
Вл. Гандельсман / <i>Нью-Йорк</i> /	Три рассказа	241

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Николай Гуданец / <i>Рига</i> /	«Мертвый сон совести»...	284
Виталий Амурский / <i>Париж</i> /	Было — не было	305

Латинский квартал

Генрих Шмеркин / <i>Кобленц</i> /	Из книги «Кент Вавилон»	313
-----------------------------------	-------------------------	-----

Феликс ЧЕЧИК

/ Набания /



* * *

Перепутав конец и начало,
я прельщусь белизной листа
там, где истина не ночевала
и глаголют младенца уста.

Детский слышится хохот и лепет,
и глагол обжигает сердца,
и начало горбатого лепит,
что не будет конца.

* * *

Ощущение такое
от написанной строки:
будто сердце золотое
разменял на пятаки.

И в неведенье бессонном
жизнь профукал не одну,
заглушая медным звоном
золотую тишину.

* * *

как опущенный в воду
с чистой совестью на
половодья свободу
под названьем «весна»

сбросить памяти бремя
чтоб уже навсегда
пересохшее время
разлилось как вода

* * *

Наполнится тоской
и горечью обмана,
солёный гул морской
гранёного стакана.

Прольётся через край,
затопит всё на свете;
и адом станет рай,
и поседеют дети.

И я забудусь сном;
и, растворившись в горе,
гранёным стаканом
я вычерпаю море.

* * *

Памяти В.Кубышкина

У газовой плиты
на кухне пьёшь чифирь
и поверяешь ты
гармонией цифирь.

А за окном «застой»,
а в сердце Мандельштам,
и на 1/6
вчера зацвёл каштан.

* * *

Себя старей,
своей любви, —
начала всех начал.
Но вновь — сирень,
и соловьи,
и кудри по плечам.

Всё потому,
что сквозь печаль
ты излучаешь свет.
И я тону
в твоих очах
и смерти нет.

* * *

Провалился сквозь землю;
и отныне в земле
равнодушно я внемлю
похвале и хуле.

Под землёй заручился,
как поддержкой небес,
отфильтрованным чистым
словом примесей без.

* * *

В себе себя
не находя,
у октября
просил дождя.

И дождь пошёл;
и в октябре
я вдруг нашёл
себя в тебе.

* * *

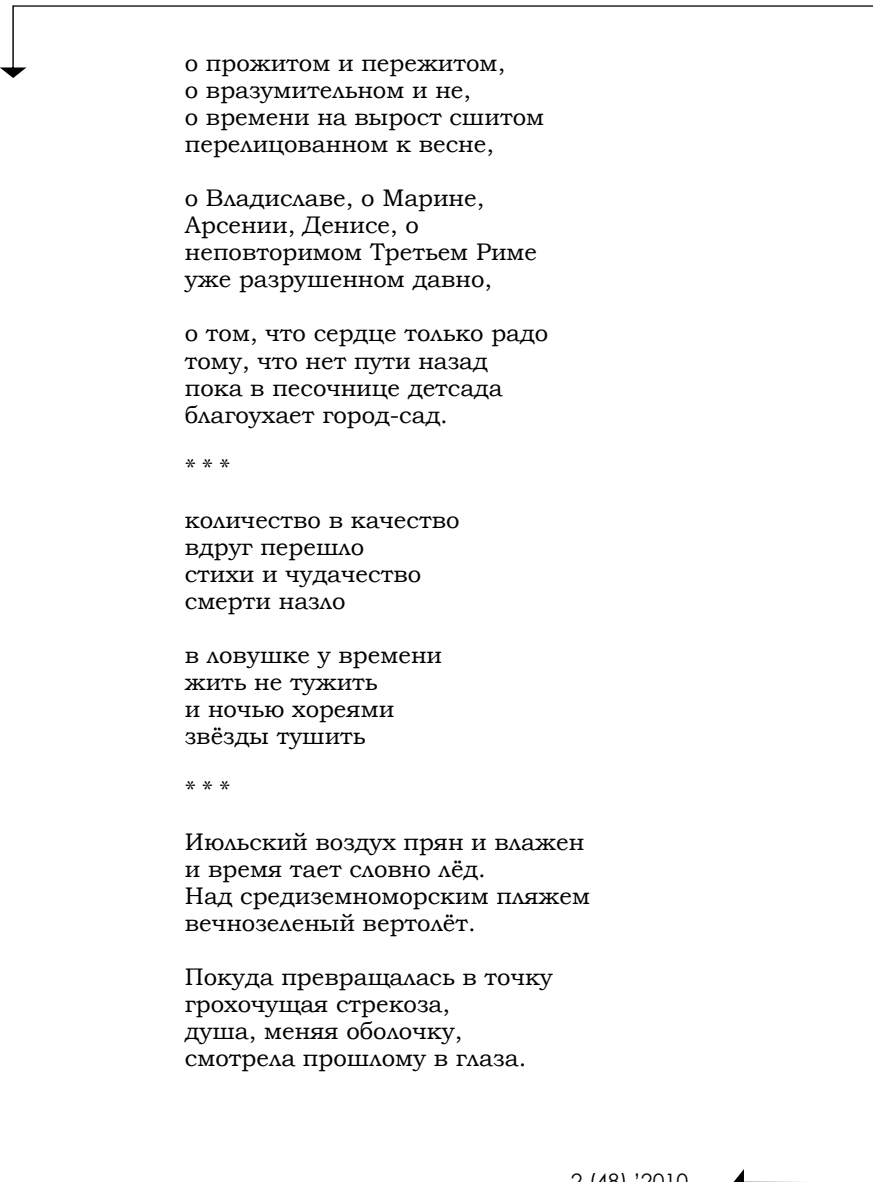
Ночи мартовские тихи
в стиле «ретро».
За ночь выросли лопухи
на пол метра.

А за мартом июль грядёт, —
зной жаровен.
Лопухнулся апрель, и вот
обескровлен.

Этак, можно свести с ума
человека.
Левантийская кутерьма.
Мёд и млеко.

* * *

В тени Большой и Малой Бронных,
в тиши Тверских, в глуши Ямских,
поговорим без посторонних
и помолчим среди своих:



о прожитом и пережитом,
о вразумительном и не,
о времени на вырост сшитом
перелицованном к весне,

о Владиславе, о Марине,
Арсении, Денисе, о
неповторимом Третьем Риме
уже разрушенном давно,

о том, что сердце только радо
тому, что нет пути назад
пока в песочнице детсада
благоухает город-сад.

* * *

количество в качество
вдруг перешло
стихи и удачество
смерти назло

в ловушке у времени
жить не тужить
и ночью хорями
звёзды тушить

* * *

Июльский воздух прян и влажен
и время тает словно лёд.
Над средиземноморским пляжем
вечнозеленый вертолёт.

Покуда превращалась в точку
грохочущая стрекоза,
душа, меняя оболочку,
смотрела прошлому в глаза.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

/ Коктебель /



Четверо

Думаю — о былом. Нечего жить ушедшим? Помилуйте! — настоящее слишком связано с ним, чтоб уходить навеки. Всё оно — в человеке. Вместе с грядущим. Каждый тройственным чудом храним.

Чудом времён, однажды кем-то соединённых? Свыше? Конечно. То-то вместе им жить да жить. В этом единстве — тайна граней их, опалённых жгучим огнём вселенским. Надо ли в нём блажить?

Нет умиранья свету. Песня ещё не спета. Звук, возникая где-то, речь за собой ведёт. Ночь на дворе иль вечер — снова пылают свечи. Утро — ещё далече, но всё равно — придёт.

С днём драгоценным слиты все, кто с пространством квиты, чтобы искать защиты в том, что само собой станет поступком, шагом, взглядом, немалым благом, тягой к моим бумагам, песнею и судьбой.

Чудо не в том, чтоб взять его, словно птенца, в ладони. Чудо — в том, чтобы ждать его. Верить упрямо в него. Предстать пред ним — право, непросто. Постичь его — невозможно. Недосыгаемо чудо. Поскольку в нём — волшебство.

Пусть в измереньях новых звучат потайные струны. Пусть Бах в парике сползающем слушает вновь миры, в которых, сквозь все каноны, иные грядут кануны, планеты поют и луны. Звуки к нему — добры.

Клавир земного затворника. Вселенская партитура. Хорал киммерийский. Фуга отшельническая. В глуши звучит извечная музыка. Горы упрямо хмуры — но вот и они светлеют. Отрада — есть для души.

Тише! Впрочем, настолько сроднился Бах с тишиною, что лишь в ней утешенье находит от невзгод мирских. Это сон? Это явь для него. Напевы, как деревья, стоят за стеною, навевая что-то родное, вне законов и вне времён.

О чём я? Ах, да! — О времени. Об имени этого времени. Земного? А может, небесного? А может быть, зазеркального? О людях этого времени. О буднях имени в темени. О празднествах, навевающих тревогу слова печального.

Печален мир. Потому что он изначально — радостен. Радостен мир. Потому что — позже — он слишком печален. С этой печалью и с этой радостью — мы уходим в плавание. Но где-нибудь — мы неизбежно причалим.

О чём я? Ах, да! — Об имени. О времени этого имени. О знамени, на котором вышито слово «свет». О семени, прорастающем в степи. О море. О пламени, в душе моей оживающем. А мыслям пределов — нет.

Радостен мир. Открытия в нём сменяют события. Рушатся и воскресают неземные устои его. Покуда в кругу созвездий мы хороводы водим, приходит к нам неизменно любви земной торжество.

Постой! Побудь ещё рядом. Хотя бы чуть-чуть. Немного. Никто тебя не заменит. Кому поведать о том, что сердце болит недаром, что вновь тяжела дорога меж слов, давно уже сказанных и спрятанных на потом?

С кем скоротать мне вечер? Кого увидеть в окошке — идущего наконец-то — из памяти ли? — ко мне? Желтеют густые кроны. Листва лежит на дорожке, шурша на ветру приморском, как будто в живом огне.

Желания то сбываются, то сызнава не сбываются. Не сдаются годам, упрямясь, чаяния мои. Вдали, над холмами сизыми, что-то вдруг затевается — летят оттуда, сгущаясь, дум бессонных рои.

Куда мне теперь деваться от нового наважденья? Со старым ещё не справился — а это настигло вмиг. И что в нём за знак? Откуда? Возможно — предубежденья. Возможно — предупрежденье. Нет, просто — рожденье книг.

Время, брат, и не то сносило, за прибрежной застыв чертой, — и звенит нугряная сила в перепадах воды крутой. Время, друг, не затем стерпело всё дурное, что быть могло, чтобы сызнава нам не пело то, что вброд за собой вело. Потому-то пространству с нами в жмурки нечего, брат, играть — и вращаем в него корнями, чтобы воздух горстями брать. Посреди измерений старых мы стоим на закате, друг, эры, вспомнившей вдруг о чарах, вовлечённых в незримый круг.

СМОГ'a — считали власти в начале семидесятых — больше не было — ни в природе, ни, тем более, на бумаге (в их бумагах, по крайней мере, в канцелярской их кутерьме, там, где, партии делу веря, все давно не в своём уме).

Ну и ну! Да куда ж он девался? Провалился сквозь землю, что ли? Или, может быть, улетел, — ведь бывает! — на небеса? Столько лет он — таился, скрывался. Привыкал к своей странной роли. Погибать — ни за что не хотел. Вправду ль нет его? Чудеса!

Для них, каких-то неведомых нам, да и никому вообще в стране толком неведомых, где-то там, наверху, сидящих, а на каком верху — кто его знает, и вовсе не тот это верх, из мудрости древней, который одновременно ещё и низ, а так себе, условное обозначение тех, кто у кормушки державной — синонима власти советской, для каких-нибудь там кремлёвских и лубянских, партийных и комсомольских, писательских и милицейских деятелей, начальников и подчинённых, заказчиков и исполнителей, всякой нечисти, шушеры, нежити, нави, мракобесов и циников, паразитирующих на всём полнокровном и жизнетворном, на всякий случай, чтобы вдруг чего не вышло, искореняющих всё свежее, новое, слишком уж непохожее на разрешённое и узаконенное, для профессиональных палачей и губителей творчества, — почему-то не было.

Так им было спокойнее, видимо. И удобнее, это уж точно. Баба с воза — кобыле легче. Отменили — и все дела. Постановили — и сделали. Запретили — как полагается. Без волянки, без тягомотины. Потрудились — на всю катушку. Да ещё и с размахом, с оглаской. С публикациями в печати. С издательствами. С угрозами. С откровенной травлей. С жестокостью неприкрытой. Не по-людски. По-кремлёвски — это уж точно. По-лубянки — само собою. По-писательски — тоже, выходит.

Всё здесь вместе, всё воедино, перепуталось и смешалось, разветвилось и расплодилось, как в аду, всё в одном ряду. И случилось — одну беду. И поэтому — речь губило. Чтоб другим неповадно было. Чтоб гадали: а что — потом? Убирать — так уж всех гуртом.

Но он, горемычный и непокорный СМОГ наш — существовал. И вовсе не собирался, как очень хотелось бы некоторым, уходить в небытие. Или, если выразиться потеатральнее, сходить со сцены. Или же, что ещё проще и по-протокольному доходчивее, — прекращать свою деятельность.

С какой это стати? Чего это ради? Из-за бредятины всяческой? Нет уж! Не на тех напали. Не выйдет. Этот номер у них не пройдёт.

Существование — свет. Существование — радость. Существование — молодость.

Наша молодость. Наша радость. Наш — сквозь тьму — жизнестойкий свет.

Вот потому-то, что вёл и спасал этот свет, вместе с опытом нескольких пройденных лет, круг наш, наконец-то уже не в виде прежнего хаотического роения, но совершенно правильно, как и задумано было заранее, до всей этой ненужной шумихи и пуб-

личности, ничего, кроме вреда, по моему разумению, не принесших, круг наш, подчёркиваю, ограниченный несколькими творческими людьми, и таковых было, замечу, вполне достаточно, и даже с некоторым избытком и запасом, но у нас всегда не без этого, и так уж заведено, и ничего с этим не поделаешь, такая страна сказочная, из песни слова не выкинешь, что было, то было, и всё тут, — круг наш существовал.

Потому что — существовали мы, его участники.

Просто, как уже говорилось, жизнь ушла внутрь.

Словно все разом втянули головы в плечи, сжались в комок, напрягли мышцы, исподлобья поглядывая на действительность и понимая, что долго находиться в таком положении нельзя.

Находиться, увы, — приходилось. И частенько. Слишком уж часто, если честно. Лучше бы — реже. Вообще обойтись бы без этого. Но не мы были вправе решать. Нам навязывали всё время — унижение, беспокойство, страх, — и все его, оптом, свойства, вплоть до гибели, вплоть до казни, поселяясь у нас в головах, воспаляя сознание наше. Положение было аховым. Назревало сопротивление. Вырастало личное мнение. Обо всём, что сулило зло. Что его одолеть могло. Что, частично, потом и случилось. Но тогда нам всем не везло. Находиться — да, приходилось.

Хотя бы в ожидании удара. Каков бы он ни был. От кого бы ни шёл. На кого бы ни был направлен.

Или для того, чтобы нанести свой удар — пусть для кого-то и слишком уж лихо, с вызовом это звучит, но поединок есть поединок, и в нём свои, как известно, правила, да ещё и, что куда чаще случается, откровенное, тоже с вызовом, но не с лихостью уже, а просто с лихом, полное отсутствие таковых, и здесь, несмотря ни на что, кровь из носу, из упрямства, коль на то пошло, приходилось то и дело, стойко, чтоб выстоять, чтобы выжить, чтобы дышать в нарастающей мгле, держаться, — написать что-то новое, серьёзное.

Сызнова, совершенно осознанно, дабы укоренилось это в сознании сограждан и прочих интересующихся землян, вынужденно — потому что хуже горькой редьки надоела бредовая, основанная на слухах и домыслах, кем-то зачем-то целенаправленно внедряемая в головы молодых моих современников информация, по существу разрушающая должное представление о явлении СМОГ'а, несколько устало уже, но по-прежнему упрямо, потому что сбергать и отстаивать истину необходимо, и вынужден, как и всегда, это делать я, сам, всегда — сам, один, ведь подвигнуть себя на это больше просто некому, — подчёркиваю — резко, решительно, так, чтобы все видели, чтобы до всех наконец дошло, — следующее.

Ключевое слово, найденное Губановым, — СМОГ — было для нас паролем, объединяющим плеяду знаком.

Чем-то вроде рериховского знака — знамени мира, символа вселенной. Только не нарисованным, а произнесённым.

Смог — по-русски, по-нашему, просто, по-хорошему — значит *сумел*. Мне давно по душе это слово. Сумел я многое сделать в отечественной словесности. Те, кто в ней разбираются и знают, что в ней к чему, что почем в ней и кто есть в ней кто — всё это понимают. Слава Богу, что есть на свете эти люди. Для них неважно — издаёшься ты или нет, и в «обоймах» ли ты каких-то, — ведь не в этих скопищах счастье, — и судачат ли о тебе, как бывало когда-то, в молодости, что ни час, что ни день, что ни год, с превеликой охотой, всюду, всякий раз, на каждом шагу, на столичных стогнах, в квартирах, в мастерских авангардных, новых живописцев, ну и везде, где народ собирается, чтобы обсуждать или слушать стихи, или вовсе уже не судачат, а давно и зловредно молчат, потому что на смену героям и подвижникам — псевдогерои меркантильные нынче пришли, то-то имя им легион, этим нынешним какбывременщикам, то-то держатся скопом они, потому что им так удобнее и спокойнее для души, если есть у них, впрочем, душа, в чём не только я сомневаюсь, ну а мы были сплошь одиночки, мы-то знали не понаслышке, что за штука такая — горение, и дружили мы по настоящему, в годы бед, а не просто для дела и для выгоды, как сегодня имитирует стадо притворщиков им удобную вроде бы дружбу, и трактуют ли всё, что ты пишешь, с умным видом критики некие, или нет о тебе ни статей в периодике, ни исследований, хотя пишешь ты больше прочих и значительно лучше других. Нет, эти люди просто многое понимают. И могут они об этом тебе с глазу на глаз однажды просто взять и сказать. И ты их — тоже поймёшь. Сумеешь понять. Вне сомнений. Братство единомышленников — живо доселе. Сумело — выжить. Сумело — сказать. Сумело — встать над распадом, над смутой, над бредом повальным. Во имя того, что спасает мир этот: солидария. Братство единомышленников. Круг наш. Пусть — поредевший. Но — существующий в яви. Зримой — и нам даримой. С истинами своими. С тайнами. До сих пор.

Случайные люди сами собой отсеялись. Так и надо. На то они и случайные, чтобы отпасть, отстать, убежать от огня, отойти в сторону, раствориться в тумане, исчезнуть совсем, да так, чтоб о них и не вспомнить когда-нибудь, — значит, незачем и просто-напросто не о ком, даже с лучшими побуждениями, в годы зрелые, вспоминать.

Наиболее стойкие, смелые, отважные даже, сумевшие устоять на ветру бесчестия, — состоялись как литераторы. Сумели, всему вопреки, в режимном отечестве нашем, быть самими собою, такими, как положено людям быть, и тем более — здесь, у нас, где дышать и то было трудно, а не то что стихи сочинять или прозу, или картинку малевать, — молодцы, сумели доказать и себе самим и другим, что способны они на поступки, да и на под-

виги, что сумели они, сквозь боль, сквозь кошмар, победить ситуацию, сумели — среди преследований, травли — упрямо выжить, мир свой спасти от гибели, в горестях уцелеть.

СМОГ никогда — никогда! — не был, да и не будет, поскольку незачем просто, литературным, как принято считать почему-то, как думают ошибочно, заблуждаясь, плутая в своих фантазиях беспеченных, направлением.

СМОГ был кличем — да, именно кличем, созывающим нас на битву.

Гулким, вещим, торжественным звоном вечевого, вдруг пробудившегося и свободно заговорившего, речь обретшего чистую, колокола.

Магическим действием. Пожалуй.

Жертвенным странным обрядом.

Камертоном. Да, камертоном.

Тем звуком — начальным, властным, определяющим тон и строй будущего произведения, — только слыша который, только доверяясь которому, вслушиваясь в него, можешь писать.

СМОГ для нашего поколения, да и не только для него, — созидательная идея.

Все мы слишком разные, и стричь нас под одну гребёнку никому не удастся.

Не по душе мне и казённое — «группа». Что это за определение? Что за формирование такое? Группа — музыкантов, что ли? Эстрадников? То, что сейчас называют словечком — попса? Или «группа товарищей»? Или ещё что-нибудь, обозначающее некое скопление, объединение? Группа риска? Ударная группа войск? Наверно, не группа крови. И уж вовсе ни при чём здесь та «подлинная кровь искусства», о непонимании которой зачастую даже близкими к нам людьми с такой болью и так пронзительно верно говорил в своё время Игорь Ворошилов.

Нынешние исследователи новейшей литературы напрасно расфасовывают самих по себе достаточно ярких авторов по группам, как по коробкам. Конечно, так удобнее. Типично советская привычка к «обоймам». Тогда легче «разрабатывать тему». Но это неверно.

СМОГ — содружество наше. Былое. Но, возможно, и настоящее. И, вполне вероятно, грядущее. В нём останутся — голос и свет.

СМОГ — некий код нашего — и не только, всего-то, нашего, но всеобщего — может, земного, ну а может, небесного — времени.

Зов — услышанный и воспринятый близко к сердцу, душою всею, не чего-нибудь там случайного, мимолётного, — но призвания.

Народу в СМОГ'е, мне помнится, было много. Не слишком, нет, это ладно, можно стерпеть, не впервой, а чрезмерно много. Перебор был таким вопиющим, бестолоковой толпой отдающим,

анархизмом каким-то повальным, что дальше просто уж некуда. И откуда они брались, эти люди? Из воздуха, что ли? Ну а может, из преисподней? И зачем к нам на головы сваливались — разом, скопом, — из ниоткуда? И девались потом куда? Исчезали вдруг — в никуда. Всем гуртом. И притом — навсегда.

Считалось почему-то крайне важным — не жизненно, конечно, важным, нет, поскольку это всё же чересчур, — для биографии, для галочки в блокноте, для форсу, что ли, числиться в смогистах, напористо и прытко примыкать к нам, рядом быть, поблизости, пускай условно, всё сгодится, всё сойдёт, а то и запросто, без всяких церемоний, чего мудрить, ведь не впервой им, задним числом, других скорей оповещать о принадлежности сомнительной их к братству.

Например, спустя десятилетия, об этом вспомнил и позаботился с присущей ему политической практичностью Эдик Лимонов.

Ну какой он на хрен смогист? Сроду он в СМОГ'е не был. В Москву приехал, когда все битвы уже закончились, в шестьдесят седьмом году.

Мы дружили с ним, да, так, наверное, можно сказать, во всяком случае, приятельствовали и постоянно общались в течение нескольких лет. Что было, то было.

Может, Губанов, по пьянке, и пошутил, заявив Лимонову, что принимает его в смогисты? Лёня запросто мог это сделать.

Но сам я сроду не слышал, чтобы Лимонов, с его эгоцентризмом, уже в те времена проявлявшимся, с его ревностью ко всем, кто неизмеримо талантливее его, цитрусового харьковчанина, оказавшегося в столице и массу усилий прилагавшего для того, чтобы любым способом стать известным, а лучше прославиться, поскольку для достижения цели, по его разумению, все средства были хороши, с его завистью и злобой, патологией и подьянкой, со всеми вывертами и комплексами, которых предостаточно имелось у него, считал себя смогистом.

И вот, по прошествии долгого времени, когда уже из эмиграции своей успел вернуться Лимонов на родину и ударился здесь в политику, в девяностых уже, случайно, подвернулась мне под руку газета, названия которой не помню, да и незачем его вспоминать.

И в этой газете — статья. О Лимонове, разумеется. О том, что он, Эдик, баллотируется в депутаты. В какие конкретно депутаты, я не стал разбираться, потому что их везде как собак нерезаных развелось.

В статье довольно подробно рассказывалось, как ездил Эдик Лимонов к своим избирателям, в какой-то провинциальный, но расположенный недалеко от Москвы древний русский город, допустим, в Тверь.

Из всего текста статьи запомнил я одну-единственную фразу, произнесённую Лимоновым и адресованную то ли сопровождавшей его журналистке, то ли встречавшим его на месте и всячески привечавшим избирателям, и фраза эта была не только типичной для него, и не просто лаконичной до безобразия, но и всё его нутро, всю лимоновскую деятельность, и литературную, и политическую, выражавшая как нельзя лучше, и звучала эта фраза так:

— Жрать хочу!

И ещё прилагалась к тексту статьи фотография некоей прокламации или афишки, в которой Лимонов, помимо кратких биографических данных, указал, и это было напечатано, то есть обнародовано, что он-де то ли состоял в СМОГ'е, то ли примыкал к СМОГ'у.

Вот ведь как! Ну, ежели «состоял», то это он просто загнул. А если «примыкал», то в этом-то и кроется вся лимоновская стратегия и тактика, всё жизненное поведение, все повадки, приёмы и ходы его, — примкнуть, прежде всего. К чему-нибудь. Или к кому-нибудь. И лучше, выгоднее будет, если примкнуть к чему-нибудь или к кому-нибудь яркому, выдающемуся, выделяющемуся из общего ряда. Примкнуть, присосаться, пристроиться. Использовать в личных целях. А там — оглядеться и сделать нужные выводы. И, при надобности, для выгоды своей, когда подвернётся такая возможность — нагадить. Чтобы выделиться, наверное. И — отомкнуться. А потом опять к чему-то или к кому-то примкнуть. Провокаторская какая-то система, да и только. И очень показательная. Его, Лимонова, изобретение. И его достижение. На пути к званию национального героя, возможно. Так мечталось ему когда-то.

Но при чём здесь, скажите, СМОГ?

Эх, Лимонов, примкнувший Лимонов! Припоминается, из партийных мотивов, «и примкнувший к ним Шелепин». Или Шепилов? Да не всё ли равно теперь, кто к кому когда-то примкнул! Примыкать — это вроде бы числиться. Как бы числиться — так нынче скажут. Вот и «как бы» здесь к месту сказано. Хоть разок, но к месту пришлось. В наши дни повального «как бы». Как бы времени. Как бы событий. Как бы действий. Как бы политики.

Примыкать — почти привыкать. Стоит букву одну сменишь — и привычка ко лжи открывается. Что ж, такое частенько случается. Но бывает и не такое. Всё бывает — нынче у нас.

Афанасьев, открой свои сказки! Прочитай свои басни, Крылов! Далеко вам, друзья, до Лимонова.

Он теперь примыкает, небось, к тем, где есть для него кормушка. И — возможности продвижения вверх по лестнице, вдоль по публичной разухабистой улице, или — по своей дорожке неведомой, что ведут, все вместе, туда, где сияет надпись «герой», и, помельче, «национальный», а всего верней — в никуда. В пустоту. Из которой непросто прокричать ему:

— Жрать хочу!

Из которой прикнуть нельзя — ни к кому, ни к чему. Никола. Ни жратвы там, ни слова, ни дела. Ничегошеньки. Только мрак. Он к нему прикнёт? Может, и так!..

Продолжается это безобразие, — с зачислением и примыканием, с заверениями липовыми в преданности и с умилением каким-то сомнительным по поводу общесмоговости, что ли, по-вальной, чуть ли не общечеловеческой, ни в природе, ни в истории не существующей, а так, для некоторых, для тех, что прикинулись просто смогистами, пристроились поудобнее, примазались, приспособились, то есть «как бы смогистов», джецов и нахалов, и всяких нечистых, если прямо сказать, несколько с этой шатией не церемонясь, — продолжается и сейчас.

Удобно, да, очень удобно, даже выгодно, слишком уж выгодно, быть в группе, числиться в группе.

Стая — всегда заметна. Особенно — на безрыбье. В дни, от прежних баталий далёкие.

Впрочем, в прежние дни, когда СМОГ по всей стране прогремел, да ещё и по прочим странам, помню, стая была важна. Для таких, кто себя не мог и представить тогда — вне стаи. Для таких, чьи способности творческие были, в общем, равны нулю. Для таких, кто вносил сумятицу, бестолковщину, непотребщину в то хорошее, что могло бы обойтись прекрасно без них — стайных, жалких, сплошь бытовых, без духовности, без готовности — состояться, сформироваться, быть собою, словом — суметь стать светлее, чтоб жить и петь.

А между тем, все мы, то есть и основные, которых все знают, и некоторые другие, считанные, более-менее нормальные, хоть что-то, пусть самую малость, сделать в литературе сумевшие, да, все мы, смогисты, — Боже, как надоело мне это «мы», привязалось, никак не отвяжется, а пора бы, давно пора, и зачем я, в зрелых своих годах, принялся говорить за всех, при такой-то, на поверку, полнейшей разномастности, разномасштабности и разъединённости нынешней! — были одиночки.

И я первый, — даже по алфавиту первый, в ранних смогистских списках участников, в этих тетрадках и блокнотах, где, столбец за столбцом, теснились и толпились ряды, когорты и шеренги всяческой, редко толковой, чаще бестолковой, а то и прямо с улицы, с губановской лёгкой руки, залетевшей, забежавшей на огонёк, на шум, на зрелище, московской публики, — даже внутри содружества, внутри наспех очерченного круга, внутри каждого сборища, внутри любого стоящего действия, — всегда подчёркивал свою личную и творческую независимость.

В той или иной мере было это и у остальных. Если под такими подразумевают не всех оптом, а лишь нескольких, поспособнее.

Я обособливался в творчестве — чтобы дружить с единомышленниками.

Впрочем, что это я говорю?

Какие такие, зачем, почему и действительно ли, как хотелось бы, как мечталось бы, из благих намерений, видно, или по доброте душевной, так уж сразу — единомышленники?

Откуда они взялись? И что это за понятие? Или же — определение? А может, и обобщение? А может быть, выдумка просто? Надо бы уточнить.

В творчестве? Нет. Не было этого. Да и быть не могло.

Скорее в том, что верили мы, — не все, а лишь несколько человек, о которых я периодически упоминаю, когда приходится, в силу надоевших мне обстоятельств, что-нибудь, снова и снова, говорить или писать о СМОГ'е, и я к этому откорректированному числу их давно привык, и такой отбор справедлив и оправдан, — в великую силу искусства.

В том, как действовали, как себя вели на раннем этапе смогистской истории, как выступали с чтением стихов и тому подобное.

В поступках, взглядах на мир, в общей нашей молодости, в принадлежности к плееде — было сходство. Некоторое. Сходство в поведении людей, оказавшихся в пограничной ситуации, на пограничной полосе, за которой — чужое, враждебное, опасное.

Это — да, мобилизовывало.

Настраивало же на творческое — только личное. Своё, собственное.

Другое дело — идеи.

И я, и Губанов щедро, горстями, как зёрна в почву, разбрасывали их всюду, не дожидаясь всходов, сказочными цветами, какими-то звёздными знаками, по наитию, под настроение, беспечно и увлечённо, всех одаривая подряд, без разбора, всех привечая, рассыпали их, где придётся, лишь бы стало светло вокруг.

Или властное, многолетнее, косвенное ли, прямое ли, да всё равно магическое воздействие моей, скажем, поэзии на товарищей по оружию.

Весь СМОГ кормился моими творческими токами, впитывая их и трансформируя в собственных писаниях.

Да и сделанное Губановым растаскивалось по кускам, варьировалось, маскировалось — хотя тоже сразу узнавалось в чужих текстах.

Что же делать? Так было и так будет всегда, покуда люди сочиняют стихи.

Покойный Величанский о влиянии моих стихов «на формирование поэтической ситуации в отечественной словесности» давно уже в открытую высказывался вслух и успел высказаться печатно. Человеком он был чрезвычайно умным. Надо заметить, и сам был невольным «донором» для некоторых авторов.

Из составляющих внушительный свод, издаваемых малыми дозами, да и то хаотично, сочинений Губанова творческая «кровь» неиссякающим ручьём лилась и льётся прямо в тексты стихотворцев-вампиров, сознательных или невольных.

Книги наши, не самиздатовские, — в типографиях напечатанные, с запозданием, разумеется, преизрядным, всё-таки изданные и к читателям нашим пришедшие наконец-то, — были потом.

Пришёл я однажды за хлебом в ближайший к нашему дому в более-менее тихом, в отличие от центральных районов столичных, лесистом и спокойном Новогирееве, продовольственный магазин.

Огляделся вокруг, отдышавшись, присмотрелся — а там, в магазине продовольственном, в непосредственном соседстве с продуктами всякими питания, необходимыми для поддержания жизненных сил у российских граждан, скромно стоят на полках, новизной типографской сияя, среди прочих изданий, две книги, да не чьи-нибудь там, а Саши Соколова, давнего друга моего, по смогистским, бурным, легендарным теперь, временам.

Одна — разумеется «Школа для дураков». Другая — «Между собакой и волком».

Обе изданы так, что ими залюбуешься поневоле. В каких-то особых, мерцающих, искрами жаркими вспыхивающих, бликующих, отражающих свет магазинных ламп, современных, эффектных обложках.

И на обеих книгах — выразительные репродукции произведений классиков живописи мировой.

На «Школе» — кажется, что-то из Сальвадора Дали. Помню, большое, чуткое ухо сюрреалистическое. Но, может быть, это Магритт? Увы, кто из них — забыл.

На «Собаке и волке» — дивный Питер Брейгель, его знаменитые «Охотники на снегу».

Подошёл я к полкам. С усилием отодвинул в разные стороны, вправо, влево, продукты питания.

Осторожно взял в руки привлекавшие моё внимание, Сашины, знатокам элитарной прозы хорошо знакомые книги.

Полистал их просто, поскольку я романы эти читал.

Но внешний-то вид — что тут скажешь!

Впечатление производят, это факт. (Может — рыночный факт? Говорят, что у нас в стране, в *какбывременной* маете бестолковой, всего превыше и важнее — именно рынок.)

Современная полиграфия, при надобности, поистине, преспокойно, с большим успехом, чудеса на ходу творит.

Обе Сашины книги, компактные, по объёму, как раз подходящему для романов, довольно сложных и написанных виртуозно, с той магической, речевой, совершенно свободной, и всё же в каждой букве продуманной трезво, гармоничной, плотной

структурой, что погоду всю в этих текстах неминуемо создаёт, стали пухленькими непривычно, и страниц в них заметно прибавилось. Крупный шрифт, и короткие строки, и широкие, ну хоть гуляй взад-вперёд по ним, выразительные, с белизною сплошной, поля.

Всё, наверное, как полагается.

Ничего не попишешь — рынок.

И — вот вам, пожалуйста, граждане, берите, — нарядный томик.

В руках подержать приятно.

Как говорится — вещь.

При желании можно, пожалуй, на досуге, и почитать.

В дополнение к ароматному — ведь иначе не скажешь — букету издания данного, каждая книга в себе таила ещё и некий эффектный, завершающий всю композицию, в ней акцент создающий, цветок.

Или же — необходимый, по рассуждению здравому издательскому, сознательно сделанный, чёткий штрих.

Лицевая-то сторона обложек обеих, с броскими репродукциями работ знаменитых классиков живописи, — это, как оказалось впоследствии, на поверку, всего лишь присказка.

Сама долгожданная сказка была ещё впереди.

Стоило перевернуть книги четвёртой сторонкой каждой обложки вверх — и начиналось главное: чёрным по белому там общалось всем, что романы эти — произведения великого русского нашего писателя, именно так, и никак не иначе, Саши Соколова. Ну, тут уж любому становилось понятно, с кем он, современный читатель скромный, покупатель, на рынке общем, все-русском, товаров разных, в том числе и книг, настоящих, первоклассных, имеет дело.

Цена этих книг, поскольку и они — продукция рынка, оказалась не из дешёвых.

Как и цены, производящие впечатление сверхсерьёзное на любого, кого ни возьми, — на выставленные повсюду, в том числе и с книгами рядом, наваленные с избытком, налетаи, мол, бери, хватай, хватит всем, да ещё и останется, вон их сколько вокруг, продукты, преимущественно заграничные, упакованные со знанием всех законов рыночных, нынешних, всеобъемлющих, повсеместных, непреложных, — сколько же их, этих рынков, продуктов, законов и приёмов, лишь бы товар поскорее продать и повыгодней, не узнает никто никогда, всепланетная это беда.

Так что никто из растерянных посетителей магазина продовольственного ни продукты, ни Сашины книги, хорошие, изданные в отечестве нашем, с бою не брал.

И стало мне грустно. Ведь вот она, духовная пища. И что же? Почему же её не расхватывают на корню, не читают взахлёб, на месте прямо, вот здесь, в магазине, или на улице, на ходу,

как читали когда-то, в незабвенные времена, в метро, на скамейках, в автобусах, на занятиях, на работе? Что случилось? Ведь это — книги. Книги, граждане. Что стряслось?

То случилось, что человеку выбирать приходится — книгу покупать или эти самые, чтобы выжить, продукты питания.

То стряслось, что пища духовная — на каком-то месте далёком, в наше время, в перечне долгом тех, житейских, необходимых человеку, вовсе не ценностей, нет, куда там, просто насущных, вроде хлеба или воды, благ не благ, не до благ сейчас, но вещей, понятней простейших, чтобы — жить. Понимаете? Жить.

Как же книгу ему купить?

И хотелось бы — да цена!

Первым делом в глаза бросается.

Ты смотри-ка, опять кусается.

В чём причина? И чья вина?

Чем же он, человек, спасается?

Всё равно — читает страна.

Вопреки — наважденью цен.

И — каких-то незримых стен.

И — бессилию тиражей.

И — обилию рубежей.

И — сквозь рынок — с книгами встреч.

И порукой этому — речь.

Книги эти Сашины — есть у меня, и давно. Стоят под рукой. Иногда беру их, открываю, и вновь читаю. Друга давнего вспоминаю. Взгляд его — за любой строкой. За любой буквою — голос. За любой страницей — порыв, нет, прорыв, сквозь ветра, в пространство, в неизменное постоянство всех скитаний его, в которых он и духом, и словом жив.

И поставил я аккуратно обе Сашины книги на место, на полку, рядом с продуктами питания, так поставил, чтобы не повредить ничем ни продуктам, ни книгам, чтобы и те, и другие оставались, у всех на виду, в ожидании человеческого к ним, заложникам рынка бредового какбывременного, внимания, в целостности и сохранности.

Хлеб купил. И — домой отправился.

Надо было мне снова — работать.

Потом, уже вечером, вспомнил я увиденное в магазине продовольственном странное зрелище, вспомнил и вдруг призадумался: что же всё-таки это было?

То ли виденье некое мимолётное, то ли я встретил вас — и всё былое в отжившем, да нет, не отжившем, бьющемся, доселе живущем сердце ожило, конечно же, то ли, как перевёл когда-то, по-своему, Редьярда Киплинга мой приятель Женя Витковский, «только два африканских пригорка»?

Нет, почувствовал я тогда, самому мне загадку эту, как ни бейся над ней часами, очевидно, не разгадать.

Потому-то и позвонил, поразмыслив, Жене Витковскому.

Женя выслушал мой рассказ о явлении Сашиных книг в продовольственном магазине с нескрываемым интересом.

Но Женя не был бы Женей, если бы тут же, развив тему, с ходу включившись в музыку речевую телефонного разговора, не исполнил бы и свою, как всегда, виртуозно сыгранную, в той тональности, что была для него характерной, партию. То есть, соло моё затянувшееся превратил мгновенно в дуэт.

— Это что! — сказал мне с печалью, щедро одобренной юморком едковатым, Женя Витковский. — Вот я, недавно совсем, в продовольственном нашем, заполненном всякой всячиной, магазине, и не такое видел! Там на полках стоял — Акунин. Полное, многотомное собрание сочинений. Шёл мимо этих полок продавец — и нёс трехлитровую, стеклянную, тяжеловатую, банку с томатным соком. И возле акунинских книг, заглядевшись на них, — споткнулся. Банка грохнулась прямо на книги — и разбилась. И сок из неё, пузырящийся, красный, залил напоказ на продажу выставленные многотомные сочинения Акунина. По-японски, ты, надеюсь, об этом знаешь, акуна — это злодей. Представляешь, какая была картина? Акунин в томате! Злодей в томате. Подумай, как звучит это, выглядит как. Полагаю, что это — знак. Или — символ. Времени рыночного. Или — книготорговцам — урок. Мол, не надо вам в магазине продовольственном продавать книги, даже — Акунина. Помните, каково быть злодеем в томате. Поэтому книгам Саши Соколова — ещё повезло. Может, спас их — кто там — Дали? или всё же Магритт — на обложке? Оба — мистики. Или — Брейгель. Или, может, слова, — от издателей, для читателей, для покупателей вероятных, там, в магазине продовольственном, всё ведь бывает, удивляться давно уже нечему в нашей дивной стране, казалось бы, но приходится, тем не менее, удивляться нам, согласись, вновь и вновь, — о величии Сашином. То-то в целостности и сохранности остаются книги его в продовольственном, полном угроз и опасностей, магазине. Слава Богу, томатом не залиты. Кто-нибудь их купит, наверно. Почитает. Поймёт, возможно, что огонь, и воду, и медные громогласные трубы прошли они, виды видывали, не только в эмиграции, но и здесь, на родной стороне, где рынок власть и силу всё набирает, и не слишком-то выбирает, где, и что, и почём продавать. И на всё ему наплевать — и на этику, и на чувства. Победит всё равно — искусство. Речи нашей — честь и хваала. В остальном — была не была!..

Так приятель мой, Женя Витковский, одарёнейший человек и подвижник, уравнивал все мои магазинные, рыночные, какбывременные, с грустинкой неминуемой, впечатления.)

И нынче: все знают, что был СМОГ, все слышали звон, да не знают, где он.

Ясного представления о СМОГ'е нет ни у кого.

Скажу прямо: СМОГ — то есть те, кто *сумели*, — явление значительное. И разнородное, — хотя и некоторая общность задач очевидна.

По самому большому счёту СМОГ — это Губанов и я.

Губанов — умер. Уже давно. В восемьдесят третьем. В совершенно сознательно, заранее запрограммированном им для себя — в ряду прочих гениев — роковом тридцатисемилетнем возрасте. В сентябре. Как и сам себе, в озарении, в сентябре шестьдесят четвёртого, восемнадцати лет от роду, с потрясшей потом друзей, испугавшей и озадачившей недругов, ошарашившей всех современников, то ли мистической, то ли математической точностью, наперёд предсказал.

Я ещё жив. Бог милостив! Несмотря на всё, что пришлось пережить, — видно, чудом, вполне допускаю, но скорее всего для того, чтобы сделал то, к чему призван, чтоб дыхание речи продлил по возможности в мире этом, был храним я силами света — и поэтому, да, конечно же, восставая из бед, уцелел.

Так и тексты мои о прошлом, во всяком случае — некоторую их часть, наверно, смело можно назвать — «Записки уцелевшего».

На мне — вся ответственность. Как и всегда.

Что делать! — уж так получается.

Ничего. Я к такому привык.

Чувствую долг свой. Давний. Немалый.

Перед Богом. Перед людьми.

Время уходит. И люди уходят.

Остаётся потомкам — их творчество.

Что, высокие, может, слова?

И тона у речи высокие?

Нет у памяти низких тонов.

Что ни шаг — сплошные высоты.

Что ни взгляд — мирские щедроты.

Что ни звук — волшебные взлёты.

Несмотря на провалы, сбои.

Несмотря на падения даже.

В бездну? Что же, может и в бездну.

Ведь и там была — высота.

И видения. И прозренья.

Чтоб опять взлетать — высоко.

Нет старения у горенья.

Пусть и было встарь нелегко.

Пора говорить. Пора.

Если не расскажу, прямо сейчас, не медля, не откладывая на потом, обо всём, что помню и знаю, благо выжил именно я — то когда же и кто сумеет?

Есть знаменитая фотография, сделанная художником Леонидом Курило в начале шестидесят пятого года, в феврале или в марте, в разгар бурной деятельности нашего СМОГ'а.

Об этой фотографии я уже рассказывал. Не единожды она уже публиковалась. Многие хорошо её знают. По существу она — вроде фирменного знака нашего содружества.

А всё я заботился, ещё в конце восьмидесятых, о том, чтобы хоть какие-то крохи былой нашей иконографии собрать.

И если бы я не обратился к Курило, не попросил его поискать хорошенько старую, снятую им когда-то, фотоплёнку, может быть, чудом сохранившуюся у него, — и если бы Леонид, человек добросовестный, отзывчивый, не предпринял эти поиски, не перерыл бы свои архивные завалы и не обнаружил, случайно, почти отчаявшись уже найти что-нибудь, эту плёнку, а впридачу к ней и некоторые, сделанные им же и в то же давнее время, наши фотографии, и не принёс бы их мне, — а я потом не позаботился бы о том, чтобы плёнку отреставрировать, пожелтевшие, полувыцветшие старые фотографии — переснять, и так далее, — то, вполне вероятно, и не было бы сейчас в моём распоряжении этого уникального материала — и приходилось бы довольствоваться лишь грустными вздохами да смутными воспоминаниями о том, что вот, были ведь снимки, да какие выразительные, на редкость просто, единственные в своём роде, и дух эпохи былой в них присутствовал, да сплыли, потерялись, и это теперь невозстановимо, а жаль, очень жаль, — но, по счастью, этого не произошло, — и пусть далеко не всё, пусть осколки какие-то, частички, отсветы минувшего времени, уже неважно, как их называть, можно и просто — фотодокументами, — есть, живут, вызывают в памяти эпизоды крылатых шестидесятых, — и, полагаю, и впредь они, выразительные эти снимки, будут лучше всего иллюстрировать любые издания, связанные со СМОГом.

И в этом случае — ощутил я зов, и вело меня — моё чутьё, — вот и есть нынче, слава Богу, возможность — видеть молодые наши, — нет, совсем ещё юные! — лица.

Спасибо Леониду Курило.

Помню, как созвонился я с ним, разыскав номер его телефона.

Мы долго, чуть ли не двадцать лет, не виделись с ним.

Я обратился к нему с прямой просьбой: отыскать хотя бы что-нибудь из фотографий старых.

Был я убеждён: он — найдёт.

Пусть не всё, — это могло полностью и не сохраниться, много воды утекло, слишком уж много событий было в жизни каждого из нас, архивы неумолимо редеют, фотографии, рисунки, бумаги раздаривались и растаскивались, к тому же — переезды, всякие житейские перипетии, — да мало ли ещё что! — но та, заветная фотография, — верил я — должна, обязана найтись, — а к ней, быть может, что-то ещё приложится.

Так всё и вышло. По наитию, по чутью.
Лёня Курило затратил несколько дней на поиски фотографий.

Пришлось отложить все дела.

Пришлось перерыть все бумаги.

Он тоже чувствовал: где-то они должны ведь быть.

И он нашёл их!

— Володя! Я нашёл фотографии! Представляешь? Нашёл! — услышал я в телефонной трубке такой знакомый, чуть глуховатый, с детскими, наивными, чистыми интонациями, с мягким украинским акцентом, негромкий голос его.

Мы сразу же договорились о встрече.

Зачем откладывать? Завтра?

Ну конечно же, завтра!

И вот Курило приехал ко мне.

Как и в период СМОГа, и сейчас был он таким же чистосердечным, надёжным, цельным человеком.

Свитер, джинсы. Разумеется, борода. Но уже поседевшая. Да и в волосах — всё такая же короткая стрижка! — седина, седина.

Крепок, строен, подтянут. Что всегда в нём я чувствовал — это внутреннюю его силу. Но и физическая его крепость радовала.

А улыбка — эта незабываемая Лёнина улыбка! — стоило ему, на пороге ещё, когда только вошёл он в квартиру, когда только увидел я его, улыбнуться — широко, светло, по-доброму как-то, по-своему, когда всё лицо у него улыбается: и губы, и брови, и ресницы, и морщины на лбу, и его чуть курносый, мальчишеский нос, нос украинского хлопчика, щурящегося на белый свет под родным тёплым солнышком, и плотный, чётко очерченный подбородок, и широкие скулы, и, конечно, глаза, ну само собою — глаза! — стоило ему вот так, с ходу, сразу, улыбнуться и произнести первые слова, и протянуть мне для рукопожатия свою сильную, рабочую, большую ладонь, а потом вдруг ринуться мне навстречу, чтобы обняться, — и не было уже для меня тех долгих лет, покуда мы с ним не виделись, и показалось мне, что, как и в давние годы, расстались мы с ним только вчера — и вот опять встретились, потому что не общаться никак нам нельзя, люди мы творческие, — и повеяло на меня ветерком незабвенного времени, свет откуда ворвался вот сюда, к нам обоим, — и не требовалось нам никаких лишних слов, чтобы сразу же понять: дружба наша жива.

Леонид Курило — наш, в пору прежнюю, Лёша, — очень талантливый человек.

Настоящий художник. Уж это я знаю давно и твёрдо.

И фотографии наши — он талантливо сделал, талантливо сберёг, талантливо нашёл.

Иначе и не скажешь. Только так.

И мы смотрели с ним вдвоём эти снимки чуть ли не со слезами.

Сразу столько всего всколыхнули они в душе!

И сама собою, ну прямо как живая, — да она и в самом деле ведь живая! — из стопки слегка измятых, порою выцветших, по краям надорванных, но зато сбережённых, возвратившихся к нам наконец, дорогих для нас обоих, бывших соратников, седеющих, но не утративших ни крепости духа, ни сердечного света, столь памятных, да просто драгоценных — и всё тут, всегда лучше ведь прямо и просто сказать, — похрустывающих, то матовых, то глянцевых, то отчётливых, то полутуманных, словно в дымке редющей, внутренним светом спасённых, магически притягательных снимков — к нам вышла — явилась из прошлого! — та фотография, возвращения которой я с таким волнением, до спазмов в горле, — ждал.

На ней четверо, — те, молодые, четверо:

Губанов, я, Кублановский, Пахомов.

Если бы сняться сейчас, то, наверное, пришлось бы кому-то из нас держать в руках фотографию Губанова.

И какими бы мы, прошедшие огни, воды и медные трубы, выглядели?

Что могли бы сказать друг другу?

Мне дороги — прежние образы.

И на свечу смотреть уже больней, чем некогда — на солнце; без оглядки бежать — куда? — с собой играя в прятки, уйти в пространство? — щурясь меж теней, живою плотью влагу раздвигая, душой живою ждать, перемогая тоску — итог невысказанных дней, но ждать — чего? — когда она, другая придёт пора? — я время постигаю, которое чем дальше, тем родней.

Читали тогда — при свечах.

Образ свечи то и дело загорался в наших стихах.

У меня:

— Наше время — свеча и полынь.

У Губанова:

— Но стоит, как свеча, над убитым лицом серый конь, серый конь моих глаз.

Свеча.

Над убитым лицом.

...Лёня Губанов стремительно, так, что его не догнать никогда, ни за что на свете, никому, никаким врагам, кто бы это ни был, менты, кагебешники или, может, все возможные силы зла, как бы нынче ни назывались, как бы ловко ни маскировались, но мгновенно распознавались, даже если им несть числа, весь — воплощённое движение, неудержимого, ввысь, весь — безоглядный, отчаянный, молниеносный порыв, а то и прорыв, куда-нибудь, в неожиданное измерение, в зазеркалье, за грань реальности, в но-

вый век, в параллельный мир, вбегает, но так, что, похоже, взлетает, а то и возносится, топоча по ступенькам лестничным, а порой проносясь над ними неким сгустком энергетическим, так, что искры в подъезде сыплются с плеч его или с крыльев, может быть, и какие-то вспышки странные остаются надолго в воздухе на безумном или осознанном как спасенье от наваждения, от ненастья и отчуждения, ставшем отзвуком убеждения, сокровенном его пути, — скорее, как можно скорее, — ко мне, потому что жду я и снова его пойму я, — вверх, на четвёртый этаж.

Некогда ждать лифт. Незачем. Не до этого. Какой там лифт, если сам он так о себе сказал:

— Скучая, любим и ведом, в России, где морды биты, я должен твоим поэтам двенадцать копеек лифта!

Его несёт — а вернее, ведёт неясное что-то, труднообразимое, видимо — невыразимое, но что же? Да кто его знает! Ведёт и ведёт. Ну и пусть!

Он врывается в дверь — с разгона. Или нет, конечно — с разлёта. Беззаконной кометой, что ли? Колобком из сказки? Ну вот! Сразу — сказка. Но как — без сказки? Несмотря на сплошные встряски, он действительно весь — оттуда. Это очень ему идёт.

Но кто же он? Это уж пусть гуртом — в грядущем — другие гадают.

Себя он оставил им — «на потом». Быть может, и распознают.

Вот он — стоит передо мной.

Гений. Смогист. Мальчик больной.

Парень дворовый. Почти хулиган.

Кореш богемный. Губаньч. Губан.

То ли подросток, то ли старик.

Что в нём за сущность? Плач? Или крик?

Что в нём за тайна? Что за печаль?

Сроду не скажет ведь! Как его жаль!..

Белое, словно гипсовое, мертвенное, застылое, свечой бессонной ночью сгоревшее и оплывшее, бездонное, отчуждённое, в безмолвную глубину ушедшее, пугающее, бескровное, отверженное лицо.

Маска? Нет, на лбу — поволока ледяного, давнего страха.

В серых усталых глазах — тусклый ответ смятения.

Взмокшая чёлка взерошена, ворот белой рубахи торопливо, рывком, расстёгнут, чтоб свободнее было дышать.

— Всё кончено, всё кончено. Стихи мои повенчаны. На пальцах черви кольчатые, над головой бубенчики. Сады опали яблоком, пропахли мысли порохом. И Муза — в платье ярком, и рифмы — звонким ворохом. Лежу седым преступником, кричу

слепым наставникам: меня не арестуете и Музу не заставите петь! Не для вашей радости да не из вашей воласти. Ну а пила для храбрости — чтобы не сгинуть в подлости.

Лёня предельно взвинчен. Дальше — просто уж некуда. Настолько, что может, кажется, взвиться пружинной ввысь.

Длинные пальцы его то судорожно сжимаются, то с усилием распрямляются, чтоб сжаться мгновенно вновь.

Губы упрямо сомкнуты, обиженно, как-то по-детски, очерчены, в уголках их видна застывшая кровь.

Ноздри буквально трепещут. Щёки небритые дёргаются в нервном, беспомощном тике. Спазматически ходит кадык.

Он шумно вдыхает в себя воздух, и лишь постепенно спадает со всей его небольшой, но крепкой фигуры чудовищное напряжение, сходит зыбкая тень отчаянного движения, оголтелой, безумной гонки.

Тогда он устало закуривает, смахивает ладонью нависшее вдруг невесомое колечко сизого дыма.

От кого он бежал? От чего?

Он отмалчивается. Ну и пусть.

Куда он бежал — знал. Ему спокойно со мной.

Мы сидим с ним в пустой квартире, в тишине, в наступивших как-то незаметно и быстро сумерках, совершенно одни — и молчим.

Потом говорим с ним зачем-то что-то совсем простое — о жите-бытье, о погоде, о понятном, вполне земном.

Губанов не сразу, конечно, а так, по чуть-чуть, понемногу, оживает. Ну, слава Богу! Существует — в яви своей.

Видит оставшийся в старом, тёмном, в потёках, подсвечнике опалевший, слегка изогнутый огарок жёлтой свечи.

Зажигает привычно спичку, подносит её к фитильку.

Долго, пристально, весь уйдя в свет мерцающий, смотрит на пламя.

— А на столе свеча горит, горит Душа моя, не тает, и Ангел с Богом говорит, и Бог над Ангелом рыдает.

За окнами — там, где страхи его донимали, — темнеет.

Губанов, совсем по-домашнему, негромко читает стихи.

— И Бог над Ангелом рыдает...

В начале семидесятых Губанову тяжело было жить, работать, просто — дышать, ощущать себя полноценным, востребованным, как ещё недавно и, казалось ему, так давно, человеком, ну а тем более — знаменитым в стране поэтом, нарасхват зазываемым ранее, днём и ночью, в любые компании, чтобы там он стихи читал и народ опять поражал, чтоб его на руках носили, обожали, ценили, чтили, подражали ему, желали познакомиться, подружиться, угощали вином, хвалили, по Москве на такси возили, всё, что он вытворял, прощали, без конца его выкручали, вы-

звояли из всяких бед, потому что был он поэт, а не так, не хухры-мухры, словом, были к нему добры и внимательны все подряд, с кем он шёл сквозь рай свой и ад, с кем пудами ел вместе соль, пил, бузил, воспевал юдоль, уж такую, какой она, видно, свыше ему дана, — без своего, по его разумению, детища — СМОГа.

Ему, общительному, остро нуждающемуся в реакции окружающих на стихи, живущему — действием, соборностью, перекрыли все пути, по которым он мог двигаться, обрубали все нити, связывающие его с миром.

Может, и не все, поскольку так вот запросто, пусть даже исходит это от властей, эти нити все разом никак не обрубить, и связь с миром прекращается лишь тогда, когда человек умирает, а Лёня, слава Богу, был тогда ещё жив, и какие-то из нитей, которые не заметили, проглядели зоркие, бдительные, жестокие структуры, откуда исходили всевозможные запреты, оставались, были целы, ведь иначе и быть не могло, но так ему казалось, так — мнилось.

Впадая в отчаяние, в тоску, в свои сложные, крайне тяжёлые, состояния, периодически охватывавшие плотным кольцом его, мятущегося, мечущегося по Москве, по знакомым домам, или же прячущегося непонятно где от всех и всего, переживающего свою боль наедине с собственной душой, а потом с большим трудом, буквально из кусков, подолгу, внутренне собираясь, он всеми силами стремился сохранить за собой положение лидера московской богемы.

— Ни веры, ни надежды, ни любви, стеклянные свидания в пыли. Лицо своё на зеркале возьми. Казни меня, казни меня, казни. Наверно, это в чёрных городах с монетою и чёлка молода. Наверное, но только не покой — с того бы света я ушёл к другой. Ты знаешь, ты сегодня — береста. Последнюю причёску перестань. У гробика иконы убери. Ни веры, ни надежды, ни любви! Я на рассвете жуткого письма, но утром, к четырём часам, весьма... Я вспомню прорубь в трёх верстах от глаз, и эта проблядь мне не даст отказ. Я завяжу на шее гордый шарф, я попляшу, я попляю на шар — на шар земной, который груб и скуп, где спят зимой и где весной умрут, на шар земной, где у больных мука, на шар земной, где у здоровых — мука, на шар земной, где мне твоя рука напоминает уголок и уголь, где спят, как жнут, перебегая ять, где яда ждут, как ждут любимых мять, где день и ночь в халате пьянь и лень, где тень, как дочь, а если дочь — как тень, картонный раб, и на ресницах тушь, в конторах драк служивых десять душ, в моментах птиц — еврейская печаль, в конвертах лиц — плебейская печать. Работай, князь! Дай Бог вам головы, всё та же грязь — управы и халвы. Надейся, раб, на трижды гре-

тый суп, оденся, наг, и жди свой Высший Суд. Солите жён, дабы пришлись на вкус, над платежом не размышлял Иисус. Я наклонюсь над прорубью моей — «О, будь ты проклят, камень из камней!..» Где вечно подость будет на коне, а мы, как хворост, гибнем на огне. Когда, земной передвигая ход, разучатся смеяться и плошать, я — то зерно, которое взойдёт, не хватит рук, чтобы меня пожать. Ну а пока крепи меня, лепи. Ах, как же тянет спать да спать в гробу — ни веры, ни надежды, ни любви — я написал на белоснежном лбу!..

Но времена изменились.

Изменились они очень сильно, как-то вдруг, для многих — стремительно, для немногих — закономерно, и были они — другими, чем те, к которым привыкли все мы, то есть — родные, крылатые шестидесятые, с их молодостью, и храбростью, и радостью, вовсе не странной для нас, потому что она была нам вполне по возрасту, по силам, тогда безмерным, по нраву, тогда крутому, по многим ещё причинам, для нас дорогим и важным, — теперь же, мы понимали, настали для всей богемы иные совсем времена.

Никто и не думал отрицать наличие его громадного дара.

Никому это и в голову бы не пришло. Делать это бессмысленно, и такое вот лобовое, прямолинейное отрицание обычно сводится к абсурду и не лучшим образом, если вспомнить о разумности подобных выпадов, характеризует всяческих злопыхателей. Поскольку дар есть дар, и он, да ещё такой, как у Лёни, вообще крайне редок, и сам за себя говорит, и существует, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему, что хотело бы его погубить, унижить, окутать завесой замалчивания, — то он, будучи, по природе своей, жизнестойким и жизнетворным, сам себя ещё и защищает.

Просто — жить стало сложнее, и сложность эта поначалу озадачивала, хотя, вскоре к ней притерпелись, но она ощущалась как изрядная тяжесть, для большинства непривычная, и утрата былой лёгкости в отношениях оказалась невосполнимой ничем, и уже вселяла в души тревогу по поводу возможной утраты свободы, и требовала напряжения всех человеческих сил, — и далеко не всегда удавалось общаться столь же интенсивно, как прежде.

Да и усвоение духовных ценностей — занятие, согласитесь, настолько важное, что тут и соваться с вопросами и советами нечего, — было делом сугубо индивидуальным.

Ещё во многом следовало разобраться, многое передумать, находя для себя верные ориентиры и в странноватой, зыбкой действительности, пока что не устоявшейся, дрожжевой, и только начинающей преподносить сюрпризы и, с изверской расчётливостью и актёрской привычкой к выразительным паузам, постепенно, снимая маску, показывать истинное своё лицо, — и, конечно же, в области творческой.

Это требовало неторопливых ритмов.

Лёнины же ритмы, нервические, импульсивные, с надрывом и перебором, для некоторых становились тяжелы, а то и невыносимы.

Губанова это обижало. Ему, не привыкшему к любого рода запретам и отказам, донельзя избалованному богемной, шумной, щедро сдобренной выпивкой и похвалами, двойственной, в общем-то, славой, об уровне которой он, с самого начала своего взлёта и в дальнейшем своём кружении по мистическим кольцам столицы, на удивление трезво заботился, — казалось это, прежде всего, проявлением зародившегося и уже непрерывно растущего человеческого невнимания.

— Этой осенью голою, где хотите, в лесу ли, в подвале, разменяйте мне голову, чтобы дорого так не давали. И пробейте в спине мне, как в копилке, глухое отверстие, чтоб туда зазвенели ваши взгляды... и взгляды «ответственные». За глаза покупаю книжки самые длинные, баба будет любая, пару чёрных подкину ей. За такси очень ласковое, шефу с рожею каменной я с презрением выбрасываю голубые да карие. Ах, копилушка-спинушка, самобранная скатерть, мне с серебряной выдержкой лет на пять ещё хватит. За глаза ли зелёные бю зелёные рюмки, а на сердце влюблённые все в слезах от разлуки. Чтоб не сдохнуть мне с голоду, ещё раз повторяю — разменяйте мне голову, или зря потеряю!..

Груз собственных, сверхнасыщенных эмоциями, пронизанных пульсациями времени, озарённых всплшками прозрений и гнетущих его предчувствий, полных щемящего лиризма и эпического размаха, диковатых, сумбурных и таких оголённо-подлинных, стихов — оказывался порою, в прямом смысле слова, несносным для него.

Это не было напечатано, в книгах ли, в периодических ли изданиях, как и полагается, как и надо бы по-хорошему, по-людски, да к тому же ещё бы и вовремя, — то есть не жило отдельной, особой, уже ни в чём не зависящей от автора, жизнью, в которую мог бы, наверно, войти настоящий, хороший читатель, друг поэта, неведомый или знакомый ему, но всегда возникающий в жизни печатного слова.

Это было записано на бумаге, в любимых Лёней больших тетрадах, наподобие амбарных книг, его характерным отчётливым почерком, так, что каждая буква в строке существовала и вроде бы рядом с другими, и отдельно, сама по себе, как и сам Губанов, заметим, — или же просто, без всякой записи, держалось в голове, и вспоминалось навязчиво, ежесекундно, и томило его, тревожило, а не просто слегка волновало, — нет, его это мучило, жгло, — и он чувствовал потребность кому-то это прочитывать, чтобы этот «кто-то» проникся прочитанным, понял его.

— И буду я работать, пока горб не наживу да и не почернею. И буду я работать, пока горд, что ничего на свете не имею. Ни пухлой той подушки мерзкой лжи, ни жадности плясать у вас на теле, ни доброты — похваливать режим, где хорошо лишь одному злодею. Ни подлости — друзей оклеветать, ни трусости — лишь одному разбиться, ни сладости — по-бабьи лопотать, когда приказ стреляться и молиться. И буду я работать, словно вол, чтоб всё сложить и сжечь, что не имею. И как сто тысяч всех Савонарола кричу — огня, огня сюда немедленно! В плаще, подбитом пылью и золой, пойду лохматый, нищий, неумытый по пепелищам родины другой, как тот весёлый одинокий мытарь. И буду я работать, пока гор не сдвину этих трупов, что зловонят, и буду я в заботах, как собор, пока всё человечество зло водит за ручку, как ребёнка, и шутя знакомую даёт ему конфету — ах, Бога нет, престельное дитя, и Бога нам придумали поэты. Но есть, есть Страшный Суд, и он не ждёт, не тот, который у Буонаротти, а тот, что и при жизни кровь с вас пьёт, по щёчкам узнаёт вас при народе. Ах, что вам стыд, немного покраснел, но кровоизлияние — не праздник. Да, на врачей вам хватит при казне, как вам хватило дров при нашей казни. Но буду я работать, пока гол, чтоб с царского плеча сорвать мне шубу, когда уже зачитан приговор и улыбается топор не в шутку. Но буду я работать до тех пор, пока с сердец не сброшу зло и плесень. Ах, скоро, скоро вас разбудит горн моих зловещих, беспощадных песен!..

Каждой клеточкой существа своего ощущал он, что его намеренно загоняют в угол, сознательно и жестоко лишают возможности дышать, но не желал с этим наваждением смиряться.

Коренастый, губастый, взлохмаченный, то ли этакий богатырёк сказочный, то ли Емеля, то ли Иванушка, но ему, во всяком случае, вполне подошло бы музейное, старинное, не-большого, по меркам нынешним, размера, воинское облачение, — да и вообще, как любил он подчёркивать, со значением и мальчишеским самолюбованием, приводя приятную для него и лестную аналогию, такого же роста, как Стенька Разин! — боец, вождь, он снова страстно мечтал оказаться во главе своего воинства.

Но проявлять активность — да и просто-напросто рыпаться, возникать, слишком часто, больше положенного, напоминать о себе, и особенно предпринимать какие-нибудь, смогистского толка, скандальные акции, вроде многолюдных демонстраций, чтений в известных своей демократичностью научно-исследовательских институтах, вроде Курчатовского, и так далее, — то есть, выражаясь грубее и резче, мозолить глаза властям, — ему многозначительно и категорично, чтобы знал, что предел есть любому терпению, не рекомендовали.

— Благодарю за то, что я сидел в тюрьме, благодарю за то, что шлялся в жёлтом доме, благодарю за то, что жил среди теней и тени не мечтали о надгробье. Благодарю за свет за пазухой иглы, благодарю погост и продавщицу за то, что я без паусной икры смогу ещё полвека проташиться. Благодарю за белизну костей, благодарю за роковые снасти, благодарю бессмертную постель, благодарю бессмысленные страсти. Благодарю за серые глаза, благодарю любовницу и рюмку, благодарю за то, что обрара баюкали твою любую юбку. Благодарю оранжевый живот своей судьбы и хлеб ночного бреда. Благодарю всех тех, кто не живёт, и тех, кто под землёю будет предан. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды, и неповиновенье. Благодарю свой будущий музей, благодарю последнее мгновенье!

Он зачастил в психушки.

О, эта чудовищная, псевдоврачебная, совдеповская затея, эти предприятия по переделыванию здоровых людей в законченных инвалидов!

Слишком уж много моих приятелей прошли через этот ад, потому и есть у меня должное о нём представление.

Сам я — чудом его миновал. Повезло. Слава Богу, что — так. Но хватало мне встарь нервотрёпок и на воле, без всяких психушек, и ещё неизвестно, что хуже, и не хочется сравнивать их, потому что и то и другое — элементы системы одной.

Лёнина эпопея с психушками — затяжной, сплошной, откровенный мрак.

Помню, в середине шестидесятых ещё, в первый раз я поехал его навестить в больницу Кашенко. Привёз ему продуктов немного — чтобы поел, пачку чаю индийского — чтобы пил в своё удовольствие, стопку бумаги и авторучку — чтобы стихи писал, маленький томик Хлебникова — самый распространённый тогда, из малой серии «Библиотеки поэта», — чтобы читал.

И Лёня был тогда парень хоть куда!

Он выбежал ко мне такой оживлённый и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха.

Порывисто, весело, с широчайшей улыбкой во всё лицо, с озорным, немного лукавым огоньком в широко раскрытых серых глазах, обнял меня. Потом, по привычке столичной своей, чего я не очень-то любил, почеломкался.

И, сразу, с места в карьер:

— Старик! У меня всё в порядке. Ну подумаешь, мать сюда посадила! Здесь все врачи меня любят. Стихи мои любят. Я здесь рисую. Пишу. А когда попросят, врачам и медсёстрам стихи читаю. В общем, лафа! Ну, побуду здесь некоторое время, сколько там полагается. Думаю, что недолго. Зато отдохну. Витаминчиками подлечусь. А потом и отпустят меня восвосяси. И снова буду на воле.

Довольный такой, оптимистичный, что я прямо диву давался, глядя на него, так оживлённо повествующего мне о своей расчудесной дурдомовской жизни, — и это на фоне больничных корпусов, палат, наполненных то истошно вопящими, то стонущими, то молчаливо глядящими перед собою людьми в измятых халатах, блёклых стен, решёток на окнах, то и дело проходящих мимо с каменными лицами врачей, каких-то грязных кастрюль, мисок и чанов, затхлои вони из кухни, шаркающих по полу подошв, тусклых электрических ламп, бьющихся в стёкла мух, паутины в углу, треснувшей штукатурки на потолке...

Да... Курорт. Дом отдыха. Санаторий.

А Губанов мне:

— Мы тут и подаём, иногда. Если кто пронесёт с собой бутылку. Володя Высоцкий лежал здесь. Выписали его недавно. После запоя в себя приходил. Мужик что надо! Мы с ним подружились. Выйду отсюда — в театр к нему пойдём, на Таганку. Он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоём, разговаривали. И он, представляешь, всё время просил меня почитать ему ещё разок. Ну, я, конечно, читал. И, ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него — как он слушает? А он всегда расчувствуется, взбудоражится, и даже слёзы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи! Жалко, что уже свалил он отсюда. А то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили. И я с ним к бутылке прикалывался. Не жизнь, а малина!

Я поглядывал по сторонам — и особой малины вокруг что-то не замечал.

А Губанов мне снова:

— Здесь Володя Яковлев лежит постоянно. Врач мне гору его работ показывал. У них тут целый музей. Творчество психов. Живопись и графика. И моих рисунков там полно. Володя, как только ляжет сюда в очередной раз, так сразу и рисовать начинает. У него и краски с собой, и бумага. Вина он не пьёт, ты знаешь. А курит много. Мне врач вчера говорил: Яковлев дымит, как паровоз, глотает лекарства, молчит — и только и делает, что рисует. А работы раздаривает. Кто хочет, то их и берёт. Эх, поздното я сюда залёг! Яковлев незадолго до меня выписался. А то я его разговорил бы. Может, и нарисовал бы меня. Художник-то он гениальный. А врачи о нём пишут, что псих. И репродукции с его работ в научные книги свои помещают. Вот, мол, какой у них имеется давний пациент. Врач меня стихи иногда переписать для него просит. Я для него по памяти уже много чего переписал. Здесь хорошо! Можно с людьми пообщаться. И я не скучаю. Да ещё и пишу свои новые вещи. Ничего, скоро выйду. И тогда нагуляюсь по полной программе. И ещё такое придумаю, что Москва изумится!..

Я смотрел на Губанова, слушал его — и вздыхал.

Это были — ещё цветочки.

Ягодки начались потом. И довольно скоро.

И тогда, по мере нарастания случаев, когда его вдруг, ни с того ни с сего, вроде бы, вырывали насильственным образом, выхватывали, изымали из привычной для него, сумбурной, переполненной происшествиями и впечатлениями жизни, унижая тем самым, придавливая, чтобы не рыпался, чтобы заглох, и в очередной раз помещали в психбольницу, где закармливали спецлекарствами, притупляя сознание, подавляя волю, старательно разрушая личность его, и кошмару этому надо было как-то сопротивляться, чтобы выжить, и надо было суметь остаться самим собой, — пребывание там вовсе уже не представлялось ему занятым, беззаботным, почти безоблачным времяпровождением в доме отдыха.

Психушки стали, если так можно выразиться, теневой, очень мало известной любителям его стихов, львиную долю его времени в совокупности своей сожравшей, стороной нелепой и хаотичной губановской жизни.

Сознательно, чтобы чего-нибудь не натворил, его упрятывали туда в годовщину пятидесятилетия советской власти, и до этого, и после этого, и множество раз, и не могло всё это пройти бесследно для его здоровья.

— Я провёл свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мёртвой бумаге живые слова не продам. И не вылечит тень на горе, и не высветлит храм, на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча. Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча.

Со своим больным сердцем и никуда не годными нервами он был, тем не менее, на редкость вынослив.

Мог мобилизовать волю. При случае проявлял чудеса героизма. Или, наоборот, являл собою образец терпеливости. Заводился — с пол-оборота. Срывался — так уж на всю катушку, безоглядно, без тормозов. Держался — на упрямстве.

Алкоголь впрок ему не шёл. Пьянел он быстро, терял контроль над собой и мог выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее, набузить, надерзить, влипнуть в историю.

— Грею ли обледеневшее имя, водку ли лью в раскалённые губы? Строится храм батраками моими — каждую буквой и доброй, и грубой. Иконописцы ли жизни лишались, шмякаясь вниз и за хмель и за гонор? Ведьмы ль на карих бочонках съезжались? Казнь полоскала волшебное горло. Только ли врётся и только ли пьётся, только ли нервы в серебряных шпорах, и голова под топориком бьётся, словно бы сердце в развалинах школы. Только

ли гений, скорее глашатай и оглашенный по чёрному счёту, очень мне жалко, не я ваш вожатый — всё, кроме Бога, послали бы к чёрту!

Но его любили. И некоторые — пусть и не все — любили его по-настоящему.

Ему всё — или почти всё — пусть и поворчав, для порядка, пообижавшись, подувшись, — прощали.

Он словно нёс в себе, как в одном донельзя спутанном какими-то коварными духами клубке, вместе с дичайшими выходками и малоприятными, к сожалению, а потому и всякими сплетниками обсуждаемыми охотно и часто сторонами его, уж такой, какова она есть, нестандартной, так скажем, натуры, — и раскаянье, и смирение.

— Моя звезда, не тай, не тай, моя звезда — мы веселимся, моя звезда, не дай, не дай напиться или застрелиться. Как хорошо, что мы вдвоём, как хорошо, что мы горбаты пред Богом, а перед царём как хорошо, что мы крылаты. Нас скосят, но не за царя, за чьи-то старые молебны, когда, ресницы опаля, за пазуху летит комета. Моя звезда, не тай, не тай, не будь кометой той задета лишь потому, что сотню тайн хранят закаты и рассветы. Мы под одною кофтой ждём нерукотворного причастья и задыхаемся копьём, когда дожди идут не часто. Моя звезда — моя глава, любовница, когда на плахе я знаю смертные рубахи крахмаленные рукава. И всё равно, и всё равно, ад пережив тугими нервами, да здравствует твоё вино, что льётся в половине первого. Да здравствуют твои глаза, твои цветы полупечальные, да здравствует слепой азарт смеяться счастьем за плечами. Моя звезда, не тай, не тай, мы нашумели, как гостинцы, и если не напишем — Рай, нам это Богом не простится.

Необузданный нрав его — не природное свойство характера, но скорее — от вызова, от желания защитить замечательную детскость, всегда жившую в нём и бывшую его сущностью.

— Скоро, одиночеством запятнанный, я уйду от мерок и морок слушать зарифмованными пятками тихие трагедии дорог...

Угловатый подросток, да и только.

И в жизни, и в стихах.

— Ах, меркнут сумерки кругом. Ох, мелом судороги крестятся. Как семиклассник, я влеком коричневой спиной лестницы...

Задиристый паренёк из московских дворов.

— Я — Дар Божий, я дай Боже нацарапаю...

Школьник, из числа способных, но хулиганящий.

— Я сам твой первый второгодник, чьи дневники никак не тонут...

И — глубоко, по-своему, верующий человек, заядлый, по своим задачам и возможностям, книгочей, благодарный, тоже по-своему, не всегда, к сожалению, а в прямой зависимости от

сиюминутного своего состояния, от каприза или порыва, то чаще, то реже, слушатель тех людей, от которых мог, или мог бы, он почерпнуть нечто важное для себя.

— Стыжусь ваших глаз, боюсь непритворно. Спаси меня, Спас мой Нерукотворный!

Соединение противоположностей как-то запросто, подомашнему, и свободно в такой степени, что отдавало почти полным отсутствием контроля над собственными поступками, утратой чувства меры, а то и откровенной, без малейшей даже маскировки, распушенностью, что я не без оснований ставлю в вину развращавшей его, преувеличенно, с примесью сладкой лжи, захваливавшей, спаивавшей, сбивавшей с толку, то есть выполнявшей нехорошую работу, словно от тёмных сил за получившей задание сгубить человека и усердно из выполнявшей, вполне определённой, псевдобогемной прослойке в столичном богемном роении, — правда, и сам Губанов был далеко не подарок, и слишком уж часто себе позволял такое, чего позволять не следовало, но дар у него был, и дар этот был настоящим, и порою, спохватываясь, то сам Лёня отчаянно боролся за него, за его сохранение, то дар его, точно смилостивившись, вырочал его, вывозил, в силу своей подлинности, а следовательно, и живучести, но годы шли и шли, и развитие губановское то делало рывок вперёд, обнаруживалось в новом качестве, и этим радовало, то сызнова притормаживалось, и это огорчало, но вера в движение оставалось, и происходил наконец новый рывок, и дар его, укрепившись, воспрянув, расцветал, как бывало когда-то, в молодости, в лучшую, самую сильную, ошеломляюще яркую пору его творчества, — да, что и говорить, соединение противоположностей, разнополярность многих его черт, настроений, сторон характера, в непрерывном брожении общем, кипении, с доведением до высшей точки нагрева, со взвинчиванием и разрушением всех нервов, живых клеток, частиц своего естества, с маниакальной потребностью постоять, ещё и ещё, «у бездны на краю», побывать на грани гибели или прозрения, заглянуть за черту, прогуляться в зазеркалье, совершить путешествие на тот свет, а потом и вернуться обратно, как ни в чём не бывало, непрерывно, то по-детски, любопытствуя, то по-юношески, с озорством, то с беспечностью вневозрастной, на авось, то сознательно, целенаправленно, играть с огнём, испытывать себя всё в новых, желательных экстремальных ситуациях, проверять себя на прочность, разуверяться в чём-то, а потом во что-то уверовать, и жить, жить, жить, жадно, стремительно, пламенно, и спешить, и куда-то лететь, и взлетать над землёй, воспарять, и обрушиваться неожиданно вниз, на ту же самую землю, падать, с болью, с мукой, с увечьями, и при этом смотреть в небеса, и вставать, и мчаться вперёд, и, очухавшись, рваться ввысь, и всё это называлось особым соединением разных противоположностей, — и всё это, всей

этой кипенью, действительно уживалось, уживалось в нём, как и в неустанно воспеваемой им России, у которой, по его ещё юношескому и с годами только крепнущему убеждению, «всё впереди, всё впереди».

Сейчас, в наше с вами, свободное, или псевдосвободное, может быть, но такое, какое уж есть, и какое отпущено всем, сложноватое, как и всегда, невесёлое, в общем-то, время, но зато и такое, в котором вдосталь всяких полезных открытий и действительно замечательной, многоликой и многозначной, настоящей, живой новизны, как-то слишком охотно и много рассуждают, все поголовно, кто поглубже, кто по верхам, о всякого рода энергиях.

Конечно, они есть. Как им не быть — в мире? Само бытие, весь космос, жизнь в нём — сплошные энергии. И слово, и мысль, и музыка, и живопись, и любовь, и грусть, и радость — энергии. Время, а с ним и пространство, и память — тоже энергии. Везде, во всём и всегда, вокруг — сплошные энергии. Круг из энергий. Коло. Шар. Дом. Свет. Дух. И — путь. Везде на пути — энергии. И — свет созиданья. Так. Энергии бесконечны. И воздействие их все мы ощущаем всегда на себе.

Да и мистическое нынче в почёте.

Но оставим в стороне шарлатанство и паразитирующих на модной теме невежд.

Посмотрим на дело серьёзно.

Губанов — поэт мистический, отрицать это невозможно. И — поэт очень русский.

То древнейшее, ведическое, что было у него в крови, порой смутно, порой отчётливее осознаваемое, но врождённое, диктующее образ и строй, постоянно прорывалось наружу, соединяясь с другими, усвоенными им в процессе духовного развития, традициями, в первую очередь с православной верой.

В этом сплаве роли кремня и огнива играли интуиция и вдохновение.

Губанов был прирождённым импровизатором. Надо опять подчеркнуть эту грань его дара и напомнить об этом.

Когда в нём вспыхивал огонь творчества, он, будучи буквально за минуту до этого совершенно другим, весь, моментально, всем своим существом, почуявшим приближение чуда, преобразался.

Глаза, дотоле какие-то мутные, словно спящие, вдруг ярко вспыхивали, изнутри, из глубины своей, странным, соединяющим жар и влагу, пламенем, а потом, высветляясь всё более, наполнялись какой-то загадочной, межзвёздной, что ли, материей, или энергией, и стояли, как две звезды, посреди бесчасья, во мгле, на краю беды, и сияли.

В его движениях тотчас же появлялась, я бы сказал, раскованная, вне логики, рискованная сосредоточенность.

Стихи свои зачастую записывал он почти набело, — позже, и то неохотно, вносил иногда в текст некоторые, всего лишь, мелкие уточнения.

Когда же он сам начинал править и упрощать собственные стихи, наивно надеясь, что, может быть, на родине их издадут, — и эта самоцензура и редакторство доморощенное настигали его, бывало, уже в поздние годы его, пусть и дико это звучит, потому что был он тогда, относительно, пусть, но молод, ну — за тридцать, подумаешь — возраст! — что ж, возможно и так, для кого-то, я подумал, но не для него, про себя-то он всё уже знал, — когда же свои стихи переписывал он самолично, подчеркну ещё, без принуждения, по причине, для всех неясной, ум за разум, наверно, зашёл или нечто вроде затмения было с ним, такое бывает, — когда же свои стихи, повторяю, он переделывал, — то всё из них исчезало, что было его, губановским, и получался некий блёклый, невыразительный, так, с отдельными блёстками, но без горения, текст.

Поэтому надо Губанова издавать — лишь в подлинном виде. То, что было записано им — в озарении и прозрении.

Сивилла, наверное, тоже не заботилась вовсе о стиле.

Ведические певцы вряд ли правили свои гимны.

Лирники украинские не брали в расчёт пунктуацию.

Орфею и в голову не приходило работать над текстом с редактором.

Вспомним Хлебникова — «и так далее...»

Следует учитывать громадное воздействие стихов его на людей, особенно при чтении их самим поэтом, впадающим в транс, причитающим, плачущим, кличущим, вещающим, — да и при чтении текстов с листа, когда работает их поле, — чрезвычайно сильное.

Губанов не только сам обладал мощной энергетикой, но и обострённо-чутко воспринимал все приходящие к нему извне «сигналы» времени и пространства.

Был проводником между высшей силой, руководящей его творчеством, и своими слушателями или читателями.

Не зря сказано: на всё воля Божья.

Губанов и был выразителем воли Божьей.

Делал это, как умел. Не всегда осознанно. Потому что в состоянии транс сознание спит, а бессознательное создаёт образы. Сказанные и записанные в таком состоянии слова — не результат лабораторно-дотошной работы, но — озарение, ясновидение, пророчество.

Абсолютно всё, что предсказывал Губанов, с Россией уже произошло. И происходит дальше.

По счастью, в лавине трагизма брезжит спасительное, отыскиваемое не лживым современным практицизмом, а несокрушимым ведическим разумом «всё впереди».

Лёня, Лёничка! Лёнька. Губаньч.

Заводила, упрямец, страдалец.

Я ещё расскажу о тебе.

А пока что оставайся на старом нашем снимке — молодым, в луче своей ранней и горькой славы.

Смотри и с фотографий начала семидесятых — уже другим, изменившимся, намаявшимся, набравшимся житейского опыта и не желающим сходить с дистанции; оставайся и на них — поскольку предстоит тебе ещё *столько* пережить и *столько* сказать, чтобы оставить всем нам свой образ времени.

Оставайся в стихах своих — навсегда.

— И сгорев, мы воскресаем Вознесенья вешним днём. Небо с синими глазами в сердце плещется моём.

Узнаваем ты в любой строчке.

И свеча твоя — не погасла.

И лицо твоё — не убито.

Свечи не догорели, ночи не отцвели, — вправду ли мы старели, грезя вон там, вдали? Брошенная отрада невыразимых дней! Может, и вправду надо было остаться с ней? Зову служба и праву, прожитое влечёт — что удалось на славу? Только вода течёт. Только года с водою схлынули в те места, где на паях с бедою стынет пролёт моста. Что же мне, брат, не рваться к тайной звезде своей? Некуда мне деваться — ты-то понять сумеи. То-то гадай, откуда вьётся седая нить — а подоплёку чуда некому объяснить.

Вот я в начале семидесятых — совсем ещё молодой, несмотря на свой опыт немалый, несмотря на известность свою, вопреки любым испытаниям, — так, с прищуром, с улыбкой невольной, или, может, со вздохом грустным, я теперь, наверно, скажу, — крепкий, очень худой, подтянутый, по природе упрямый, стойкий, сквозь чрезмерность нагрузок — выносливый, безбородый — на грани смутной одиночества и бездомия, но за гранью их, и надолго, и привычно — рыжебородый, порывистый, весь в движении, то ли внешнем, заметном всем, то ли внутреннем, незаметном для других, сокровенном, скрытом от людских любопытных глаз, от молвы, глубоко в душе, самом важном, к истокам речи, то чрезмерно вроде общительный, то решительно и нежданно, словно вдруг уходя в иное измерение, в мир особый, замыкающийся в себе.

Окружающим не без оснований казалось, что я буквально расплёскиваю какую-то мощную, осязаемую ими постоянно, и

вблизи, и на расстоянии, где бы ни находились они, странную для них, непривычную, не поддающуюся толкованиям, но очевидную, поскольку она, воздействуя на них, существовала, энергию вокруг себя, на всех путях и перепутьях моих скитаний.

По их мнению, слишком уж щедро, так, что дальше некуда просто, а порою и безрассудно, растрчивал я себя, — и следовало мне хоть иногда поостеречься, утомониться.

Свободно, по собственной воле своей, передвигаясь в пространстве, я всё время, без всяких вынужденных пауз и затяжных простоев, набирался новых, ярких, свежих впечатлений, постоянно и чутко прислушивался к одному мне ясному зову.

Интуитивно, всем своим естеством доверяясь живому чувству, находил я нужные, важные, для жизни и творчества, личные, то есть только мои, а не чьи-нибудь, связанные с дыханием, те, в которых и слух и зрение заодно, в которых с душою заодно и сердце, и речь, кровью внушённые ритмы.

Ждал, бывало, мучительно долго, и страдал, буквально заболевшая от невозможности ускорить ожидание, душевного равновесия и того единственно верного звука, что вызывает к жизни стихи.

Работа шла непрерывно, по законам скорее небесным, нежели человеческим, приземлённым, почти шаблонным, пусть не всегда она была видна тем, кто представляют себе поэта преимущественно странным существом, корпеющим за письменным столом над листом бумаги, вдохновенно заполняемым разгонистым почерком.

Вслед за пребыванием на людях, чаще — вынужденным, оттого просто, что деваться некуда было, и куда реже — в охотку, по собственному желанию, неминуемо наставало долгожданное уединение, и даже самое настоящее, в котором нередок бывал и обет молчания, вполне осознанное, иногда необходимое для души и работы моей, отшельничество, — но тут уж меня, конечно, по долгу не видел никто.

Сколько себя помню, сквозь все прожитые годы, несмотря на присутствовавшую в некоторых из них, — на чей-нибудь иронический, белгий, с элементом здоровой и трезвой, вроде бы, критики, равнозначной, как правило, полному отсутствию понимания природы творчества, — несурязицу и бестолковщину, путаницу и нелепицу, и вообще этакую житейскую кашу-малашу, сдобренную всякой всячиной, включая и пикантное, и жгучее, и острое, и жареное, как любят сейчас выражаться издатели, готовые, ради публикации этого самого жареного на всё, только бы блюдо такое скорее посмаковать, — словом, несмотря на крутой быгтийный замес, на всё, через что я прошёл и чего никому, даже врагу, испытать не желаю, и не вам, всякие сукины дети, порождения междувременья, разбираться в жизни поэта, и никто вам этого права не давал и не даст никогда, и в душу свою я сроду не пускал и пускать не намерен никогда никого, заметьте, и не толь-

ко своих, их мало, но им тоже грех любопытствовать, но и чужих, их много, легионы их, посторонних, и оставьте в покое все вы человека с его пристрастиями, и ошибками, и промашками, и всем тем, увы, неминуемым, что бывает всегда в пути, и читайте-ка лучше тексты, потому что в них всё написано, всё в них сказано о человеке, о поэте, всё в речи его, — я только и делал, что работал.

Откликаясь на бесчисленные тогда, в орфическую пору существования русской поэзии, просьбы, я охотно читал свои стихи в самых разных аудиториях и хорошо знал силу их воздействия на москвичей и жителей провинций.

Мог я, в молодые свои годы, когда энергии, как говорилось выше, было у меня вдосталь, не только удивлять, но и подавлять.

Намеренно, с какой-нибудь там близко ли, далеко ли идущей целью, строя некие планы или ставя себе сознательную задачу, из меркантильных ли соображений или ещё из чего-то, чему и определение-то затрудняюсь подобрать, поскольку всего этого не бывало у меня сроду и поскольку подобные завихрения мыслей мне и в голову бы не пришли, по причине их вопиющего несоответствия моей природе, в любой ситуации, в любом состоянии, в любом окружении, находился ли я среди заведомых умников, считавших, что именно они сто собак в литературе съели и мнение их в мире что-то да значит, или был я в компании людей попроще, но хороших, искренних, с душой, с огромным желанием пообщаться к поэзии, постараться её почувствовать и, возможно, понять, или же оказывался среди людей совсем простых, действительно из народа, и благодарен был им за то, что меня они слушают, — я никогда не хотел никого поражать.

Всё обычно происходило — так у меня искони получается, и к этому я привык поневоле, за долгие годы, — как-то через меня, конечно, словно свыше, и вне меня, неизменно и необъяснимо, и, пожалуй, само собою.

Предостаточно тех, кто не раз и не два, но достаточно часто для того, чтобы у них давно сложилось об этом собственное мнение и отстоялись в памяти все прежние впечатления, меня слышали и вообще более-менее тесно и часто, по-приятельски ли, по-любительски ли, проявляя интерес немалый к стихам, из любопытства ли просто, да не всё ли равно теперь, общались со мной когда-то в минувшие времена.

Каждый из них по-своему представлял, что это было такое — моё чтение стихов.

Юрий Кублановский:

— Помнится, как читал стихи ещё совсем юный Володя на коктейльной веранде, прикрыв веки, расставив крыльями руки, — само чтение было *действо*... Мы — уходили от публицистики, но и для нас в ту пору стихотворный текст казался неотделим от мистерии чтения его вслух. Алейников был тут непревзойдённый мастер: при свечах, закрыв глаза и отбросив назад крылья-

ми руки, он не читал — шаманил... Для меня его поэзия — всегда связана, во-первых, с его то падающим, то нарастающим хрипловатым голосом, а во-вторых — с югом.

Александр Величанский:

— Тот мощный гул, который он воспроизводит при чтении, сродни эпическому звучанию.

Татьяна Бек:

— Юный поэт читал нараспев, отдаваясь музыке стиха, — и слушателей, тоже юных, окатывала волна предчувствий, тревоги, неотстоявшейся в формулах любви и жизни.

Юрий Крохин:

— 19 февраля 65-го публика, собравшаяся на первый поэтический вечер СМОГ^а в библиотеку имени Фурманова, замерла, когда тонкий, высокий юноша, закинув голову, распростёрши как крылья руки, начал декламировать, почти петь: «Когда в провинции болеют тополя, и свет погас, и форточку открыли, я буду жить, где провода в полях и ласточек надломленные крылья...» Трепет озноба ударил меня — верный знак того, что слышу нечто невыразимо прекрасное. Подобное испытал гораздо позже, когда мы уже сошлись дружески, — Алейников читал потрясшие меня свои переводы стихов Галактиона Табидзе. «Ласточек надломленные крылья» пронзили меня, и когда последние звуки умолкли, я понял: это поэт милостью Божьей. Впрочем, вероятно, так подумалось не только мне, — реакция слушателей, помню, была однозначной.

Мария Николаевна Изергина:

— Все вокруг только и делают, что ноют в своих стихах. И только один Владимир Алейников — поёт. И в этой музыке, в этом пении — в его изумительных стихах — свет, и — даже в грусти — весть о радости, а ещё в них есть — волшебство.

Владимир Бойков:

— Моя первая встреча со стихами поэта Владимира Алейникова началась не с книги — первая ещё только готовилась к печати. В тот раз внёс он с собой в мой дом какой-то своеобразный гул — томительный, спокойный, завораживающий. Когда же чуть погода зазвучали его стихи, для меня тотчас же определилась их суть: самоиграющий орган! Теперь я понимаю, все его книги, изданные и будущие, не возместили бы всего, что я мог бы потерять — не будь того первого откровения.

Свидетельства эти привёл я наугад.

Предостаточно есть и других.

Если бы я предложил их вниманию читателя даже выборочно, то пришлось бы заполнить ими немало страниц в этой книге.

Поэтому будем пока что довольствоваться тем, что есть. Конечно, всегда интересно и полезно сопоставить различные впечатления, мнения, суждения более широкого круга людей, слышавших в ту или иную пору минувшей эпохи, как я и где, в каких условиях, при каких обстоятельствах, читал, бывало, свои стихи.

Но это не мои заботы.

Пусть это делают литературоведы — покада свидетели поражавших тогда воображение современников, довольно частых моих чтений, происходивших всегда с максимальной отдачей, с огромной затратой душевных и физических сил, а потому, наверное, и памятных всем, — ещё живы, и ещё есть возможность порасспросить их о том, о сём.

Например, Генрих Сапгир, которого при жизни порасспросить о многом как-то забыли, вспоминая общение наше многолетнее и стихи мои, говорил обо мне так:

— Володя Алейников — юный, зеленоглазый, волосы вьются светлыми кольцами. Читая стихи, он закрывал глаза и впадал в некий поэтический транс. Водке предпочитал вино и портвейн. Южанин — в стихах его очень чувствовалось южнорусское лирическое начало. Володя приехал в Москву из Кривого Рога, где у родителей был дом и сад, и в нём самом была некая степенность и неторопливость. Стихи почти сразу явились в своей зрелости, как Афина из головы Зевса. Так и остались: лучшие — те самые, во всяком случае для меня.

Одно время мы подружились и путешествовали вместе по Москве из дома в дом, от стола к столу. Сборники стихов Володя печатал на машинке и дарил с исключительной лёгкостью. Сам шил, рисовал картинку-заставку, обложку — и появлялась изящная книжица в одном экземпляре. А то и просто от руки писал всю книжку стихов. Я думаю, в Москве сохранилось немало таких рукотворных книжек. Он и рисовал изрядно: помню акварельные портреты и романтически-наивные рисунки тушью — обнажённые женщины. Одно время Володя дружил с замечательным художником Зверевым.

«Настоящие» книги Алейников начал издавать, как только это стало возможно, и за последние десять лет вышло не менее десяти книг — иные довольно толстые и в твёрдом переплёте.

Но всё-таки самое дорогое для меня — то время. Как сейчас вижу: Коктебель, на веранде у Марьи Николаевны Изергиной Володя в самозабвении читает свои стихи, вокруг за длинным столом — загорелая наша компания, а в стёкла заглядывают синие кисти винограда.

Теперь я читаю свои стихи на людях очень редко. Слишком редко — считают многие современники, те, в чьей памяти живы чтения мои прежние, те, давнишние, вдохновенные, в ореоле славы подпольной, до достаточно, всё-таки, прочной, вопреки режимному времени, вопреки запретам любим. И, конечно, в первую очередь — на издания. Слава Богу, что на чтения не было их, вездесущих запретов этих. Впрочем, были всё же. Обычно там читать запрещали мне, где считалась аудитория, по-советски, официальной. В институтах, допустим. В клубах. Кое-где ещё. Но

случалось, что запреты и там умудрялись обходить. И тогда читал я людям, любящим нашу поэзию, одержимо, по-настоящему, и стихи мои любящим очень, и умеющим слушать их, — в институте Капицы, помнится, и в Курчатовском институте, и в других достойных местах. Ну а чаще читал я — в домах многочисленных, и столичных, и, понятно, провинциальных, но живущих искусством новым, нашей новой литературой, новой музыкой, всей новизною нашей новой, «другой» культуры, всем, что было подпольным, запретным, что называли потом андеграундом, пусть звучит не по-русски это, но другое не найдено слово, потому и приходится с ним примиряться, друзей и знакомых. Речь живую — не запретишь. Слово — было в начале. И есть. Я читал, хорошо понимая, что стихами своими я помогаю друзьям своим жить. Выживать. Подниматься снова над бесчасьем. Вставать над бездной беспросветной — и рваться к свету. Находить этот свет — в поэзии. В речи. Радость в ней находить. Смысл. Надежду. И быть опять в мире сложном — самими собою. То есть, прежде всего, людьми.

Время, когда стихи совершенно всеми вокруг хорошо, замечательно просто, воспринимались с голоса, жили в самом звучании своём, в космических ритмах, в музыке жили вселенской, в сознании человеческом, без всяких там публикаций в периодике, вышедших книг, просто — жили, — как свет живёт, преспокойно, сам по себе, несмотря на пришествие сумерек, несмотря на присутствие тьмы, на злокозненность ночи долгой, потому что за нею вновь непременно утро настанет, это знали все, в этом был несомненный залог выживания и движения, и во времени, и в пространстве, и в человеческом, на упрямстве, существовании в дни, которым, как хлеб насущный, нужен был животворный звук, та мелодия, музыка та, что людей исцеляла, спасала, — безвозвратно, увы, прошло.

В древности русская наша, устная, не записанная, но живучая, право, поэзия так и существовала — пелась она, звучала.

Воспринималась она предками нашими — с голоса. Именно с голоса. Так принято было. Голос — многое значил. Голос — была той средой незримой, в которой существовало слово. Был тем удивительным способом передачи, средством передвижения, механизмом контакта мгновенного между тем, кто читал и кто слушал живую речь, который назвать мне в пору таинственным и волшебным. Сказочным, вне сомнения. Есть он — и нет его, вроде бы. Нет его — нет, он есть. Он существует. Вот он. Слово всегда в нём дома. Голос. Чудо какое! Тайнство и волшебство. Голос. Логос. Возможность петь. Говорить. Звучать. Голос. Дар небывалый. Свыше? Ну разумеется! Дар. Или, может: жар. То, в чём живёт горение. Голос. Небес дарение. Голос. Речи хранилище. Слова русского сказочный, дивный ковёр-самолёт. Голос. Порыв. Полёт. Голос. Прорыв: туда, где над землёй — звезда. Голос. Возможность: встать. Петь. Говорить опять. Голос. Вера. Любовь. Мудрость. Живая кровь.

Усваивалась она, поэзия наша, нашими людьми, всем народом нашим, на удивление просто быстро и хорошо.

Непреренно запоминалась — и надолго. Уже навсегда.

Песнь — что за слово: песнь! — веками передавалась — от человека к другому человеку, и дальше, дальше, по цепи золотой понимания, по кругу, по колу древнему, от живой души до другой ждущей песни живой души, точно так же, с таким же успехом и с такою же быстротою и надёжностью сообщения, для которой везде и всюду в мире нет никаких преград, как и устная наша, устойчивая, уцелевшая, существующая, словно свет бессмертный, спасительный, ведическая традиция.

Восприятие песни такое, усвоение песни такое людьми, такое волшебное запоминание песни — надолго, нет, навсегда, потому что это всегда было, есть и, конечно же, будет, — дожило, кстати сказать, до двадцатого, нашего, то есть, с вами, други мои, читатели, современники, очевидцы, непутёвого и безумного, если правде смотреть в глаза, отшумевшего ныне столетия.

Не знаю в точности, как обстоит с этим дело сейчас, но в начале прошлого века моя бабушка, незабвенная, удивительная во всём, что бывало с ней в жизни связано, драгоценная для меня с детских лет Пелагея Васильевна Железнова, в Поволжье жившая, запоминала любую песню, услышав её один-единственный раз — с чьего-нибудь голоса, песню — звучащую, то есть живущую в этом звучании, запоминала её сразу и навсегда. И на протяжении всей долгой своей жизни, даже в глубокой старости, помнила хорошо великое множество этих песен, порою древних, и, что поражало, более того — любую из них могла, при желании, спеть — да как ещё спеть! — сама.

Точно так же и моя мама, — там же, в дальнем, степном Поволжье, уже в двадцатых годах, в детстве, да и в тридцатых годах, с новизною их советской, ворвавшейся вдруг в патриархальный мир Сармы, селения древнего на Иргизе, притоке Волги, но духовности всей народной не сгубив, поскольку духовность вообще невозможно сгубить, поскольку она, духовность, в любой беде выживает и всех, кто причастен к ней, хранить её призывает, — единственный раз услышав какую-нибудь песню, особенно стародавнюю, запоминала её, как правило, навсегда.

То же самое происходило и с услышанными единожды, но уже навсегда зафиксированными в удивительно ясной памяти народными сказками, притчами, пословицами, поговорками, всевозможными, разнообразнейшими, обо всём, что на свете белом происходит, весьма поучительными и красочными отменно историями из жизни.

О чём это говорит?

О том, каким образом, столько веков, несмотря ни на что, сохранялась наша традиция.

О преемственности её. О живучести фантастической.

О её величии — в людях.

О сберегаемом ею — и, конечно, самими людьми, — животворном и светоносном, навсегда прозвучавшем слове.

Слово звучало не просто так, лишь бы только звучать, но всегда — и с толком немалым, и с пользой несомненной.

И содержало в себе — самый глубокий смысл.

У звучащего слова было движение неудержимое — во времени и пространстве, продолжение было — в новых поколениях, было право на звучание, право на жизнь.

Речь, структура сама по себе подвижная, универсальная, регулярна, без длительных пауз и простоев пустых, получала дополнительный мощный приток энергии — а поэтому совершенствовалась, развивалась.

У звучащего слова — была отзывчивая среда.

Слово действительно было не где-нибудь, а в начале.

Человеческие деяния начинались — уже за ним, вслед за ним, после слова, потом.

Велика была, согласитесь, нагрузка у каждого слова.

И столь же была велика — и ответственность постоянная, за каждое, даже простое, произнесённое слово.

Тем более велика — ответственность ежемгновенная за слово уже особенное, поэтическое, вдохновенное свыше, то есть всегда многогранное, таинственное, исполненное значения высочайшего, содержащее столь загадочно в себе, в ядре своём светлом, под оболочкой звука, уникальный, неповторимый, прочно связанный со вселенскими, жизнотворными, стойкими ритмами, обладающий редкой возможностью выражать всё единство сущего, светоносный уже изначально, воедино собранный синтез всевозможных, даже малейших, ощущений, любых наблюдений, примет эпохи, деталей конкретного, нашего с вами, земного, знакомого времени, реальный родной природы и людского нелёгкого быта, предчувствий, прозрений, прорывов в неведомое, душевных порывов, сердечных, искренних откровений и впрок завязанных на память крепких узлов неминуемого, для каждого человека, здесь, на земле, жизненного, как привыкли мы о нём говорить, опыта, — и держалось всегда это слово на чутье, и всегда возникало по наитию, но, по самой сокровенной сути своей, было оно разумным, и всегда была у него почва, та, на которой ждали его внимание и пришедшее вслед за этим понимание, и выражало оно, это слово, — явь, и стояла за ним — правь.

И мы с Губановым, каждый по-своему, но, смею думать, оба — с достаточной силой, выходит, продлили отечественную, орфическую, устную традицию звучащей песни.

Как раз об этом и говорит Андрей Битов в своём лаконичном и точном тексте, к месту приведённом уже мною ранее, в

другой книге, — том тексте, где «к ночи некстати распелись два юных соловья — Владимир Алейников и Леонид Губанов, освещающая себе ночь собственным пением».

Там сказано: «Алейников привыкает к свету».

Поскольку я до сих пор «привыкаю к свету», с трудом, надо прямо сказать, привыкаю — и откровенно говорю, что его, желанного этого света, в моей жизни вовсе не столько, как хотелось бы мне ощущать это, в зрелых-то моих летах, — то предпочитаю, чтобы меня не слушали, пусть и дивясь услышанному, как это сплошь и рядом было когда-то, в пору молодой моей славы, а чтобы читали, по возможности — внимательно, изданные наконец в подлинном виде мои книги.

В них — весь я, со всеми своими загадками и тайнами.

Грех мне жаловаться на полное отсутствие внимания ко мне со стороны современников.

Но я и не думаю этого делать. Не в моих это правилах. Просто — смотрю правде в глаза.

Наверное, читателей у меня куда больше, чем у Боратынского, в его поздний, мурановский период, в период создания «Сумерек».

И ценители у меня есть. И почитатели. И собиратели моих рукописей.

Но всё же, всё же...

Вижу я, что по-настоящему я ещё не прочитан, а мноими — даже и не раскрыт.

Ждать научился я давным-давно.

Пусть и тяготил меня иногда груз написанного, — но не издаваемые десятилетиями тексты мои на протяжении тех же трудно прожитых десятилетий находили путь к читателям, существуя в самиздате.

В изданных моих книгах, по словам Юрия Крохина, действительно «сложилась более-менее целостная и стройная, хотя и далеко не полная ретроспектива» моего творчества, которое, по его же словам, «с идиотическим упорством не замечает литературная критика».

Пусть не замечает.

О ней, этой держащей нос по ветру критике постсоветского «официоза навыворот», я имею чёткое представление.

Ох, эта тусовочная психология, неумение и нежелание открывать и постигать, привычка избирать в поле зрения то, что выгодно, что удобно именно сейчас!

Потом — хоть трава не расти.

О том, что на виду, на слуху, — пожалуйста, критика тут как тут.

О том, что в стороне от суеты, — думать им некогда.

Для меня ничего не изменилось: до сих пор делю я культуру нашу на официальную и неофициальную, и первая из них мне чужда, а вторая — родная, в ней я существую.

И если у меня вышли, опять-таки с помощью немногих, но зато настоящих друзей моих, остро понимавших необходимость этого издания, девять больших, даже очень больших по объёму книг, то ещё большая по объёму часть написанного мною за сорок лет работы — так и остаётся неизданной.

И ничего. Жив.

Работаю. Не унываю.

И даже хорошо, что по-прежнему в жизни моей есть свои, те, кому я верю, — и не свои, чужие.

По привычке своей многолетней никому не навязываться, так и живу я — в стороне от шума и дележа, предпочитая суете независимость и внутреннюю свободу.

Некоторые знакомые иногда спохватываются: где я? почему не в тусовке?

Да всё потому же. Некогда, граждане.

Я работаю. А работаю я — всегда.

Воображенья торжество да непомерные мученья, как бы на грани всепрощенья, а рядом — рядом никого. Покуда сияются сверчки пощаду вымолить у неба, я жду и всматриваюсь — все бы так миру были бы близки. Когда бы все ловили так приметы каждого мгновенья, в ночи оттачивая зренье, — прозрел бы звук, звучал бы знак. Не потому ли мне дана впрямую, только лишь от Бога, как небывалая подмога, душа — и чувствует она, как век, отшатываясь прочь, клубясь в сумятице агоний, зовёт, — и свечка меж ладоней горит, — и некому помочь, никто не может, ничего, что схоже с откликами, нету, — и вот, в тоске по белу свету, на ощупь ищешь ты его.

(Взгляд — и чутьё. И — шаг. В никуда? Нет, в немую бездну. В неизведанную пучину. Без причины? О ней — потом.

Свет — и полёт. И — речь. Ниоткуда? Нет, из вселенной. Из легенды былой, нетленной — в мире, вроде бы обжитом.

Речь — и порыв. И — взгляд. Шаг — и чутьё. И — свет. Звук — и восторг. Не спят? Музыка. Звёздный свет.

Бах. При свече и звезде. Век. При своей беде. Круг. На морской воде. Далее — и везде.

Рукопись. При свече и при звезде? Я свылся с ними. С ними светлее — здесь, в ледяной ночи.

Летопись. На листе белой бумаги? Верно. Скоропись. Набело. Так ли? Тающие лучи.

Реющее пространство. Таинство. Постоянство. Ночь волшебства. Убранство далей: смола и мел.

Клич на пути к открытию. Ключ от высот. Наитьё. Голос. Во след за нитью. Плач. Ты сказать — сумел.)

Заглянуть намного дальше, чем окрестные бродяги, в дни без горечи и фальши, где приволья вьются флаги. Что ни лето, всё упорней от вранья бежать и бреда в мир, где проще и просторней, чем везде, куда ни еду. Как чумы, страшиться лести, как беды, чураться власти, от небес услышать вести, как и встарь, презрев напасти. В час высокого раденья чуют истины участие в том разъятье, где виденья к чести выведут и к счастью. Взять из хаоса людского прорицанья и зарницы, из песка извлечь мирского драгоценные крупницы. В миг внимания живого видеть сути накопленье, прозревая путь и слово, продлевая изумленье.

Женя Рейн, Евгений Борисович, славный, в общем-то, человек, петербургский, полумосковский, но, скорее, общепланетный, потому что везде он есть и повсюду он успевает побывать, для него расстояния не помеха отнюдь, поскольку все четыре стороны света для него сегодня открыты, и куда захочешь — езжай, и везде, где надо — бывай, всё его, наконец для него всё распахнуто в мире нашем — двери, окна, глаза, ворота, рты, бумажники, фонды, премии, нет границ для него теперь, все дороги к нему сбегаются, чтобы он проехал по ним, самолёты слетаются все, чтобы он витал в небесах, воспарять пытаюсь невольно, становясь, вполне добровольно, в одночасье, полуземлянином, полу — так ли? — ну да, небожителем, что сомнительно, впрочем, — скорее, просто барственным путешественником, о былых похождениях вестником и заслуг своих прежних заложником, и рассказчиком, не острожником, баек всяческих, у которых ни конца, ни начала нет, и весьма известный поэт, особенно в пору бредовую нынешнего как бы времени, с его поразительным свойством — выворачивать всё наизнанку, ставить всё, что возможно, с ног на голову, разрушать всё, что в муках создано, — может быть, просто так, неосознанно, лишь бы что-нибудь взять да сказать, ну а может, и не случайно, и сие, вероятно, тайна, или чей-нибудь странный взгляд, летом, несколько лет назад — вынужден буду снова с грустью об этом сказать — заявил, у нас, в Коктебеле сотрудникам ошарашенным Дома-музея Волошина:

— Алейников исчез с литературного горизонта!

Мне, понятное дело, поскольку нравы у нас в посёлке неистребимо прямые, попросту деревенские, тогда же, незамедлительно, с превеликой, надо заметить, охотой и с нескрываемым любопытством, всеобщим, по поводу возможной моей реакции на это громкое, жёсткое, лаконичное заявление, о нём, не теряя времени драгоценного, киммерийского, дабы в курсе был я о мнении, не каком-нибудь там, а рейновском, не столычным уже, помилуйте, что за древность, общепланетном, так, наверное, надо это понимать мне, в моей глуши, даже слишком оперативно, я сказал бы — молниеносно, как положено им, гонцам или вестникам, доложили.

Я тогда возмутился даже: как это вдруг — исчез?

И что это за непонятный, почему-то литературный, горизонт, и откуда такой, — чей он и для кого?

У меня, слава Богу, вышло несколько книг серьёзных, одна за другой, чередой, — к неминуемой, надо же, зависти и раздутой привычно ревности «собратьев» моих по перу, если можно так их назвать, а не как-нибудь по-другому, конечно, само собою, поскольку без этого им ни жить, ни дышать невозможно, пожалуй, на ниве той, пресловутой, литературной, в стане том, где они тусуются, где какой-то процесс происходит, уж наверное литературный, как удобно им, литераторам и тусовщикам, нынче считать, а вовсе не имитация процесса литературного, что, на самом-то деле, и есть непреложное определение их брожения, кучкования, пробивания, загнивания, и так далее, невозможно говорить о таком всерьёз, ведь не лить же мне горьких слёз о бессмыслице показной, обходя её стороной и чураясь её давно, есть ли, нет ли, мне всё равно, ведь живу я сам по себе, благо свет есть в моей судьбе, — да что же с этим поделаешь? — дело житейское, — их, этих «собратьев» разных, порождение и, конечно же, времяпровождение привычное, литературно-кулуарное, представьте, макулатурно-будуарное, кошмарное, хоть стой, хоть падай, как в народе говорят, и длится это много лет подряд, и это их процесс, тусовка, мрак, так было, есть, и, видно, будет так, для них, «собратьев», но не для меня, поскольку вдосталь у меня огня, чтоб видеть путь во мраке, чтоб идти, который год, по этому пути, по своему пути, не по тропе, не с ними вместе и не в их толпе, — и сколько уж раз я с этим сталкивался. Да их, думаю, не переделаешь!

Но тут — почувал я — нечто иное, совсем иное.

Сигнал. Симптом очевидный болезни. Чуть ли не знак.

И Рейн-то, уж кто-кто, но Женя! Он-то сам — не из этой, вроде бы, псевдобротии. Сам ведь кое-чего в жизни своей навидался. Вроде бы знает, почём фунт пресловутой лиха. А наши беседы с ним — и серьёзные, и душевные! А многолетнее, доброе общение прежнее наше? А помощь моя ему — с изданием книги его? Величал меня он как, бывало? — «собрат по судьбе». Вот ведь как. Я думал — и он «по судьбе». Думал — друг он. Что же он — так?..

Живу я, как известно, в Коктебеле.

И Рейн вполне, себя не утруждая, не надрываясь, мог пройти от Дома Волошина до моего, который в посёлке нашем всем известен, дома, всего лишь несколько сот метров, дабы здесь, на месте, разом убедиться в том, что я, который, по его словам, исчез, не просто так, а с горизонта, к тому же литературного, пускай, не всё равно ли мне сегодня, жив — и куда не исчезал, и много работаю, и дни мои проходят в работе этой, и она, работа, моя, любимая, среди смуты и разброда, — мой свет, мой путь, спасение моё.

К тому же, многие знают, я уже написал тогда «Скифские хроники», том, целый том серьёзных стихов, пятьсот восемьдесят восемь вещей, и писал, вслед за этим томом, столь же большую и сложную книгу — «Здесь и повсюду».

Ну откуда, скажите мне, в человеке такое вот проявляется — брякнуть что-то, ни к селу ни к городу, так, для словца, на-верное, красного, ну а может быть, и по другой, непонятно, какой, причине, остающейся до сих пор неизвестной мне, подозрительной, потому что в ней что-то не то, согласитесь, незримо присутствует, — забывая напрочь о том, что слово — бесспорная истина — всё же не воробей?

Что это всё же — озвучивание «общественного мнения» личного, что ли? — скажите мне — так?

Или — то, что ещё называется странновато и со значением, да каким ещё, не называемым, но, конечно, подразумеваемым, — догадайся, мол, сам, попробуй, — вдруг действительно догадаешься? — ну а может быть, и не проникнешь в глубину выражения этого, не постигнешь его значения, и останешься, брат, ни с чем, побредёшь себе восвоися, пригорюнившись, истомись в размышлениях долгих, бессонных, но понять не сумеешь вовек, что же это за штука такая, окаянная, неприкаянная, бестолковая, непререкаемая, с недомолвками жутковатыми, с умолчаниями мрачноватыми, с полутайнами придурковатыми и с намёками клочковатыми неизвестно на что, — «есть мнение»?

Грустно мне стало тогда, помню. Обидно и грустно.

Правда, всё-таки ждал я: может, придёт ко мне Женя, — да мы с ним сами во всём по-дружески и разберёмся.

Но он — увы, не пришёл.

И горький, тяжёлый осадок — от его, так вот, запросто, на-те, мол, походя, за глаза, брошенной, несправедливой, жестокой в общем-то фразы, — так в душе и остался.

— Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своём поприще... Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело... Оно сделает упрёк ему... Зачем ты не устоял противу всего этого?.. Опасно шутить писателю со словом...

Ах, Гоголь, всё-то вы чувствуете верно, во всё вникаете, многое вы понимаете, Николай Васильевич Гоголь!..

Тень его, утешающая и грустная, очень грустная, возникла тогда передо мной.

Присутствие несомненное, чудесное впрямь, его, собрата, присутствие рядом, участие деликатное во мне, целебное впрямь, — его, собрата, участие, его, собрата, внимание ко мне, — ощутил я тогда.

Эх, Женя! Как же забыл ты, поэт, собрат по судьбе, всё, что давно и верно сказал Николай Васильевич — и тебе, и мне, и другим, всем, навсегда, — о слове?

Говорят — время лечит. И что же?

Через короткое время тот же Рейн уже называл меня «классиком новейшей поэзии».

Вот тебе на! Этакие — в заявлениях бравых и мнениях — выверты и перепады!

Ладно уж. Всякое в жизни, как известно любому, бывает.

И не такое бывало.

Бог тебе в помощь, Женя! — в жизни, и в отношении к слову, да и в судьбе.

Такая вот двойственность везде и во всём — в отношении ко мне, сколько ни живу, — да всё хлеще.

Может, и вправду всё у меня «не так, как у людей»?

И отпирался вместе с домом ключом, что впредь не подбирать, ларец, заполненный искомым, а чем — не вам об этом знать. Не ваш удел, не ваше дело, владенье тайной — не для вас, и, хоть листва и поредела, Господь отраду мне припас. А вы признались бы, панове, хотя бы в том, что днесь и встарь немало выпили вы крови, кропя мистический алтарь, что вдосталь времени сожрали, привыкнув с мясом вырывать куски побольше, — но едва ли на это небу наплевать. Так будьте брошены в пространство, в холодный морок долгих лет, — вам, трезвым иль впадавшим в пьянство, ни в ад, ни в рай дороги нет. Вергитесь воющей гурьбою вокруг невидимой оси, — а нам-то с песней и судьбою спокойней — Господи, спаси!

Говорить о таких вещах я вынужден. Но говорю об этом, без всякой обиды, совершенно спокойно. Потому что знаю: спешить мне некуда.

Кому надо — сами ко мне придут.

Сами приходят к читателям — книги мои.

И время моё — не нынешнее «как бы время».

Настоящее моё время — впереди.

Что делать, если чувствуешь многое обострённее, чем некоторые, и смотришь далеко вперёд!

Так уж я устроен.

Слова и чувства столько лет, из недр ночных встающий свет, невыразимое, земное, чью суть не всем дано постичь, и если речь — в ней ключ и клич, а может, самое родное. Давно сидит голова — и если буйною сперва была, то нынче — наподобье польни и плакун-травы, — и очи, зеленью листвы не выщев, смотрят исподлобья. Обиды есть, но злобы нет, из бед былых протянут след неисправимого доверья сюда и далее, туда, где плещет понизу вода и так живучи суеверья. И здесь, и дальше, и везде, судьбой обязанный звезде, неугасимой, сокровенной, свой мир я создал в жизни сей — дожидаться б с верою своей мне пониманья во вселенной.

Придётся мне процитировать, при всей нелюбви к цитатам, один весьма примечательный и в общем-то верный текст.

Однажды у нас с Андреем Битовым, долгие годы, со времён молодой нашей дружбы, давно и, наверное, всё-таки хорошо, по-своему, знающим и ценящим, тоже по-своему, как умеет он, как получается у него, прозаика, пишущего, кроме прозы, ещё и стихи, мои стихи, словом, нечто для него в самом деле особое, некий мир, которым, наверное, он действительно дорожит, возник разговор о том, что самое время, пожалуй, сейчас, в моих-то годах, при нашем-то, нынешнем, вроде бы свободном книгопечатании, когда, после четверти века замалчивания моих писаний, изданы многие книги стихов моих, целое, можно сказать, Собрание сочинений, пусть далеко не полное, но дающее представление о том, что я сделал в русской поэзии, мне подготовить — и, если удастся, издать моё, мной самим составленное из вещей наилучших, Избранное.

Андрей, сперва пробудившись, — поскольку к нему домой приехал я влажным, тяжёлым, даже, может быть, хмурым, столичным, в духе нынешнего междувременья, с бесполоквизиной и абсурдом на каждом буквально шагу, многоликим, впрямь напиказ, а на деле довольно скрытным и весьма коварным, пожалуй, уж во всяком случае с вывертом, с недомолвками, с явным подвохом, с неким ядом подспудным, с похмельным, нехорошим, едким душком, позднемартовским, вряд ли весенним, межсезонным каким-то утром, за которым, как ни крути, начинаться должен был день, — потом, умывшись, потом, по традиции неизменной, заварив себе кофейку, попив его, по глоточку, не спеша, на кухне, потом позаимствовав у меня две капсулы ноотропила, («одна — маловато, две — в самый раз, просветлить сознание»), наконец-то включился в жизнь, сел за стол, всё на той же кухне, лист бумаги привычно взял, заправил его в громоздкую, вроде тех, что стояли раньше в канцеляриях и редакциях, загремевшую всем своим неподъёмным с виду металлом и блеснувшую тускло-ватю на свету городском, белёсом, с лиловой прожилкой, машинку, свернула самокрутку с душистым, заграничным, видать, не иначе, табчком, чиркнул спичкой привычно, закурил, затянулся, настроился на труды, поразмыслил немного, покивал головой согласно появившимся мыслям, нажал на одну скрипучую клавишу, на другую, на третью, то есть в ритм вошёл, стал работать, и вот, весь уйдя в создаваемый им текст, спокойно и педантично, что, вполне вероятно, было у него в крови, потому что говорил он порой, что две бабки у него были немки, наверное, петербургские, не отрываясь ни на миг от машинки, неспешно, слог за слогом, буква за буквой, знак за знаком, дымя самокруткой, прямо набело написал — и потом прочитал мне следующее:

«*Несвоевременность* (не путать с несовременностью!) — признак большого поэта. Поэтому его — либо убить, либо замолчать. Как-нибудь сделать вид, что его нету. Это вполне биологическая

функция общества. То есть происходит автоматически, без зазрения совести. Причина этого проста: мы не хотим отражаться в реальности и не хотим помнить. Сатиру мы любим, потому что в ней легко смеяться не над собой. Поэзию мы не любим точно так, как не любим природу и детей: слишком ответственно. Нам некогда. Некогда чувствовать, некогда помнить. Нам неудобно за самих себя, и тогда мы делаем вид, что нам скучно.

Владимир Алейников — большой русский поэт, более тридцати лет неустанно пашущий на ниве отечественного слова. Слава мира запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего отказать ему в той славе, которую раздаём сами, — в мирской.

Несуетность — признак большой работы. Её тоже удобно не замечать, чтобы не сравнивать со своей.

Пришла пора издать В. Алейникова так, чтобы всякий взявший книгу в руки заподозрил, кто это. Я вижу том, в жанре «Библиотеки поэта», с предисловием, раскрывающим масштаб и уникальность его творчества, с академическим комментарием, изданный не как сумма текстов, а как единая большая книга, представляющая собою художественную ценность сама по себе. Эта книга должна попасть по адресу — в руки подлинного читателя.

Алейников — это не человек, не тело, не член общества — это облако. Облако поэзии. Надо поймать его в переплёт.

Я счёл бы для себя честью написать о нём для этой книги. Я бы постарался исполнить это на уровне, достойном его поэзии.

26 марта 1996 Андрей Битов».

Придётся «облаку» высказаться.

Для чего? — вы, быть может, спросите. Для того, чтобы, перифразируя моего любимого Хлебникова, читателю взять верный «угол своей ладьи и звезды».

Ещё Гермес, в незапамятные времена, и в такой седовласой и туманной, призрачной древности, что её обозначить можно выраженьем «давным-давно», поскольку был, не забудьте, человеком он образованным и действительно многое знал, обратил однажды внимание на единство законов Вселенной.

Он первый назвал человека не чем-нибудь, а «микрокосмом».

И высказал как-то идею, здравую, согласитесь: ежели вы хотите познать всю нашу Вселенную, то познайте прежде — себя.

Здесь — ключ к наиболее верному пониманию текстов моих.

Я — русский поэт. Русский — потому что мыслю по-русски.

И я поэт — это важно всем знать сегодня — ведический.

Из родной, древнейшей ведической традиции уходит мне, право же, незачем, да и некуда — я в ней дома.

Конечно, я православный человек. Но в нашем народе, с его многотысячелетней историей, более древний и глубокий ведический пласт всей культуры его и духовности, в силу самых разных причин, так уж вышло, соединяется с относительно свежим, так скажем, и недавним всё же пластом привнесённой в древнее лонно христианской, пришедшей извне на родную почву, культуры.

На этом соединении всё у нас доселе и строится.

Ещё в былую эпоху, в семьдесят третьем году, в давней вещи своей, я писал:

— Язычество в обнимку с христианством влачит неувыдающие дни, — но тогда меня, к сожалению, как и, впрочем, в эпоху нынешнюю, за вычетом редких, знающих, что к чему в мире нашем, людей, почти никто из моих читателей, современников, собеседников старых, друзей образованных, — так и не понял.

У меня — пора бы запомнить, поскольку это основа речи моей, — ведическое отношение к миру, к яви, к праву в нём (вот где корень русского православия), к слову, началу мира, к дому, к свету, к пути, к духу и к человеку.

К тому же, поэт я мистический, — но это, вроде бы, стали, хотя бы чуть-чуть, понимать.

И ещё: я вовсе не лирик — пусть принято почему-то думать именно так, — не только лирик, вернее, но поэт, на других непохожий и в привычные, узкие рамки общепринятой классификации почему-то, к досаде некоторых, понимающих всё упрощённо или, может быть, не желающих разобраться в этом, давно уже и упрямо не уместающийся, потому что не только в лирике дело всё, но ещё и в другом, — дело в синтезе, в полифонии тем, задач и способов разных выражения, то есть в умении всё звучание многогранного, многодонного естества, словно в музыке, объединить, — и, поскольку эпична музыка бытия, то, её выражающий, пусть по-своему, как умею, как диктуется это свыше, — я, скорее, всё-таки эпик.

Моё понимание эпоса — отдельная, сложная тема.

Просто — поймите — я вынужден сейчас указать, обозначить эти, не чьи-нибудь, но мои, да, только мои линии, эти начала.

Приходится, братцы, торить, в мире нынешнем, вроде бы или якобы цивилизованном, как в пустыне какой-нибудь, тропы.

В открытом, свежем пространстве современному человеку, с таким грандиозным хаосом у него в голове, что впору запутаться даже в трёх соснах, ориентироваться на местности или в речи, право же, трудно.

Великие мистики древних русов, Орфей и Зердест Спитама (его привыкли называть потом Заратуштрой), — были, прежде всего, для времени своего и для прочих времён, поэтами.

Ведические, древнейшие тексты — скажем, Ригведа, столь удачно перенесённая в своё время из Поднепровья в Индию пе-

реселившейся туда, в иные края, частью древнего нашего народа многоплемённого, что сохранилась там, пусть в уже трансформированном, пусть с утратами всякими, виде, — мистические, безусловно, жреческие, провидческие, вечные произведения, и археологи нынешние, исследователи упорные столь знакомых мне с детства курганов по обе стороны, левую и правую, Инда-Днепра, воочию, многократно, в этом уже убедились, ибо вся мифология древних этих курганов близка, порой до мельчайших деталей, до совпадений, один к одному, к мифологии книги чтимой, священной для предков наших, Ригведы.

Ведической, светлой, древней, но до сих пор современной, стало быть, вечной мистикой, как музыкою, пронизано «Слово о Полку Игореве».

То же самое — в русской мифологии, сказках и песнях (особенно украинских, сохранивших древнейшие самые жикие бьющиеся и подспудные, уцелевшие чудом, слои), в представлениях о мироздании, о гармонии в нём, о таинстве бытия, о природе творчества, о судьбе, о яви, о вере, о Земле стародавней нашей и живущем на ней человеке.

Везде одна почва, всё издревле взаимосвязано.

Это именно русская, не заёмная, не заморская какая-нибудь, а, я бы сказал, врождённая, кровная, здоровая мистика, очень, между прочим, заметим, земная — и одновременно с этим небесная, напрямую, миллиардами связей незримых и нитей духовных, прочно соединённая с Космосом.

Быть может, вместо вот этого, моего, пускай не вполне сформированного, пускай наивного, но зато, поверьте мне, старiku, искреннего, в порыве душевного, связанном с мыслью, вспыхнувшего звездой в небе, определения этого древнего, русского мистического, в дальнейшем ещё найдётся другое, более точное, веское, сжатое определение, взятое из богатейшего арсенала ведической нашей отечественной традиции.

Вся настоящая русская изумительная поэзия — мистична, и это именно ведическая мистичность.

Державин, Струйский, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Тютчев, Боратынский, Языков, Дельвиг, Вяземский, Лермонтов, Майков, Фет, Полонский, Толстой, Бунин, Анненский, Хлебников, Клюев, Волошин, Нарбут, Гумилёв, Клычков, Заболоцкий — и так далее, вплоть до нашего, двадцать первого века, — поэты ведические и мистические, а не какие-то там «романтики», «классицисты», «натурфилософы» всякие, «певцы родимой природы», «певцы родной старины», «символисты» и «футуристы», «акмеисты», «смогисты» и прочие представители разных течений и числа немалого школа.

Велико в поэзии нашей значение подсознания, озарения и интуиции, которое, будучи в дружбе с чутьём, неизменно и смело выводит на верный путь.

Когда я пишу, то всегда ощущаю себя так странно, словно я подключён к чему-то, открывающему глаза мне на мир и дающему доступ к пониманию сущности самой сокровенной всех разном явлений.

Впечатленья мгновения каждого моментально соединяются с пробуждённой тут же прапамятью — и я слышу особую, дивную, возвышающую меня и дающую речь мне, музыку — и отчётливо, каждой клеткой, каждым нервом своим, ощущаю перевозданную, полновластную, для всего в мире этом единую, исцеляющую, спасительную гармонию бытия.

И я выражаю в слове то, что вдруг открывается и столь ясно слышится мне.

Что это — там, в высоте?

Поле информационное всей великой Вселенной?

И когда порою меня спрашивают: как вы пишете стихи? — зачем объяснять?

И смысл поступков строен стал и строг, и голову я выше поднимаю, и мир, как есть, душою принимаю, покуда жив я светом — видит Бог. Единым домом станет нам Земля — вы, циники, и вы, приспособленцы, вы, чужестранцы, вы, переселенцы, — какие дали зрите с корабля? Не зря на крыше хижины моей ржавеет якорь, кем-то позабытый, — надежды символ верной стал защитой на острове меж древних двух морей. С дельфиньей стаей журавлиный клин, сетей рыбацких клочья и грузила, и всё, что прежде исподволь грозило — зрачок змеиный, жуть среди вязких глин, и оползень, и ливень, и разбой, смешавшиеся с осыпью событий, лавиной слухов, пороселью открытий, отчётливей я вижу пред собой. И жажды мне безмерной не унять — всё впитывая, чувствуя, вдыхая, приветствую, в прозрачный шар спущая, чтоб суть постичь — и, может быть, обнять.

(Две записи. Для себя. Но, может быть, с ними — слово. Тоскуя. Но и любя. Надеясь. И — веря снова.

Четвёртое число, четверг, декабрь.

На зимнем склоне года, уже — две тысячи третьего.

На долгом подъёме века, уже — двадцать первого.

На взлёте? Да кто его знает! Кто ведает? Может, и так.

Во всяком случае, силы при мне. Посему: хорошо бы — так.

Декабрь — и всё этим сказано.

Зима. Начало зимы.

И столькое с нею связано, что при одной лишь мысли об этой поре душа, даже под тяжестью пережитого, норовит встрепенуться, как птица, светлеет, звучит, обретая дыханье и новое зренье, таинственной и вместе с тем бесконечно простой, не смотря на её безусловную сложность и даже причудливость, му-

зыкой жизни — моей, а не чьей-нибудь, — жизни, в которой пришлось навидаться мне всякого — и хорошего, и дурного, и такого, чему названия, как ни бейся, не подберёшь.

А в окне и черно, и снежно, и всё ещё так просторно, что огням в округе хватает их мерцанья сквозь сырь и хмарь.

И вечер неспешный длится — и вот переходит в ночь.

А ночь переходит — в речь.

А речь переходит — в свет.

А свет — остаётся в мире.

А в нём что ни шаг, то грань.

И явь — за любую гранью.

Такая, как есть. Но — явь.

С надеждой — на пониманье.

Число тридцатое, вторник, московский снежный ноябрь.

На зимнем подъёме года, уже — две тысячи четвёртого.

На взлёте нового века, уже — двадцать первого.

На долгом, свободном дыхании. Привычном. Именно так.

— Лишь ты разгадать в состоянии имя времени. Помни об этом!..

Расставание? Предстояние. Перед опытом. Перед светом.

Встреча — в темени. Путь — во времени. Шаг — в пространстве. К любви и славе?

К вере. К чаянью. К древу — в семени. К тем, кого вспоминать ты вправе.

Полночь минула. Не покинула. Стала песней о том, что было.

То-то ключ потайной мне вынула от всего, что сама любила.

Кружат за окошком чёрным бесшумные, грустные птицы.

Число тридцатое. Вторник. Снежный ноябрь в столице.)

В неспешных действиях, поступках и словах есть свет особенный — и мы к нему стремимся, и от бессмыслицы назойливой таимся, зане с державою былою дело швах. И, не бахвалясь, мы с трудом своим дружны в тоске, в рассеянье, в забвении, в скитанье, поскольку жертвенное жизни прорастанье мы чуем пристальней на грани тишины. Покуда вижу я негаданный просвет во тьме безумия, в чаду кровопролитья, иду на ощупь я, но всё ж иду за нитью — тонка она — такой у вас и вовсе нет. Покуда слышу я то гул на берегу прибоя позднего, то птичьи восклицанья, приемлю долю я, отринув отрицанья, и перед родиной своею не в долгу. Покуда призван я в ненастный этот мир для песни, славящей его преображенье, я, порождение его и отраженье, творю неслыханный свидетельства клавир — о том, как рушилась эпоха, о таком, что было истинным, что век опередило во имя радости, — и вот земная сила дарует веру мне — и светлый строит дом.

Не то чтобы слишком уж редко, но лишь изредка, так получалось, не по-дружески, нет, по-приятельски, виделись мы с Кублановским.

Юра существовал подчёркнуто автономно, сторонясь опасностей всяких — явных, тайных, мнимых, любых, — нежелательных, прежде всего, жить мешающих человеку, раздражающих, огорчительных, — не до них ему было тогда, — избегать научился он даже тени, даже намёка, дуновенья малейшего той, действительной, воображаемой ли, не всё ли равно, не все ли страшны они оптом, опасности, — не лучше ли и не проще ли слинять куда-нибудь вдруг, исчезнуть в снегах, раствориться в дождях, закрыться в норе, запрятаться в тёплой берлоге, покуда минуют беды, когда не пойдут по следу, не станут стучать к соседу, искать, потеряв интерес к погоне, к поискам слова, которое, хоть и не ново, исправно служить готово делу, прежде всего, борьбе, гульбе и судьбе, — всегда он был сам по себе.

Он сумел, не знаю уж — как, но догадываюсь, избежать крутых, жестоких гонений — и, вопреки всему, даже здравому смыслу, а с ним и абсурду повальному, процветавшему в годы бесчасья, удержался в университете, в отличие от меня с Михаляком Соколовым, хороших студентов, но ненавистных властям смогистов, под гортанные крики Руслана Хасбулатова, главного хана эмгеушного комсомола, призывавшего нас изничтожить, и примкнувших к нему мгновенно исполнителей, жаждающих нас растерзать на месте, поскольку сверху были даны указания поступить с нами только так, дабы знали, кто в доме хозяин, с небывалым шумом, разнёсшимся по великой советской стране и достигшим стран зарубежных, как-то быстро, охотно изгнанных.

В шестьдесят четвёртом — шестьдесят пятом годах, таких далёких, что их, как дети считают, отсюда, из лет постсоветских, не видно, мы все вместе, юные, светлые и наивные, в большинстве своём, за вычетом, впрочем, некоторых товарищей наших бывлых, отнюдь не страдавших наивностью и знавших уже тогда, что к чему, что почём и как им обойтись без излишних сложностей, учились на искусствоведческом отделении истфака МГУ.

Но власти, непостижимые в своём кремлёвском величии, в значении неуываеомом, в ореоле партийных правил и марксистских незыблемых догм, да с ними ещё и чекисты, наследники правоверные железного ржавого Феликса, и университетское начальство, тут же принявшее к сведению указания с эмпиреев и внизу, на столичной почве, перемешанной с глиной, цементом и песком, дабы что-нибудь возводилось на ней когда-нибудь, по известной системе потёмкинской, а на самом-то деле только разрушалось да разрушалось, проявив немалую прыть, позаботились, вместе, о том, чтобы нас поскорее, нагляднее, очевиднее разъединить.

Нас с Михаляком Соколовым позже всё-таки, с помощью некоторых людей, хороших действительно, в том числе и писате-

лей, из числа либерально настроенных и сочувствовавших молодым, но уже гонимым страдальцам, по традиции, так уж водится на Руси испокон веков, пусть со скрипом, пусть и не сразу, но, представьте, восстановили, и стали мы вновь учиться, и вскоре я перешёл на вечернее отделение, брал порою академические отпуски — и, если уж честно говорить, был не больно-то образцовым и совсем не исправным студентом, — и диплом защитил наконец только в семьдесят третьем году.

Юра же как раз исправно, в меру дисциплинированно, без всяких нежелательных эксцессов, осторожно, семестр за семестром, год за годом, тишком да молчком, отучился — и постепенно, без особого афиширования, но решительно, целенаправленно, и подчёркнуто, проведя меж собой и друзьями черту, пусть незримую, пусть существующую лишь в сознании трезвого его, рассудительного, как выяснилось, молодого поэта, Куба, патриота, смогиста бывшего, диссидента, вдруг обособился.

Он ездил по любимой им России, работал в разных, иногда случайных, местах, задерживаясь то на Соловках, то, например, в Архангельске, надолго, то где-нибудь ещё, куда его влекла, вела, неожиданно заносила какая-никакая, но судьба.

Для него, человека взрослеющего, шло его, для него назревшее, «семидесятое время».

Он оброс, как и все мы почти, бородой, он втянулся невольно в кочевую, бездомную жизнь.

Наверное, всё это было на пользу, только на пользу.

Вдали от Москвы у него находилось достаточно времени для самообразования, для его ночных размышлений, для писания новых стихов.

Юра писал свои циклы, небольшие такие тетради, — и хорошо понимал, что нашёл наконец свою форму. Он даже не поленился, что вообще удивительно, сообщить мне об этом, лично, вдруг прислав мне однажды на Украину, где жил я, как всегда, в родительском доме, в тишине, и много работал, коротенькое, строк в десять, возбуждённое, торопливое, но искреннее письмо.

Я тоже считаю, что это была его, незаёмная, форма самовыражения.

И совершенно зря он позднее сам отказался от неё, почему-то усердно принявшись тасовать, словно карты, стихи и «строить» из них свои книги, предназначенные для издания, как-то совсем по-советски, книги, по-моему, просто сборники, с нужной тематикой, сборники, но не книги, некие композиции, в которых куда-то ушла, куда — никто не узнает, возможно — уже навсегда, органичность, прелесть, наивность, наигранная немного, но всё же необходимая, оправданная, потому что дружила с ней артистичность, нешуточная свобода, раскованность изъяснения, и юмор, и патетичность, и свежесть, и даже глупость, представьте себе, случается в поэзии и такое, и вовсе не в северянинской, а в кубовской, и ещё многое, очень многое, связанное с особенностями

ми своеобразного, кубовского, с вывертами, с изыпаниями, с нелепостями, случайностями, бредовостями, с историческими экскурсами, гражданскими убеждениями, российскими парадоксами, к ним впридачу, тут же, дразнящими, пикантными, заграничными соблазнами, так, прозапас, и совсем уже полушкольными, со шпаргалок, вроде бы, списанными, ни в какие ворота не лезущими, утверждениями и тирадами, от которых дурно становится, но которые, как ни странно, входят в кубовский круг познаний, а за ними — с тайной, прозрением, непредвиденным откровением, с попаданием точным в цель, а потом — с провалом куда-то, за провалом — с подъёмом ввысь, к сожалению, вовсе без музыки, нет её, отсутствует слух, да и с ритмом не всё в порядке, но зато наблюдательность есть, страсть к подробностям, к точной детали, к эротичности переменной и практичности неизменной, своего, тем не менее, кубовского, подчеркну я опять, сознательно, дабы ясность внести, мышления, своих приёмов и навыков, насильничать над которыми просто-напросто, братцы, грешно.

Разумеется, да, разумеется, каждая вещь отдельная в изданных, и за границей, и у нас в отечестве, в пору свободного книгопечатания, в толстоватых, с обложками броскими, в меру тонких, совсем тонюсеньких, наподобье брошюр, его книгах, существует сама по себе, (как и Куб, сочинивший их, существует благополучно, год за годом, сам по себе, обособившись, отделившись от былого, весь в настоящем, весь в себе, вещь в себе, да какая, штучка просто, столичная, вроде бы, но отчасти провинциальная, с заграничной надёжной прививкой и с умением, где бы ни был он, приживаться и выживать), будучи, в общем хоре, не слаженном, по причине, увы, отсутствия слуха, да ещё и проблемы с ритмом, вполне, так может казаться некоторым, самодостаточной, и выстроенные им с натугою, ощутимой даже на расстоянии, сразу, с первого взгляда, группы или скопления некоторых стихов тоже кое-кого из читателей впечатляют.

Но я вспоминаю его самиздатовские, давнишние, тонкие, слишком лёгкие, мотыльковые прямо, книжечки, убористо напечатанные на половинках листа, стандартного, машинописного, под настроение, видимо, с удовольствием им разрисованные виньетками, завитушками и милыми почеркушками, с нежностью несомненной и неизменной грустью.

Зря он, столько уж лет, что и счёт им давно утерян, до сих пор, с упрямством, понятным, очевидно, только ему, никого не желая слушать, ничего не желая знать, из каких-то соображений, продиктованных, видно, смущением и досадой на несовершенство молодых писаний своих, отказывается, отрекивается и от стихов смогистского периода, с их элементами наива своеобразного, с их уловатой, ломкой грацией и трагическим, назревающим в их сердцевине, старомодным, ранним лиризмом.

Думаю, тексты эти ещё напомнят ему о себе.

Как бы то ни было, Юра, путаясь, ошибаясь, обжигаясь, надеясь на лучшее, искал свои пути.

Независимость, как известно, всем и повсюду на пользу и всегда, как бы жизнь ни складывалась, удивительно хороша. Уединение, даже отшельничество — тем паче.

А чужая душа, наверное, поговорке согласно, действительно, как ни гадай — потёмки.

И подчёркиваемое, кстати и некстати, Юрой, осознанное как спасение, отъединение от всех нас, от старых товарищей, попахивало и ревностью, и матёрым его эгоизмом.

Но Бог ему, а не люди, в жизни пёстрой его и в творчестве, для кого-то спорном, судья.

Для меня почему-то дороги не нынешние, а прежние, молодые, светлые образы друзей — вот что я сознательно, правоту свою понимая, перемены все принимая близко к сердцу, периодически, где возможно, где к слову придётся, хоть и с тяжким, уже не скрываемым ото всех, огорчительным вздохом, словно красной размашистой линией под строкой неровной, подчёркиваю.

Несмотря на то, что со временем люди вокруг меняются, что так сильно, нередко к худшему, изменились они к девяностым, со свободой пришедшей, годам, и, тем более, в новом столетии, надо, всё-таки надо видеть то хорошее, что, несомненно, было в них, что, надеюсь, есть в них, потому что это хорошее для меня-то — уж точно, ничем, никогда и нигде, не заменишь. Хорошее, согласитесь, господа, вообще невозможно вычеркнуть напрочь из жизни.

И я вздыхаю и вижу Кублановского — Куба, Кубика, так мы его называли, и прозвище прижилось, — вдруг, для всех неожиданно, появившегося в Москве, приехавшего ко мне, сидящего в уголке на расшатанном старом стуле в характерной своей, угловатой, слегка изломанной позе — с подвёрнутой ногой, попивающего с удовольствием дармовое сухое винцо, похохатывающего надтреснутым, с коготком в гортани, смешком, поглаживающего симпатичную, пышную, длинную, — вовсе не такую, как нынче, подбритую и тщательно слишком подстриженную, — кочевую, густую бороду, рассказывающего о том, где был, что извещал, что видел, — и наконец вытаскивающего из потрёпанной сумки вместительной очередную тетрадку.

Читал он своеобразно, с наивной, чуть нарочитой, но привычной всем аффектацией, то вытягивая в мелодию с диссонансами звонкие гласные и за их звучанием следуя, будто слепо, с размаху, тычась в низковатый для слов потолок, то подчёркивая по-актёрски резковатым, коротким жестом поднимаемой, в нужное время, длиннопалой правой руки, мысль какую-нибудь серьёзную, суть подспудную стихотворения, с отработанный им, отшлифованной в невозвратные наши, орфические, драгоценные времена, то ли, вроде бы, вопросительной, то ли, вроде бы, утвердительной, зыбкой, шаткою интонацией, словно сам себя убеждал в чём-то нужном и в чём-то важном.

— В океане пронзительной сини, в устремлённой пыли световой возникаю с букетом полыни над изрытой кротоми землёй... Я согласен на всякую дружбу, я согласен любимое сжечь, только б вышла из мозга наружу недостойная юности желчь. В чём повинен я, хлебные злаки, что в сей пахоте кроме корней вижу крыс я кровавые драки и убитый оскал лошадей. Вижу я прокопчённые лица, рты багровые страшных людей и того, кто готов застрелиться в светлой комнате дачи своей. Отчего мне доступно лишь это, а не белые травы от рос? В холодке наступившего лета жду ответа на этот вопрос.

Насколько я помню, это стихотворение — из Юриного сборника «Небесная прогулка». Да, так и есть. Точно. Может, что-нибудь ещё вспомнится? Вспомнилось. Всё отсюда же. Из прогулки. Небесной. Кубовской. Ну-ка, где они, эти огусы? Вспоминайтесь-ка. Поточнее. Так. Звучите. Без комментариев? Хорошо бы мне обойтись, хоть однажды, без таких. Но какие-нибудь мои, а не чьи-нибудь там, слова среди стихов стародавних кубовских, почему-то сегодня вышедших из былого, вполне допускаю, может быть, ещё и появятся.

— Есть три скамейки мокрые теперь от частых дождей октябрьских. На одной с Мариной мы сидели как-то ночью, я был юным и вскоре мы расстались. На другой Ирина полюбила вдруг меня, когда казалось всё конченным и навсегда решённым. На третьей с Леной мы сидели день назад, был жёлт и чист осенний листопад. Их скоро занесёт. Не листьями, а наступающим снегом. И деревья враз позабудут о их существовании простом, большие ветви с чёрными шипами графично в небе распростав. Марина вышла замуж неудачно и говорят, что помнит обо мне. Смеётся. Ирина любит до самозабвения, и именно поэтому Елена покончила со мною навсегда.

Когда Кублановскому неведомые подмосковные хулиганы свернули нос набок, он был ещё молодым поэтом. Не нос, конечно, а Куб — так его все звали. Числился таковым. Поэтом — и всё тут. И баста. Молодым, понятное дело. По возрасту подходил. Было ему в ту пору всего восемнадцать лет. Состоял, разумеется, в СМОГе. Куда же нам — без него? Читался, представьте, другом. Учились мы вместе с ним в Московском университете. И не только на отделении престижном, искусствоведческом, но, так почему-то вышло, даже в группе одной. Впрочем, группа одна и была, всего-навсего, на истфаке. И в ней имелось навалом весьма колоритных людей. Кто откуда, часть — из провинции, остальные — сплошь москвичи. Куб в Москву приехал из Рыбинска. Огляделся в столице. Освоился. Приобрёл свою кличку, прилипшую навсегда к нему: Юра — Куб. Заимел друзей и приятелей. Заводил романы. Писал свои ранние циклы стихов. То есть, был

тем, кем все его в те далёкие годы считали: милым парнем, чуть инфантильным, но всегда себе на уме, неизменным любителем кайфа в самых разных его проявлениях и ценителем удовольствий, большей частью халявных, приятных и уму, и душе, и сердцу, по карману отнюдь не бьющих, а скорее наоборот — позволяющих сэкономить на гульбе, чтоб на жизнь — в заглазник, и живи себе — кум королю, — был он в нашей пёстрой среде вроде — так ли? — совсем своим, ну, во всяком случае, так мы наивно его называли: свой — и всё тут, и всё этим сказано, а вот вправду ли свой — неясно, да чего уж там выяснять, если всюду ходил он с нами, выпивал в компаниях наших, то и дело стихи читал, значит — званье своё оправдывал, отработывал — так, между прочим, и опять с головой окунался в удалую житуху богемную, и — «за всю Москву» не скажу, велика и сумбурна столица, но в квартирах, где мы собирались, где всюю общенье бурлило, где кипели юные страсти и стихи вечерами читались, и особенно — на «психодроме», славном дворике МГУ в самом центре, на Моховой, где любили сидеть мы когда-то на скамейках, среди листвы, жёлтых стен «альма матер», музыки мегаполиса, неба синего или серого, что зависело от погоды, от времени года, и, возможно, от настроения, большей частью тогда приподнятого, — Юра, он же — всеобщий Куб, иногда и помягче — Кубик, был — весьма известным поэтом.

Нос — это вам не шуточки, не какие-нибудь случайные, так, для понта, хухры-мухры. Нос — это самый центр человеческой физиономии. Как Москва — посреди Союза. Как любимый наш «психодром» посреди огромной Москвы. Как пробившийся вдруг сквозь хмарь светлый луч посреди «психодрома». Нос — это часть лица. Да какого лица-то — Кубова! Да какая часть — самая важная. Самый центр его. Самая суть. Нос — не сон. Это — явь. Давнишняя. И всегдашняя. И грядущая. Нос — надежда, отрады ждущая. Нос — тропа, по жизни ведущая. Звёздный час. Колокольный звон.

В нём три буквы — в понятие этом, в слове этом серьёзном — нос. Нос — ответ. Иногда — вопрос. Иногда и совет. Завет? Ох, чего же в нём только нет! Нос, особенно Кубов, — знак. Символ, зримый не просто так. Нос — примета. И метка. Весть — обо всём, что на свете есть. Флюгер. Компас. И даже — меч. Словом, то, что надо беречь. Нос — не наше, Кубово всё. Выстрел. Хокку на шляпе Басё. Тайный спутник. Фантом. Двойник. Ощущений земных дневник. Нос — из Гоголя? Нос — из Свифта? Нас морочат? Подобье лифта: вознестись от земли до звёзд. Нос — несложен. И нос — непрост. В нём три буквы. Как в слове Куб. Нос, понятно, был Кубу люб. И подумать ведь: бах! — и вбок. Нос, по счастью, — не колобок. Никуда не катился он. Просто — стал, как кошмарный сон.

Было дело не где-нибудь там, далеко, где «отсюда не видно», а, конечно же, в Подмосковье. В Подмосковье, само собой. То

есть — близко. Так — ближе к телу. То есть — к носу. Ведь нос — часть тела. Часть всего. Но — какая часть! Часть — как честь. Но и часть — напасть. Просто страсть. А точнее — страсти. Не по носу ли? Так, отчасти. Не по лобной — под чёлкой — кости. Нос поехал к знакомым в гости. В дачной местности, на природе, был пикник. Что-то в этом роде. А точнее — была гулянка. И застолье. А может — пьянка. Выпивали и говорили. Закусив, не спеша курили. Говорили и выпивали. Даже песенки напевали. То-то «гости съезжались на дачу». Быть на даче — уже удача. Из Москвы — в Подмоскowie: чудо! Коль гульнуть захотелось люду, то поедут куда угодно: все мобильны и все свободны. Наплевать на время тяжёлое! Был гостям дух свободы люб. Люди, вроде бы, и не квёлые. Каждый молод и, чай, неглуп. А потом разъезжались, весёлые, расходились. А с ними и Куб.

Вот его хулиганы и тюкнули. По носу. Били — правой рукой, по-боксёрски, умело. Бах! — и всё тут. Гуляй, студент!

Нос повернулся — вправо. Как на шарнирах каких-нибудь. Преспокойно. Легко и просто. Повернулся — да так и застыл.

Допускаю, что носу Кубову находиться в таком положении было даже удобнее, нежели в положении, всем привычном.

Ну а может, по ветру носу было так удобней держаться. Может, чуял он ветер грядущий, не прямой, а иной, обходной?

Не отсюда ли всё началось — все уловки, все хитрости Кубовы, все предательства, поиски выгоды, благ, кормушек и льгот — для себя?

Что-то в нём изменилось тогда. Окончательно. Бесповоротно. Что-то щёлкнуло — может, в мозгу, ну а может, в носу, — кто знает!

Нос — показывал вправо. Герои, в старом фильме про Айболита, распевая песню об этом, как известно, идут в обход.

Куб — героем не был. К тому же — настоящим. Был — просто Кубом. Эгоистом в квадрате. В чёрном. По Малевичу. Был — собой.

Нос показывал — вправо. Тропка обозначилась. Обходная. Покумекав, студент правоносый на неё охотно ступил.

И с тех пор — всё пошло как по маслу. Все вокруг — за правду страдали. Куб — не знал ни тоски, ни печали. Нос указывал — верный путь.

Пожалел его Дима Борисов. Приютил его у себя. Подыскал ему докторов. Те — поставили нос на место.

Но незримое место носа — было справа. Правее, чем надо. Там была для Куба отрада. Тайну эту Куб свято хранил.

Нос был — флюгером. Стрелкой магнитной потаённого, верного компаса. Нос был — флагом: капитуляции и победы, в единстве странном.

Нос был — песней. Вначале — вроде бы модернистской. Потом — с оглядкой на традиции. То есть, трезвой. По расчету. Не по судьбе.

Нос был — камнем, в фундамент заложенным. Стал он — камнем, судьбою брошенным: и в фундамент, и в Куба практичного. Камнем веры — сей нос не стал.

Если надо — нос вправо смотрит. Если что — вроде, смотрит прямо. Но — правее, чем все. С кривинкой. С тропкой тайной, своей, обходной.

Нос — на месте. И Куб — на месте. Литератор. Всё честь по чести? Он устроен. Предан. Без лести? Без расчета? Как бы не так!

Нос, глядящий вроде бы прямо — или вправо? — совсем не драма. Что ж, комедия? Анаграмма. Сон кошмарный. Фирменный знак.

— На небе с газовым шарфом, с лунной уже холодной, в полночной синеве, в звездах норвежских саг я мир хотел перевернуть во имя Родины свободной и как колодезный журавль в окне чернел рычаг. Простимся! — я сказал тебе, а также той, что вечно плачет, про обречённость наших чувств и действий говоря... Другие силы слышу я в своей груди, а это значит, нет смысла ждать, когда взойдёт холодная заря. Ирина! Сколько чудных дней, повлекших яростные ночи, мы провели с тобой... прости, прости, не мучь себя. Мне голос, голос, голос был, его мой слух поймал воочью меж прочих тресков и шумов сухого декабря. Елена! Извини за всё — что горячо и малодушно я мучил волосы твои и руки целовал. Быть может искуплене там, где звёзды падают послушно... Но я прощением твоим всегда пренебрегал. Когда же вышел на крыльцо, внезапно наступила зрелость. Был воздух свеж. Светила ночь. И бегало зверьё. Спасибо, Родина, за то, что я увидел, как им пелось и не убил тогда себя во здравие твоё.

(Жуть, конечно. Самопародия. Слух его «воочью» поймал некий голос. Что, разглядел «меж прочих тресков», да «и шумов»? Голос — в одном ряду с ними? Увиденный — Кубом? Так вот, за просто. Впрочем, он, именно Куб, а не кто-то другой, «мир хотел перевернуть во имя Родины свободной» — и для этого именно акта, отдающего терроризмом, «как колодезный журавль в окне чернел рычаг». Далеко до Куба какому-то там зачуханному Бен-Ладену! У того и в мыслях подобного сроду не было, и не ведал он, мир собравшийся переворачивать, что для этого есть рычаг пустяковый — журавль колодезный! Кублановский — не террорист. У него на крыльце «внезапно наступила зрелость». Увидел он, «как» таинственным «им» — не зверью ли? — где-то пелось. И тут же, созрев, он за это родину — вот ведь как! — откровенно поблагодарил. И себя во здравие её он тогда, подумав, не убил.)

— Уйти в поэзию. Забыть про всё, что есть. Пусть жизнь течёт отдельно и случайно, раз не смогла как надо преподнести себя в своей красе чрезвычайной. Раз женщине не тягостно лю-

бить, но тягостно мужчине постоянство, кто может хоть неделю пережить без вспышек сигарет и бешенства, и пьянства? Я думаю сейчас о нас с тобой — на серых небесах живут не только птицы. Нам важно приподняться над землёй задолго до того как под неё спуститься. Поэтому из всех прекрасных чувств я выбрал те, которые рождают великие творения искусств, которые всё это отражают.

(Жизнь не смогла себя «как надо преподнести» в «своей красе *черезвычайной*». Какая жалость! Куб «из всех прекрасных чувств», — придирчиво, поскольку зрелым стал, и «важно приподняться над землёй задолго до того как под неё спуститься», бессильный «хоть неделю пережить без вспышек сигарет и бешенства и пьянства», хоть это всё *слова, слова*, как сказано в одной великой пьесе, — взял да и «выбрал те, которые рождают великие творения искусств, которые всё это отражают».)

— Опять проблемы бытия, небытия и христианства от праздности спасают ум и сердце от тоски. Всё это озаряют вновь огни осеннего убранства, коробочки сухого мака и травок колоски. Но стоит лишь поднять глаза от книг клубящегося неба, как видишь — прячется смеясь среди бегущих коз... Он хочет чувства утопить в крови душевного вертепа и после вытолкать пустым на утренний мороз. Но там, в лазурях ледяных под низкой веткой влажных яблок, вдруг заживёт и заглядит остекленевший взор... когда начнёт твоё плечо царапать дрожь куриных лапок, и жёлтый с шишкой клюв кричать в разряженный простор.

(«Опять проблемы». «Прячется смеясь среди бегущих коз» — «клубящееся небо». И некий демон «хочет чувства утопить в крови душевного вертепа». Заведенье, заметим в скобках, не для слабонервных. Вертеп душевный! Кто бы так решился сказать? Но Куб, которого желает незнамо кто незнамо почему взять да и «вытолкать пустым на утренний мороз», об этом преспокойно говорит. Похвальная уверенность в себе. Одновременно — самобичеванье. Там, на морозе, там, «в лазурях ледяных», «вдруг заживёт и заглядит остекленевший взор» Кубов. Да, «проблемы бытия, небытия и христианства от праздности спасают ум и сердце от тоски». А на морозе, поутру, несладко вдруг окажется, да ещё — пустым. Запутаешься. «Жёлтый с шишкой клюв» кричит себе «в разряженный простор». Не разряжён ли, как ружьё, простор? Тогда уж говорится — разряжённый. А может, праздник есть в календаре? Простор тогда, конечно, разрядили. Эх, «заживёт и заглядит», пожалуй, «в лазурях ледяных» — «остекленевший взор»!..)

— Как наслаждался я биением в груди, душевную в себе лелеял травму, тогда меня не волновало равно ни тело женщины, ни звёзды впереди. Я погружался тёмными ночами, не чувствуя

тепла ласкавших рук, в бездонный мир, где пьяные кричали и лопнувшей струны доньне длится звук. А по утрам за женскими плечами я наблюдал, как без душевных мук кристаллы снега тонкими лучами в оконных стёклах вспыхивали вдруг... Спокоен ныне я под сферой небосвода и не пил много дней вдобавок ко всему. Куда ты катишься, бессмертная природа? Опомнись. Есть предел терпенью моему.

(«Душевную в себе лелеял травму» поэт молодой. Но «без душевных мук» существовали рядом по утрам кристаллы снега. Был поэт спокоен «под сферой небосвода». Был он трезв, «поскольку не пил много дней вдобавок ко всему». И вопрошал поэт бессмертную природу: «Куда ты катишься?» И укорял: «Опомнись». И угрожал почти, предупреждая бессмертную природу: «Есть предел терпенью моему». Терпенье лопнет, скорее, у природы. Пусть поэт, «в бездонный мир» привычно погружаясь, «душевную в себе лелеял травму». Природа скажет: «Не учи меня, травмированный, жить. В бездонном мире ты не пил много дней вдобавок ко всему».)

— Зима то отпустит, то вновь затрещит холодами, а сердце то влюбится, то охладает опять. Подобные травмы не лечатся даже годами, я знаю прекрасно — зачем предо мною вилать. Когда над Отчизной завывли ветра непогоды и пали колени на ледяную панель, не лучше ль лелеять подобные смены природы, чем злыми руками стараться приблизить апрель? Вчера ещё холод, конец, воробьиные крошки, а ныне с музыкой в подъезд открывается дверь. И солнце сияет, и воздух синее в окошке. Пора одеваться и ехать за пряником в Тверь.

Что тут скажешь? — поскольку за пряником ехать было пора ему почему-то не в Тулу, а в Тверь, — относились к этому все как к причуде или же к блажи, ну а может, он перепутал Тулу с Тверью, — как Митрофанушка из комедии небезызвестной, тот, что был не в ладах с географией, — да не всё ли равно теперь, если Куб оставался Кубом, даже здесь, в ситуации с пряником, рассудив: глядишь, доvezут! — и к тому же, как всем понятно, даже ёжику, пряник — не кнут, чей бы ни был он, тувльский, тверской ли, самиздатовский ли, солженицынский ли, — вот и рвался он к прянику дальнему, — и никто его не удерживал, — да и как удержать поэта, если ждал его где-то лакомый, для него одного, кусок.

И снова, легко, надолго, пропадал он куда-то из виду, и потом появлялся, будто расстались только вчера.

Детскость, живущую в нём и придававшую некое нервное очарование ранним его текстам, в стихах, обильных весьма, семидесятых годов он прятал сознательно внутрь, хотя она всё равно прорывалась местами наружу помимо воли его, потому

что была естественной, в обиходе же научился эту детскость порой шаржировать, очень уж, до безобразия, стараясь казаться серьёзным.

Вспоминаю его с теплотой, с не угасшей с годами приязнью. потому что и он ведь — часть моей юности, молодости, зрелости.

Ну что же, Куб, что же, Юра, оставайся самим собой, мужайся, крепись, путешествуй, понемногу, за шагом шаг, уходя всё дальше в магическую, небывалую и банальную, зазеркальную и реальную, перспективу своей судьбы.

...Где не ждут от кочевий ключей и не мучит кошмар-соглядатай, где не прячется в гуще ночей Кублановский — сверчок бородатый.

(Нет, говорю я, нет, — и свищет ночная птица, и за нею птица предутренняя, а потом и дневная птица, и за нею весь птичий хор.

Да, говорю я, да, — и стираются все границы, море пенится, время тянется, листья разом с ветвей срываются, ветер вновь налетает с гор.

Что ж, говорю я, что ж, — всё сбывается, пусть скрывается что-то светлое за холмами, развеивается за домами стягом битв, прошедших давно.

Всё ж, говорю я, всё ж возрастает, как свет, звучанье обещания и прощанья, встречи с прошлым, речей за гранью лет, глядящих ко мне в окно.)

Все мы рано повзрослели, рано осознали себя поэтами, поняли, что это и есть наше призвание: и Губанов, и я, и Кублановский.

Имелся и другой вариант нашей смогистской, снятой Лёней Курило, фотографии, где была только наша троица.

Пахомова тогда — отрезали.

Но как же — без него?

И я восстановил справедливость — и вот уже четвёртый десяток лет смотрим со старого снимка — мы, юные, смотрим — на самих себя, нынешних, — только нет нынче Губанова с нами. Великолепная четвёрка — можно и так нас, тогдашних, сегодня назвать.

Что там шумит, что там звенит на московских семи холмах, чуть поодаль от красных кремлёвских стен, фряжских башен, зубцов резных, от державных флагов, сводчатых врат, от хором, где законов свод не драконы лютые сторожат, но проверенных зомби взвод, за которым армий стоят ряды, и, похоже, им несть числа, потому что ждут в теремах беды и хотят, чтоб она ушла, потому что в чёрной речной воде отраженья тревожных звёзд, различных глазом простым везде,

поднимаются в полный рост, — ну так что за шум там и что за звон, различимый слухом вполне, раздаётся, людям ломая сон, в темноте, в ночной тишине?

Это расходятся из дома, притулившегося, среди прочих окрестных строений, на крутом, отчаянном склоне, в тихом, вроде бы, но таком, где, как в омуте, черти водятся, переулке, почти напротив Сандуновских известных бань, из надёжной, уютной дающей всей богеме, дружеской комнаты в коммунальной унылой квартире, засидевшиеся допоздна там, в тепле, во хмелю застолья, подуставшие, закосевшие и хозяйке поднадоевшие, хоть сперва и желанные, гости.

Компания поначалу держится плотной стайкой, но уже вскоре, как это всегда и бывает, необъяснимо и неудержимо, так, что болью в груди отдаётся убывание это грустное, расставание, вдруг, некстати или кстати, но предрешённое, как и вечное недопитие, сколько б ни было выпито ранее, потому что всегда спиртного для героев бывает мало, рассыпается горстью брошенных в мир, в пространство, сквозь время, семян, огорчительно слишком, но явно в пустоте густостенной рассеивается по улицам, кто куда, был и нет его, был и пропал, почему-то исчез, испарился, растворился во мгле, воспарил и вернулся на землю, и вот спохватился и в сторону бросился, — эх, да что там, ну да, ну да, разбежался народ, вот беда, вот и не с кем поговорить, даже не у кого прикурить, все куда-то девались, — компания, не понашенски, нет, скорее по-советски, с учётом всяких обстоятельств бесчасья, граждан всей великой страны советов заставляющих быть повсюду начеку и держаться в жизни, по привычке, настороже, как-то горько, досадно редеет.

Аркадий Пахомов, смогист, певец крольчат и товарных поездов, пугачёвский бунтарь, урбанист, но любитель природы, ценитель стихов Георгия Иванова, исполнитель отборных песен Вертинского, застольный рассказчик, лихой гуляка, молодец добрый из сказок, бредёт в одиночестве вдоль всеми цветами радуги светящихся, как нарочно, (чтоб душу разбередить, о воле напоминая с покоем, откуда счастья на свете, выходит, нет, как Пушкин сказал когда-то прозорливо, печально и просто), витрин — и его неожиданно, с неслыханной, цепкой силой, охватывает жестокая, пронзительная тоска.

Тошно русскому богатырю, ох, тошнёхонько, не тошноовато, нет, куда там, покруче бери, в полной мере, действительно тошно, тошно так, что хоть криком кричи, в одиночестве неразумном находиться на вымерших стогах в центре спящей, бездушной столицы.

Берёт он в десницу железную, вместо увесистой палицы, попавшуюся на глаза мусорную, заплёванную, но зато и весьма тяжёлую, как снаряд боевой, урну — и, раскачав её, с силой швыряет в ночь.

Грохот замысловатый и странноватый звон тотчас же раздаются, множась, во всей округе.

Это вдребезги разлетается одна из приманно-обманчивых, уставленных образцами материальных благ нынешней цивилизации, в советском её варианте, раздражающих и дразнящих томящийся в окружении нарочито безмолвных кварталов и всё более вдохновенный и мятежный, пламенный взор удалого богатыря, чуждых сердцу и духу ночного и, увы, совсем одинокого, в мире грёз и нелепиц, путника, городских противных витрин.

Завидев неторопливо приближающийся к нему по асфальту дорожному влажному зелёный, вполне симпатичный, мерцающий огонёк, Аркадий решительным жестом останавливает такси, грузно, весомо падает на скрипнувшее под тяжестью богатырского тела, мягкое, податливое сиденье и бросает шофёру короткое, повелительное: «Вези!»

Тот привозит его, паршивец, не куда-нибудь там подальше от шума, звона и грохота, но напрямиком, разумеется, в ближайшее отделение столичной суровой милиции.

— Что ж ты делаешь, гад? — вопрошает огорчённый Пахомов шофёра.

И тот ему вскользь бросает лаконичное:

— Не шуми!

А менты налетают стаей, словно коршуны, затевают несусветное, торжествуют, руки белые норвят побольнее выкручивать пленному, обессилевшему вконец от борьбы бесполезной с ними, горемыке-богатырю.

— Эх, прости-прощай, воля вольная, жизнь весёлая молодецкая, эх, прощай, моя слава богемная! — огорчённо вздыхает Пахомов и кручинится, буйную голову на могучую грудь уронив.

И коварная ночь столичная отвечает ему:

— Прощай!

И витрина, зачем-то разбитая, говорит ему кротко:

— Прости!

И никто его нынче не выручит.

Никого нет вокруг из друзей.

Никогошеньки. Вот оказия!

Только ночь — и сплошные менты...

Вскоре виновник ночного грохота и набатного или витринного звона оказывается в тюрьме, да не просто в тюрьме, но в прославленных, всенародно известных Бутырьках.

И всё — подумать ведь только! — из-за какой-то железной, довольно тяжёлой, скучной, никому не нужной хреновины, от великой тоски, в одиночестве, просто так запущенной в ночь!

История, дама с характером, любит порой повторения.

Вслед за поэтом, любимым нашим смогистом истово, в молодости футуристом, в зрелости агитатором, наступившим на горло песне собственной, Маяковским, уже в советское время,

на исходе шестидесятых, узником столь пригодных для братьев по цеху Бутырок становится богатырь, воспевавший крольчат, Пахомов.

Но всё, слава Богу, в итоге завершается благополучно.

Разобравшись, не сразу, конечно, а с должной казённой медлительностью, что к чему и зачем сыр-бор, властители замка тюремного, протянув этак месяца два, Пахомова освобождают.

(Скажем в скобках: благодаря энергии и стараниям его отца, незабвенного, благородного, стойкого Дмитрия Семёновича, исключительно светлого человека, — и, конечно же, не без помощи всяких добрых и нужных людей.)

Умеющий ладить с народом, Аркадий не без сожаления расстаётся, по-свойски, по-дружески, но уже навсегда, понятно, с сокамерниками своими, симпатизирующими такому вот славному парню, косая сажень в плечах, ну прямо рубаше-парню, да что там, бери повыше, мужику что надо, серьёзному, человеку художественному, который и песню споёт шалаяпинским громким басом, при полном отсутствии слуха, но так, что слеза прошибёт, и тут же байку занятную расскажет, чтоб время с толком, немного повеселее, порадостнее скоротать, и тюремную исповедь чью-нибудь, грустную длинную повесть о жизни, вконец загубленной, о горькой доле людской, с должным вниманием выслушает, а ещё и стихи пишет.

— Про нас напиши! Не забудь! — летят ему вслед просьбы.

На свободе Аркадий ведёт себя степенно, вроде бы просто, да всё-таки со значением, как, впрочем, и подобает пострадавшему за бескрайнюю, в русском стиле, удадь души.

Для начала идёт он к открытому в нужный час пивному ларьку, берёт, как и всегда, без очереди, четыре традиционные кружки пенистого напитка, устраивается с удобством — и, отведав неспешно пивка, закономерно, как встарь, и вполне для себя естественно, между прочим как-то, легко, словно в сказке, уже оказывается в центре плотного, любопытного кольца разномастных слушателей, с удовольствием явным внимающих его артистическим байкам.

Поэта, само собою, приветствуют, угощают.

Из-за пазухи мужики извлекают в области сердца дожидавшиеся смиренно своего заветного срока кекушки и поллитровки, чьё содержимое крепкое, спиртовое, с достаточным градусом, в равных долях, ни больше, ни меньше, только так, по-аптекаарски точно, разливается тут же по кружкам, в мутное, желтоватое, уже без малейших признаков недавней пушистой пены, исчезнувшей как-то внезапно, привычно и незаметно, как гости, ну впрямь по-английски, давно и, конечно, заранее, ещё до почти ритуального наливания в мокрые кружки, целенаправленно, смело и со знанием дела разбавленное сырой водой изпод крана работниками выпивонной, прибыльной очень торговли, в грязно-белых, как мартовский снег под забором, ха-

латах измятых, с тёмно-красными сытыми рожами и нахальнейшим образом выкаченными на гудящих роем хмельным посетителей заведения, бесстыдными, окончательно и бесповоротно, глазами, вытворяющими в своей алкогольно-помоечной вотчине всё, что лишь они захотят, прокисшее, рвотное, мерзкое и всегда безвкусное пиво.

Народ, знают все люди русские в мире пакостном, любит слово.

Любимец народа, Пахомов отходит душой от недавних, ментовских, бутырских и прочих, не сбивших его с панталюку, но душу его потрепавших, рискованных потрясений.

И снова его заносит в дружескую, богемную, сердцу милую, тесную комнату в коммунальной унылой квартире, в старом доме на склоне крутом, в переулке, вроде бы тихом и пустынном, почти напротив Сандуновских известных бань.

История любит порой вернуть завиток упрюгий подспудной, драматургической, взрывной, упрямой спирали в то место, откуда всё когда-то и начиналось.

Принятый с ликованием, разомлевший, хмельной, вальяжный, поддавшийся на уговоры, Аркадий с чувством читает друзьям стихи свои, всем хорошо и давно знакомые, — вовсе не про сокамерников, а, конечно же, про крольчат...

— Я скажу: на холме был дом, под холмом протекал ручей, а ещё я скажу потом, что и дом, и ручей — ничей. А ещё я скажу, что луна по носам валила плетень, а ещё вам полезно знать, что была у плетня тень. А теперь вам следует сесть в электричку в зелёной шали, электричка такая есть на одном московском вокзале. А затем вам надо сойти возле поля зубчатой ржи, этот дом на холме найти, расположиться и жить. Вы должны завести крольчат, двух крольчат — да, вот именно, двух, вечерами смотреть за закат и думать, обязательно вслух. Да, ещё, но не между прочим, не забудьте, пожалуйста, среди прочих хлопот, я вас очень прошу, очень — разрешайте крольчатам бегать к вам в огород.

Ещё завиток спирали, всего-то один-единственный, казалось бы, а поди ж ты, и что-то уже меняется в жизни, да как-то быстро, — и вот он уже путешествует.

Средняя Азия — (золото солнечное, бирюза небесная, дымный плов, дивный сад в тишине, арыки), — Крым — (песчаные пляжи, горы, каменистые пляжи, тенты, кипарисы, ограды, розы, виноградные лозы, холмы), — Россия — (монастыри с облаками над белыми храмами, стены древние, реки быстрые, перелески, луга, поля). Где бы ни был — всё воля вольная, ширь бескрайняя, даль раздольная, и не к спеху в первопрестольную, — хороша, велика земля!

Города (сколько их промелькнуло!), и пустыни (были такие!), горы (видывали немало!) и моря (конечно, моря!).

Экспедиции, по традиции. Потребность в передвижении.

Ведь до этого, да, представьте, пришлось побывать в Останкине редактором на телевидении, дорасти до поста начальника, соблюдать дисциплину рабочую, пусть и мнимую, — и томиться.

И женитьба — ну, разумеется, на златоволосой Алёнушке, — тоже была, в своё время, у нашего богатыря.

Да мало ли что ещё было!

И стихи он читал нам — всё новые, пусть нечасто, всё больше — по памяти.

Когда же порой приходилось зачитывать свеженаписанное, хорошее, как полагал он, удачное стихотворение прямо с листа, он с трудом, волнуясь, а то и теряясь, путаясь взглядом в каракулях, разбирал свой корявый почерк.

Велик и славен извилистый, со всякими прибабасами, закрученный, точно штопор, хмельной, воронкообразный, развёрнутый серпантином пахомовский артистизм, и проявлялся он, во всем своём блеске, тысячи раз — и в простейших, так себе, пустяковых, и в невероятнейших, на грани сна, зазеркальных, фантастических ситуациях.

Не он искал приключений — приключения сами его, где бы ни был он, где бы ни прятался, неминуемо находили.

Пахомовские рассказы о былом, в его понимании, существуют уже давно только в устном его исполнении, и пора бы уже, полагаю, записать наконец их на плёнку.

Будучи в форме, в ударе, даёт он фору кому угодно, да тому же, допустим, Ираклию Андроникову, или нынешним, эстрадным и балаганным, отъявленным юмористам.

А вот запишет ли он рассказы свои виртуозные, пусть не все, пусть частицу их малую, хоть когда-нибудь на бумаге?

Лень-матушка, или же что-то ещё, посерьёзнее, кто его знает, неизменно мешает ему, но всё медлит он с этим, всё тянет, всё раскачивается, — и время всё идёт себе да идёт.

Помотало нас вдосталь обоих по просторам отечества нашего, навидались мы в жизни всякого, согласись, товарищ крылатый!

В знаменитом своём, похожем на кольчугу древнего воина, облегающем торс былинный, грубой вязки домашней, свитере, с прикурненным для порядка, чтоб лучше сосредоточиться, «Дымком» ритуальным едким в одной руке, а в другой с наполненным стопарём, с прищуром лукавого глаза, с бесом в ребре и проседью в разбойничьей бороде, чувствующий подъём духа, прилив энергии, свой среди всех своих, ты, пожалуй, снова настроен, как и в прежние годы, на славный, незаёмный устный рассказ.

...Ты рядом, — стоишь предо мною, товарищ, — и слышишь, как море шумит.

Вот вкратце о четверых со старой фотографии.

Во времена СМОГа один доброхот, человек практичный и сметливый, всерьёз убеждал нас «учитывать опыт битлов». Может, и был в его словах резон.

Мы не «Битлз», мы другие четверо — СМОГ.

И пусть мы в советских условиях во все тяжкие — то, скорее всего, задавили бы нас ещё круче.

И так всем досталось.

Но вот вспоминаю прежние наши выступления, и этот слушательский восторг, эту восприимчивость к звучащему слову, и внимание, и участие, и сопереживание, и всю раннюю нашу славу, — и понимаю: параллель с битлами, как ни крути, есть.

Переключка во времени?

Свобода самовыражения?

Та поэтическая материя, бессмертная, витающая везде и повсюду в мире, присутствие которой ощущаешь ежесекундно и впитываешь в себя, как свет, — да, это вот — общее.

Да молодость.

Да вера в призванность свою.

Скрипит некрашенная створка — и вот врывается ко мне, да так, что вздрагивает шторка, напев, звенящий при луне. Вдвойне он дорог мне, пожалуй, не тем, что молод был и чист, а тем, что в затхлости лежалой с ним жёлтый сталкивался лист. И реял в мороси бесчасья флажок отважный за окном — и веял нежностью и страстью, ещё не залитой вином. Невольный символ, знак наивный заморских празднеств и чудес, источник связи неразрывной радений поздних и небес! К тебе ли чутко не тянулись четыре гибкие лозы, чтоб дни забвенья встрепенулись, впитав гармонии азы? И что за горечь нам досталась от этой радости извне, что судеб ранняя усталость с душою свыклаась не вполне? И что облупленные стены и стёкла мутные, когда в порыве то и драгоценно, что остаётся навсегда, на грани риска и восторга, не без тоски, не без труда, — как ливерпульская четвёрка в шестидесятые года.

Борис МАРКОВСКИЙ

/ Корбах /



* * *

Не поможет ни райское пение,
ни курортное грязелечение,
ни тоскливое столоверчение,
всё уже не имеет значения —

вещуны, колдуны, хироманты,
раз в неделю — тибетские мантры,
Кашпировский, Мессия, Майтрейя...

Лишь в Евангелии от Матфея,
как подсказка — шестнадцатый стих:
«По плодам их узнаёте их».

* * *

Мне больше не нужны слова,
они мне сердце рвут на части...

Договорились — в два.
Пришла в три с четвертью...

О счастье
уже давно не думаю, мне жизнь
наскучила, как фильм бездарный.

«Держись, — шепчу себе, — держись...
за тонкий листик календарный!»

* * *

«Не пишешь, не пишешь, не пишешь...»

О чем же тебе написать?..

О том ли, что ветер над крышей
листву заставляет летать?

О том ли, как мне одиноко
в неприбранном доме-тюрьме?..

Ты помнишь, у раннего Блока,
а может быть, у Малларме?

Всё та же, всё та же морока,
вселенская хворь или хмарь.
Кромешная музыка Блока,
аптека, брусчатка, фонарь...

* * *

Подарил колечко —
больше ничего...

Спит под снегом речка
в ночь под Рождество.

В печке угли тлеют,
за окошком снег...

Он один согреет,
он один — для всех.

Леонид КОНЫХОВ

/ Москва /



Леонид Коныхов, с которым я дружу вот уже 45 лет, — коренной киевлянин. Для него родной город — огромный, удивительный, колоритный, реальный и фантастический мир, в котором возможно всё и происходит решительно всё — и события будничные, и настоящие чудеса. Коныхов сумел, как никто другой, воспеть свой Город, особенно его окраины, знакомые ему с детства. Не случайно его книга рассказов, изрядно изуродованная цензурой, но всё-таки, с помощью Виктора Некрасова, увидевшая свет при советской власти в киевском издательстве, называется «Там у нас, на Куренёвке». Леонид, родившийся в 1940 году, сохранил в своей памяти и замечательным образом выразил в своей прозе давно ушедшую в легенду киевскую жизнь в период с сороковых по семидесятые годы прошлого века — необычайно пёструю, неизменно бурную, всегда странную для пришлых людей и единственно возможную для выдавших виды обитателей древней столицы, со всеми её закономерностями и парадоксами, приметами быта и проявлениями абсурда, жестокостью и сказочностью, будничностью и неизменной красотой, вольнолюбивую, необычайно яркую, звучащую горькой и волшебной музыкой ушедшей эпохи. По существу, на протяжении полувека Леонид Коныхов создавал свой собственный, очень личный, уникальный эпос. В прежние тоталитарные времена о публикациях на родине большей и лучшей части коныховской прозы нельзя было и помыслить. Прозу эту Коныхов нередко читал вслух, своим друзьям и знакомым, а в машинописном виде она была доступна для умеренного количества читателей только в самиздате. По причине драматических для писателя обстоятельств, именно за самиздат и пришлось Коныхову пострадать, отбывая несколько лет тюремного срока. Эти трудные годы выдержал он мужественно, с достоинством и честью. Помог и случай: в тюремной библиотеке оказалась единственная изданная книга Коныхова. «Своего» писателя на зоне зауважали. Но заточение стоило ему и нервов, и здоровья, хотя на свободе предпочитал он о сложном своём периоде особенно не распространяться. Коныхов — один из наиболее значительных представителей киевского андеграунда. Дружбы и знакомства его были

обширными. Входил он и в круг СМОГ'а. Особенно важной для него, да и для всех нас, была ежегодная летняя жизнь в Коктебеле, где дружеское общение было всегда радостным и творческим, где посреди безвременья и застоя могли мы надыхаться чистейшим воздухом настоящей свободы. В конце восьмидесятых Коньхов переехал из Киева в Подмоскovie. На закате перестройки появились его публикации в периодике, вышла книга прозы. Живёт он уединённо, в стороне от столичной суеты и нынешнего разномастного хаоса, каждое лето — по давней традиции бывает в Коктебеле, где его помнят, любят и чтят, постоянно и сосредоточенно работает. Собрание его прозы — это несколько полновесных томов. Они ждут издания. Для современных читателей великолепная, долговечная проза Леонида Коньхова станет несомненным открытием.

Владимир Алейников

Из цикла
«Киевские рассказы»

Все хорошо, мама

Екатерину Воронину — Воронику — ударили бутылкой по голове, и она осталась лежать на траве в кустах. Там любили посиживать и выпивать: на подъеме горы, за баракком, среди высоких стеблей волосатых и жестких растений. И там мужчины чего-то, видимо, между собой не поделили. Скорее всего, самое Воронику. Такое бывало.

Утром соседка, тоже бедовая женщина, нарезала крапиву для домашнего хозяйства и обнаружила Воронику, пребывавшую в беспамятстве. Когда «скорая помощь» увезла ее в больницу, Петя Воронин, девятилетний сын Вороники, сходил на то место, где нашла мать, а он и не знал, что она всю ночь пролежала на земле. Если б он только знал! Ого... Тогда держись... Да разве у Вороники чего когда поймешь. Может и загулять на сколько-то дней. Трава не расти.

В лежбище, среди примятой зелени, Петя Воронин нашел серую бумагу с обьедками колбасы и плавленных сырков. В воздухе стояли и звенели маленькие мухи. Пахло глиной, теплым духом жилистых стеблей. От сараев тянуло деревянной и тряпичной прелью, как от будки с утильсырьем — сумрачный запах безвестной жизни. Для одних он ничего не значит и ни о чем не говорит; другие от запаха той жизни не смогут отделаться никогда.

Участковый милиционер Василий Троян походил по двору, покачал головой и пошевелил усами, торчащими дальше худых и смуглых щек. Твердый, не оставляющим сомнения почерком, он записал что-то в свой блокнот, а чего бы это могло на сей раз означать, никто сказать не мог. Бедный Троян сам тоже не знал, что ему с проклятой Вороникуй делать. Была б его воля, он своими руками взорвал бы всю эту Липлиновку ко всем чертям, а на

ее месте поставил большой и высокий дом, издалека похожий на Кремль. Как в Москве. Там бы он и сам наконец получила квартиру, и зажил как человек.

Троян посмотрел мечтательно и строго, мотнул головой со смешными усами и ушел к трамвайной остановке, взбивая желтую пыль ботинками сорок пятого размера.

И все.

Ворониха жила в барачной комнате, перегородженной на две части стенкой из фанеры. За этой стенкой, подкрашенной в зеленый цвет, проводил свое детское время Петя Воронин, которого по знакомым дворам чаще всего называли «мальчиком». (Мальчик, иди сюда... Мальчик, кушать хочешь?.. Мальчик, а где твоя мама?)

Ворониха вела дружбу с тетей Валей Емец, такой же свободной женщиной по прозвищу Немка. Немкой тетю Валю называли не потому, что у нее была такая фамилия: Емец — это же почти что «немец» — а потому, что у нее сын родился во время войны, когда город Киев пребывал в оккупации, и сын был, как твердили люди, от немца.

Белобрый, белотелый как сметана, Колька Емец был лучшим другом Петянина Воронина, хотя многие ребята водиться с Немцем не хотели.

Катя Воронина — Ворониха — и тетя Валя Немка по вечерам надевали что получше и уходили гулять, взявшись под руки. Фигурки у них были ладные, почти что одинаковые, и ножки тоже отличные: у обеих «бутылочками» — такие тогда считались самыми лучшими.

У тети Вали, правда, еще белая кожа отливает голубым. Понятное дело, у нее и кровь голубая. У Воронихи же все самое обыкновенное. Товаристное тоже, завидное, но — как у простых людей. Тетя Валя «шпрехает» слегка по-немецки, и с простыми кавалерами даже разговаривать долго не может; а Воронихе со всякими хорошо: сама знает, что не цаца.

У Воронихи темные простые волосы, на прически она особо не тратится, в неполные тридцать лет выглядывает постарше. Тетя Валя, конечно, цаца: аристократка. Волосы белые от природы, гордая она и с гонором. Очень уж сильно у нее голубая кровь, временами даже чересчур, как подмечает Петина мама. Сам Петя в этом мало понимает, не его дело. И разговаривает Немка с аристократическим недостатком. Когда говорит, то будто задыхается, и зубы мокрые блестят. Мужчинам (замечено) такое нравится. Зато и мотается она, как голубая мышь, по городу; у воронихи же без забот, без хлопот кавалер находится на каждый вечер, а то и два бывает. Тогда она тете Вале своих хахалей без сожаления передает: когда в городе почему-то с аристократами перебои. В Киеве такое бывает.

Развлекается Ворониха с кавалерами, как беззаботное дитя какое, душой и телом дразнит. Кому нравится, а кто и поколотит, с чувством собственной справедливости — смотря как получится, наперед ведь никогда не угадаешь.

Тетя Валя — например — Немка: вино пить не пьет, только губы тонкие мочит, и вздрагивает при этом худющим своим телом, как будто ей и в жару холодно. Она больше даже и не деньги — солидность, обстоятельность любит и степенные разговоры: о женитьбе, например, о замужестве. Воронихе, главное, выпить надо, покушать чего-то поплотней, и чтоб еды для Пети, для мальчишка, досталось. Потом в пьяном угаре отдается кавалерам без наслаждения, не любит их совсем, а просто так — не спит. Исполняет свой женский долг, словно никаких других долгов у нее уже нет. Ни тебе забот, ни хозяйства, ни работы. Гуляй — не хочу. Чем она живет, один Бог знает. Да и живет-то как! Если б не добрые люди в бараке, давно бы Петя Воронин пропал.

Шаляется Ворониха возле кинотеатра «Октябрь», что на Подоле. А Петя торчит в биетном зале, в мокрых опилках монеты собирает: возле касс теряют чаще. Петя знает разные такие места, где лучше собирать. Монеты он опускает в глубокие карманы штанов, зря не потратит. На Пете, можно сказать, все их нехитрое хозяйство держится. Ворониха к этому делу ума особенно не прикладывает. Живет как легче. Пете она ничего не наказывает, он все делает сам. И уроки для школы, и посуду моет, и в комнате прибирается; суп и кашу тоже сварить умеет, а больше ничего и не надо. Однажды Ворониха исчезла на неделю. Когда вернулась, только ахнула.

— Теперь я вижу, — сказала, — что нам в доме мужчина и не нужен. У меня мой мальчик есть. Даже белье постирал. Кто ж тебя этому учит, сынок?

— Чего тут учить. Я и сам знаю, — ответил Воронин.

Когда Ворониха, загулявши, исчезала, соседки спрашивали:

— Мальчик, а где твоя мама?

Петя отвечал:

— Уехала к своей сестре, в деревню уехала.

— А кушать ты хочешь?

— Да так... — терпеливо отвечал Воронин.

Разжившись деньгами, Ворониха отдавала их на хранение сыну. Он же и брал оттуда на закупки в магазине, немножко тратил на безделушки. На гостинцы. Прятал их у себя, потом выдавал — для настроения. Одним словом, удивлял и радовал Ворониху. Такие мелочи ее здорово забавляли. Петя Воронин называл свою маму «моя красавица», и готов был за нее подраться с кем угодно.

— Никакой мамы у тебя нету. Твоя мама — гуляка, — вредничал какой-нибудь шкет.

— Моя мама красавица, ее все любят, а тебя я сейчас убью, — отвечал Воронин.

Тогда он делал очень злыми свои темно-карие глаза и набычивал черную лохматую голову на крепкой короткой шее. Вид у него был слегка диковатый, медвежий, хотя, если к нему не цепляться, не приставать, то мальчик он был вполне терпеливый и

спокойный. Плакать Петя Воронин отучился давно. Когда?.. А когда был еще совсем маленьким. В школе и по дворам ребята с ним считались, по голодному детству делились едой. В те времена все мы ели на ходу и гулять выходили с кусками.

— Петяня, хочешь шнац?

— Давай кец. Ого...

Тетя Валя проводила время на далеких улицах, выбирала себе кавалера, как будто это что-то вечное; Ворониха первого попавшегося тащила к себе домой. Ей надо было сидеть на кровати и забавляться происходящим, как будто это в кино. Жила ли она в спячке или же спала на ходу, наполовину стянув с себя белье, она и сама не могла сказать. Когда она не хотела отдавать кавалеру свой женский долг, она отговаривалась: — У меня там мальчик. Нельзя. Там же мальчик.

Воронин жил за фанерной стенкой. Он тоже, как и Ворониха, жил больше на постели: места было мало. Жил, разглядывая потолок и стенки, где трещины составляли разные знаки и рисунки. Передвинешь голову — картина уже другая. Да еще от вещей и предметов на стенках веселье и страшные тени. Обрисовать жирным карандашом — могли бы получиться интересные штуки. Петя пробовал обрисовать. Ничего путного не получилось. Выходит так, заключил он, что странные вещи живут сами по себе, с людьми не дружат.

Побитую Ворониху отвезли в больницу. В этот день тетя Лия-цветочница, невысокая полная женщина с львиной гривой крупно завитых волос, подарила Пете сибирского котенка. Толстый, усатый, пушистый — это был настоящий зверь!

Воронин поселил его на маминой постели, и сам тоже там временно жил. Он знал, что Ворониха не будет сердиться — не умеет. Наводя порядки в квартире, он только сам мог бурчать:

— Не умеешь, не берись. Только лишнюю грязь разводишь.

Ворониха смеялась и отвечала:

— Не буду, не буду. Откуда ты только, чистюля такая, у меня взялся. Мне даже кажется, сынок, что это не совсем нормально.

Петя наговаривал котенку всякие истории из своей бедовой жизни, говорил, что скоро придет мама, тогда котенок будет спать с ней, и она ему придумает хорошее имя, потому что его мама знает все на свете. С котенком за пазушкой Петя и навестила мать в больнице. Котенок Воронихе понравился. Она только удивилась: как это в палату с котенком пропустили.

— Такой хороший, пушистый, приятный, — сказала Ворониха.

— Тебе подарок, — сказал Петя. — Только я его здесь не буду оставлять. Ты заснешь, его украдут. Он твой, когда будешь дома.

— Неделю еще придется лежать, — сказала Ворониха. — Голова сильно болит. А когда приду домой, никаких этих гулянок, никаких кавалеров больше не будет. И стенку твою разгородим к чертовой матери. Если хочешь.

— Стенка пусть будет, — сказал Воронин.

— Ну, тогда вдвоем будем спать почаще. Ты ж любишь.

— А котенок?

— И он с нами.

— Смотри сама, мама.

— Я сказала: конец. Так и будет. Голова сильно болит. Я два дня проспала. Очнулась и подумала: я же всю жизнь свою так проспала. Как будто меня не сейчас, а уже давно бутылкой по голове ахнули. И ты у меня все один да один. Как ты там один живешь, мой мальчик?

— Все хорошо, мама.

— Ничего не хорошо. Били меня, да мало. Меня убить надо.

— Пусть попробует кто. Знаешь, чего я ему сделаю? Знаешь? Ворониха заплакала. Голова лежала на подушке, слезы стекали к губам и в рот.

— Тебе нельзя плакать. У тебя еще больше голова заболит.

— Ничего, мальчик. Пускай болит. Ты у меня последние дни чужую кашу доедаешь. И монеты с полу не будешь собирать. Я разобьюсь, но сделаю. Они еще узнают, какая такая Ворониха на самом деле. Мне здесь один доктор сказал, что может меня взять на работу. Здесь же в больнице, если я захочу. Я сказала: пойду. А ты пока поживи у тети Вали. И харчиться будешь у нее. Она уже знает.

— Мне у нас лучше. Тетя Валя выходит замуж. За дядю Сережу.

— Я знаю.

— А Колька немец говорит, что будет дядю Сережу «папой» называть. Предатель!

— Не говори так. Он мальчик хороший.

Слезы уже подсыхали, Ворониха уснула. Петя вытащил свою руку из материнской руки — кожа цеплялась за кожу.

Лето стояло сухое и жаркое. В неподвижном воздухе за бараком все звенели и поблескивали черно-зеленые мухи и пахло бурьяном и сараями. В ушах звенело, хотелось упасть на том самом месте, где обнаружилась Ворониха, и там уснуть. Воронин так и сделал. Пока спал, ему снилось, что он умеет летать. Он собирается весь внутри, делает над собой усилие, разводит руками, как будто плывет в воде, силой воли отрывается от земли и летит — летит... летит.

Когда Воронин открыл глаза, в душном воздухе, прямо и низко над ним, собралась тяжелая дождевая туча. Петя решил смотаться в больницу, пока не хлынул дождь. Он рванул с места и побежал, как был: босиком и без своего котенка. Подбегая к больнице, он опомнился, что у него никакого гостинца с собой нет. В ларьке у трамвайного парка продавались пиво, пирожки и конфеты. Воронин подтянулся к высокому окошку и сказал:

— Тетя Сусанна, дайте мне конфет. У меня с собой денег нет, но я вам принесу. У меня мама лежит в больнице, я к ней.

— Да знаю я, знаю. — Тетя Сусанна — осанистая, крупнотелая и величественная женщина свернула на пухлом пальце кулек, насыпала конфет и отдала их молча, не взвешивая.

— Вы не бойтесь, я деньги отдам, — сказал Воронин.

— Не надо мне ничего отдавать.

Большое лицо тети Сусанны порозовело, на глазах показались слезы.

«И плачут. И плачут, — сказал сам себе Воронин. — И чего они все плачут?»

У Петинной мамы ладонь тяжелая, крепкая и шершавая; когда гладит по голове, так даже кожу тянет. У тети Сусанны — наоборот: рука толстая и белая, а пальцы розовые, мягкие, и нежные. И Петя Воронин подумал, что это даже неправильно.

Мадам Бровары

Жили-были старик со старухой. Такая опять житейская катасия, вечно оригинальная.

Вера Августовна Снежко, урожденная Рыжик, и ее муж Мирон Тарасович живут в собственном доме в Броварах. Живут в тихом хорошем месте, где жизнь прекрасно умеет разводить своих чертей тихого омута.

Легко сказать — живут, когда Мирон Тарасович уже умер, скончался простой смертью тихого старичка. Правда, эротические видения и страсти Веры Августовны с этим отнюдь не прекратились. Всю жизнь они живут в теле женщины непотухающим вулканом, бушуют, разрывая сомнительные рамки так называемой морали. Потому и не так важно, жив ли Мирон Тарасович или уже умер; остается любовь — несмертельная штука — и правит свой бал.

«...Любовь одна — веселье жизни хладной, Любовь одна — мучение сердец...». Когда-то Вера Августовна «Евгения Онегина» знала наизусть. Лишь после пятидесяти она стала путать стихи Пушкина со стихами другого поэта — он тоже был большой человек, в двадцатые годы служил председателем уездисполкома в Осиновке, откуда родом все Рыжики, а вне службы он был исключительной принципиальной сердцеед, убежденный и сознательный поэт-труженик для каждой своей пасии. Молоденькой Вере Августовне он присылал стихи на богатых лапинских открытках, по их обрезу тянулась нить золотого свечения. Бабушка часто цитировала:

Я с детства любил искушения моды
И общество милых мне дам,
Любил вечерами прекрасной природы
Искать приключений и драм.
Однажды увидел Прекрасную Даму,
Недавно, тот факт налицо:
Нарядное платье из мадаполама,
Красивое, Верочка, Ваше лицо...

Это было так давно, что в памяти Веры Августовны стихи председателя и других поклонников ее красоты и молодости стали тканью одного большого романа — жизни и единственным полным изданием «Евгения Онегина». Принято считать, что любовь — дело молодое, а Вера Августовна примером своей жизни, и особенно после шестидесяти лет, опровергала эти предрассудки. Однажды она до смерти перепугала свою внучку Юлю. Она походила по квартире голой, повертелась перед зеркалом и сказала совсем не к месту:

— Правда, Юлинька, у меня кожа — как лепесток розы?

Женщина до мозга костей, Вера Августовна любит заводить такие разговоры с двадцатипятилетней Юлей, когда она приезжает из Киева с мужем, с матерью или дядей, чтоб навестить бабушку и помочь ей на огороде и по хозяйству, и не нужен великий психологический талант Флобера, чтоб прочитав за строгой внешностью Веры Августовны упрямые и тонкие страсти. (Чтоб прочитав — не нужен; рассказать — другое дело.)

— У старух вообще-то кожа дряблая, некрасивая, — говорит Вера Августовна. — Никаких этих чувств... ну ты понимаешь, о чем я говорю... не вызывает. А я же ничем не мажусь. У меня и кремов твоих заграничных нет и никогда не было. А кожа у меня совсем молодая. Меня и старухой не назовешь, правда, Юлинька?

— Правда, правда, бабушка.

Юлинька хочет как лучше. Вера Августовна своих «лепестков» розы никому не уступит.

— Хоть ты и молодая, а о тебе уже никто не скажет, что у тебя кожа как лепесток розы.

— Не скажет, бабушка, — отвечает Юля — тихая красавица, чем-то похожая на бабушку в молодости; кожа у нее белая, молочная, крапленые серым глаза отливают зеленью.

— Мне посторонние мужчины об этом говорят, — продолжает Вера Августовна. — Один Мирон ничего не видит. Помешался на своем распутстве.

— Ну что ты такое плетешь, бабушка! Смешно же слышать это про деда.

— Вот-вот, никто меня не хочет слушать. Никто не верит. А я своими глазами видела! Вот этими глазами видела, что он вытворяет ночью с Танькой, с квартиранткой нашей. Вышла я на кухню водички попить, у меня во рту почему-то горечь ночью бывает...

— Да ты и без горечи днем и ночью за всеми ходишь. Мой муж уже стесняется ко мне близко подходить. Как бы ты чего не подумала, даже когда он на огороде с лопатой старается.

— Замолчи. Ничего ты не понимаешь. Я в твоём возрасте тоже дура была молодая. Вышла замуж за этого идейного представителя бедноты. А у меня же были такие партии. Блестящие мужчины добивались моей руки. А сейчас твой дед такое себе позволяет! Вышла я ночью на кухню, а он куралесит там с Танькой вовсю. Голые, представляешь.

— Ну что ты такое плетешь, бабушка! Если Таня услышит, она и сама от вас сбежит. А вам лишние шестьдесят рублей в месяц не помешают. И при том, где вы такую квартирантку теперь найдете. Скромная, услужливая. Она и учится, и работает, да еще и вам помогает. И в магазин она сбегает, и за пайком ветеранским на Новый массив сгоняет да еще из той самой гречки кашу вам сварит.

— Можешь меня не уговаривать. Что я буду за женщина, если я Таньку с квартиры в три шеи не прогоню?! Если она такая скромная, как ты говоришь, так откуда же тогда у Мирона укус на таком месте?

— Сто раз уже тебе объясняли: его на огороде медведка укусила. Он яблоки с земли собирал. А он по самой земле ползает, потому что ничего уже не видит. А брюки у него расстегнуты. В том месте на этих рабочих брюках пуговиц, наверное, никогда и не было. Во всяком случае, я их не помню. Вот медведка в ширинку и забралась и укусила.

— Эта медведка была с человеческими зубами, — отвечает Вера Августовна. — Я не дура какая-нибудь, я в эти вещах понимаю. Ты хочешь мне доказать, что твой дед бедный и старый. С тобой от таким старым тебе не покажется. Погуляй ты в трусах и в лифчике на огороде, посмотришь, что он придумает, если я зазеваюсь. Знаю я эту медведку с зубами! Его же и на одну минуту оставить с женщиной нельзя. Для своих, конечно, он старый и больной. Я ему на днях говорю: видишь, Мирон, у меня за последние годы кожа на теле лучше, чем была, стала. А он отвечает: что я там вижу, если я почти слепой. Отстань, говорит, меня ишиас мучит. А я ему тогда говорю: этот твой ишиас, случайно, не за нашим забором живет? Эта медведка номер два, случайно, не Грушенчихой называется? А? Бесстыдник ты старый!.. Нет, дождутся они у меня, что я напишу в партийный контроль, пусть разберут на совете ветеранов.

Вся жизнь Веры Августовны — одно большое любовное видение, где ее неутоленную страсть воплощает в образе сверхмужчины Мирон Снежко и куролесит там с женским полом как демон в облаках видения.

Свою молодую жизнь Мирон начал правильно и хорошо. Активист с двадцатого года, он мог бы достигнуть и большего. Правда, тогда он с большим успехом мог бы и зареветь на приличный срок при всех внутренних чистках, увлечениях и перегибах, как зареветь многие его друзья-выдвиженцы из народа. Будучи и не на самых видных местах, Мирон Снежко имел возможность погибнуть десятки раз и во много раз больше при этом печально и со страхом прощался с жизнью. Его выручали хорошо развитый житейский ум и собачий нюх, различающий ветры бед. Ну и, конечно, элементы чудес, в которые он, как все несчастные и скучнейшие в мире атеисты, никогда не верил. Он предпочел в жизни золотую середину со своим «лепестком розы», ко-

торая и на совет ветеранов выбиралась как на «интересное» мероприятие, удачно замаскированное под могучее понятие «собрания», во всевластном дурмане которого Вера Августовна давно уже поняла другой смысл, скрытый с величайшей хитростью. Такое положение дел она никогда не критиковала. Она только вела себя соответственно, тихим кокетством обнаруживая свою причастность к посвященным. Нервный Мирон возмущался, говорил, что на людях вести себя так не надо.

— Ты всю жизнь только работал, и ничего не понимаешь, — отвечала Вера Августовна.

— Зато ты всю жизнь не работала.

— Потому у меня и было время хоть что-нибудь понять. Не думай, что это намного легче!

После сорока лет Мирон Снежко работал инспектором по заготовительным конторам, имел дело с пищевыми продуктами, с фруктами, овощами; мотался как белка в колесе и на судьбу не жаловался. Звезд с неба не хватал, зато и не обременял себя лишними глупостями. Уезжая по делам, он оставлял на хозяйстве жену, которая хозяйством никогда не занималась и даже не любила этого скучного слова, неосторожно употребленного в предыдущем предложении дважды. Всю жизнь она готовила по книге «О вкусной и здоровой пище», открывающейся портретом Сталина; вкусной и здоровой предполагалась только пища, приправленная чугуном астралом «великого вождя». Облитая соусами и растительным маслом, книга лежала на холодильнике или кухонном столе, такая же обязательная и вечная, как алюминиевая миска возле собачьей будки. В дубке жила длинноногая дворняга Дунька. Винегрет, положим, бабушка могла приготовить и без книги, но все равно упрямо ее раскрывала на нужном месте и перечитывала несколько раз рецепт очень вьедливым голосом изведенной в конец старухи.

Она больше любила принять ванну, расчесать волосы и лежать на постели с распущенными волосами и книгой, в стиле обнаженных натур Ренуара. Она лежала и ждала. Ждала той сладкой до жути сцены, когда дерзкий мужчина, рутанув скачущую на привязи Дуньку — неласковую даже к своим собаку, похожую на большую крысу с длинными ногами, — раскроет две незапертых двери и пойдет в комнату, чтоб увидеть вечно молодеющее тело бабушки. Зайти мог сослуживец Мирона или его знакомый; зайти он должен был, конечно же, не за этим, а только по делу. Тогда Вера Августовна, женщина рассеянная и совершенно неделовая, удалялась в другую комнату, чтоб надеть там домашний халат. Как и положено приличной и строгой женщине, она прятала лицо и показывала гостю голую спину и тяжелый зад. — Вы от Мирона? Это так неожиданно случилось. Я же совсем не одета. — Роза ягодиц уважительных размеров проплывала по комнате. После этого начиналась деловая тяготица жизни.

Сослуживцы Мирона опасались Веры Августовны: после таких случайностей осложнялись отношения и дела; они отказывались выполнять просьбы и поручения, особенно, когда Мирон бывал в командировках. Намаявшись в такие дни на диване, Вера Августовна откладывала на стул пухлую книгу романа и принималась за страсти своей жизни. Обжигаемая силой догадки и видений, она устремлялась светлыми металлическими глазами, упрямыми и непокорными, как оружейная сталь, в ту недалекую точку района, где в облаках греха, такого же дьявольского, как провинциальная пыль, витал Мирон Снежко. На эти видения, картинки эроса из альбома для раскрашивания, она отвечала разумным и логичным письмом по адресу места работы.

Убедительной житейской прозой, как правило, не оставяющей равнодушным партийный и общественный контроль, в этих конкретных и анонимных посланиях говорилось, что много еще осталось у нас недобитых тварей, которым наплевать на стыд, они мимо себя чужой ширилки не пропустят, им бы только полакомиться за чужой счет, задирая повыше ноги, хотя прелести их между тем весьма и весьма сомнительны, но вводят в заблуждение слабых партийцев, которые живут с раздвоенной душой и часто ездят по командировкам, а это может принести сразу в чистый дом, где культурная женщина с двумя повышеными образованиями надрывается по хозяйству, и если кто-то думает, что жена будет с этим мириться по-прежнему, так этот номер не пройдет...

Вера Августовна требовала домой Мирона. Он прискакивал в дом, как заяц, которому накрутили хвост собаки. Мясистый нос его распухал и краснел, руки тряслись и глаза слезились.

— Идиотка, у меня неприятности на работе! — кричал он.

— Я им ничего не писала, — отвечала Вера Августовна.

— Меня не проведешь. Я старый чекист!

— А я кто, по-твоему, такая?! — гордо держалась бабушка.

— Меня уволят.

— Правильно сделают. Пора дома посидеть.

— Как только я им не буду нужен, они мне перекроют кислород.

— Пусть тогда и огород обрежут, если так хотят. Я всегда говорила: на черта нам столько земли!

— Сколько ж у нас той земли?

— А сколько вообще человеку земли надо? Я тебе скажу. Человеку надо столько земли, чтоб поставить под яблоней кровать. Все. У меня руки обрываются от этого огорода. Я не буду одна на нем копать, пока ты где-то там разъезжаешь.

— А, вот в чем, оказывается, дело?.. — сходил с ума от догадки Мирон Снежко.

— И дырки надо заделать в заборе, — рассуждала Вера Августовна.

— Какие еще дырки? О чем ты вообще думаешь?

— Курки от Грушенчихи к нам во двор пролазят. Но это еще ничего. Если я захочу, они у меня в один день все подохнут. А есть там одна большая курка. Не курка, а курва!

— Замолчи, Вера, соседи услышат.

— Пусть слышат. И так все знают, что твоя Грушенчиха — блядь атомная.

— Прекрати, Вера!

— Буду кричать! Атомная!

— У нее муж подполковник!

— Атомная!

— Закрой свой рот! Ты же культурная женщина!

— Да, я культурная женщина. Мы, Рыжики, все культурные. Я Пушкина знаю наизусть. А она — гапка! Что она знает? Воробьям дули давать она знает. Из носа да в рот...

— Замолчи! Подполковник услышит, заявит на нас, куда надо.

— Смелый, когда не надо, а тут испугался.

— Если меня выгонят с работы, что мы тогда будем кушать? Нам никто ничего не привезет.

— Кушать нам всегда дадут. Мы это «кушать» у государства заслужили. Наш паек у нас не заберут.

— Возьмись за ум, — говорил Мирон. — Мы уже не дети.

— Включай колонку, — говорил Вера Августовна. — Я хочу купаться.

— Дудки, это я сейчас буду купаться! Я устал. Я с дороги. У меня неприятности.

— Ладно. Но пока я не помоюсь, ты спать не ляжешь. Поможешь мне спину, Мирон!

Жили-были старик со старухой. И жила еще Оксана Трофимовна Грушенко. Вдвоем с мужем жили они за забором, словно бы за глухой стеной. Через забор по-соседски не разговаривали. Разве что, встретившись на улице, забывались, приветствовались случайно. Так было лучше. Не для всех, правда. Мирон Снежко такого положения дел стеснялся, но ничего не мог поделать. Подполковник был очень видный мужчина, человек-гора, чудачества соседей занимали его так, как может гора воспринимать писк пролетающего над ней комара. Молча и вкусно сидели он вдвоем в беседке — за цветами под яблоней, вкушали обильно от сытных блюд, не вникая в житейскую катавасию стариков и даже не подозревая, насколько они сами в нее влипли.

— Шекспир — это, прежде всего, пьесы — недовольная Шекспиром, резонно умела подмечать бабушка.

Вера Августовна пьесы читать не любит. Пробовала читать — Саша, муж Юли, читающий человек, после работы гоняющий по магазинам книгообмена, подсунул — не получилось. Зато любит театр. Просто театр без всяких Шекспиров. Театр — это совсем другое. Приехавши в Киев хоронить внука, брата

Юли, погибшего на службе в армии, бабушка не выдержала, смогалась в театр, побывала среди зрителей, как на сцене. Родственники возмутились, принялись отчитывать бабушку.

— Я все ж таки в Киев приехала, — резко оборвала упреки Вера Августовна. — Приехать в Киев и не побывать в театре, это уже надо быть совсем темным человеком.

— Да ты же можешь ездить в Киев хоть каждый день. Автобусы замечательно ходят.

— Я уже старая, чтоб ездить каждый день, — сказала бабушка.

На следующий день она приняла ванну, расчесала волосы, походила по квартире Юли голой и первый раз тогда сказала:

— Правда, Юлинька, у меня кожа, как лепесток розы?

Юля тогда побледнела еще больше, насколько это было возможно при ее вообще белой коже, а губы у нее стали очень синими. После похорон брата она и без бабушки слегка тронулась: какой-то мохнатый зверь ночью совал лапу под одеяло из-под ее кровати; паркет в ее комнате с балконом подозрительно затрещал, как будто кто-то по нему ходит; треск этот она слышала всю ночь напролет. Когда она вышла замуж, лохматый зверь из-под кровати исчез, а паркет продолжал трещать, и этого она по-прежнему боялась. С распухшим от слез лицом она сказала:

— Бабушка, наша жизнь — не театр, неужели ты сама этого не видишь?

— Не будь такой занудой, как все наши умники, — сказала Вера Августовна. — Тебе это совсем ни к чему.

Через год после женитьбы муж Юли стал понимать, что даже гением Шекспира не исчерпываются все сцены великой жизни. Шекспир в своем веке, конечно, много знал, но он не жила в Броварах и поэтому всего не знает. Есть страсти и страсти. Есть правая и левая сторона на огороде. На левую сторону деду нельзя ходить, там за забором бывает Грушенчиха. Забудется дед — и выскочит бабушка с палкой. Поразит деду как гром и молния. Юля усвоила это с детства, вместе с клубникой и червячками, когда ползала по огороду маленькой. — Юлинька, ходи по огороду за дедом, — говорила бабушка. — А зачем? — Я буду тебя звать, а ты будешь откликаться, на какой вы стороне. — Хорошо, бабушка. — И сказала Юля по огороду, прилепивши к попе скамеечку... Не ходи на левую сторону, деда... Туалета в доме не было, уборная стояла на левой стороне, перед забором, под вишне. Когда у деда расстройство желудка, у бабы приступы ревности и отчаянные видения.

— Ишь забегал! Как молодой жеребец! — нашептывала Вера Августовна. — Нет, я ей глаза выцарапаю. Уборную своими руками разнесу. Будем жить без уборной. Все! — Душа Веры Августовны жаждала бури. Грушенчиха только полнела и наливалась. Толстая коса пшеничным венком лежала у нее на голове, а груди на дородном теле торчали, как над животом еще больший живот.

За калитку она выходила мало. Чаше уходил ее муж — такой же массивный, с красным лицом — гигант исполинский. Вдвоем с женой они по-домашнему жили крупно. Все ели большими порциями или кусками. Уборная, стоящая напротив их беседки, им не мешала. Жить, конечно, стало приятнее, когда по настоянию бабки уборную перенесли на правую сторону. Только удивлялись, зачем старикам так много лишних трудов в таком возрасте: уходили бы уж в эту яму, немного же и ходить осталось... Потом еще Вера Августовна кусты малины и крыжовника под забором пообломала да повыдрала.

— Ничего не пойму, — удивлялся Мирон. — Кто кусты дергает? Вчера еще малина была, сегодня уже нет. И даже ветки нигде не валяется.

— Можешь там больше не сажать, — отвечала Вера Августовна. — Все равно расти не будет.

— Что значит, не будет? Всю жизнь росла.

— А я сказала — не будет! Там плохая земля. Еще вишню, что была над уборной, надо срезать.

— Знаешь, дорогая, я эту вишню сам люблю. Мелких ягод я уже не различаю. А вишню могу и сам покушать.

— С такого места я не хочу иметь вишни в доме. Я не гапылька какая-нибудь.

— С какого еще места? Чего еще вдрут?!

— И нечего мне здесь чевокать! Сам знаешь, что она над уборной стояла.

— Рехнулась, ты, что ли? Насчет вишни, Вера, я тебя категорически предупреждаю.

— Тоже мне подполковник нашелся предупреждать! У Грушенчихи научился командовать. Ладно, пусть будет по-вашему, а я посмотрю...

Вера Августовна затаилась в коварном ожидании. Наконец-то и вишня уродила (два года не было плодов), и достоялась до полной зрелости. Мирон приготовил лестницу, корзину и очки — собирать ягоды после обеда. Перед тем — послеобеденный сон и храп, положенный всем порядком жизни. Уложил Мирон Веру в постель, сам прилег с краю, почитал ей вслух из газеты сказку, почесал за ухом, и, не дослушавши интересной статьи, отмурлыкала бабушка, провалилась в сон. И в сладком, вытекающем слюной из рта сне будто дьявол Веру Августовну горячим копытом кольнул. Спихнулась она, что деда нет на постели, сообразила мигом все, поняла хитрость с постелью и газетой, застойная кровь ударила ей в голову. Взбрыкнулась с кровати, выбежала на огород, увидела Мирона, лезущего с вишни на забор, чтоб сигануть в порочные объятия Грушенчихи, тоже, конечно, усыпавшей своего дурака подполковника и теперь подставляющей Мирону свои груди, огромные, как перина, чтоб принять на них тщедушное тело Мирона, обхватила руками ненавистный ствол и струсила деда с лестницы. Мирон упал на землю вместе с корзи-

ной, Вера Августовна вишни ногами потоптала. Потом она еще три недели топала на том месте ногами и грозилась кулаком за забор, пока дед лежал в больнице с двумя переломами... Не ходи на левую сторону, деда! Скажи еще спасибо, что живой. Будешь теперь хромать с палочкой... Очухивался дед потихоньку, привыкал ходить. К хромоте его быстро все привыкли, как будто оно так и должно быть: если есть дедушка, так стало быть и хромой. Молодой родственнице из Белгород-Днестровского так даже показалось нормально. В Белгород-Днестровском молодые люди ходят с палочками — это очень модно, только палочки они достают заграничные. Наивная девица совершенно напрасно ударилась в разговоры о таких вольностях. Этим она себя и похоронила, хотя день проводила в Киеве и только ночевать приехала в Бровары. Вера Августовна тут же приревновала ее к Мирону, о чувствах своих много не говорила, выбрала подходящий момент и выставила родственницу с таким треском, что та, боясь дальнейшего позора, не поехала уже ни в Киев, ни к другим родственникам, даже не позвонила Юле, а они друг другу сразу понравились. Чего придумала бабушка, никто толком не сумел узнать, даже и по длинным письмам из трех городов и в диких телефонных разговорах. Молодая родственница сама не писала и по телефону говорить тоже не могла: она начитала сильно икать и вообще с ней случилась нервная депрессия. Видимо, чистые морально и здоровые физически натуры иногда ломаются еще быстрее и травмируются опасней. Чего-то Вера Августовна все-таки придумала: перессорились три семейства из разных городов, только-только нашедшие время и силы, чтоб наладить родственные контакты.

Мирон Снежко, к этому времени уже заметно отошедший и набравшийся сил, устроил Вере Августовне крупный скандал, с привлечение в свидетели родственников из Киева. Чтоб не слышать криков Мирона, Вера Августовна заткнула уши protivoshумными вкладышами из коробочки с надписью «Беруши» только-только поступившими в продажу как аптечная новинка, о которой она прочитала в журнале. На все вопросы он ответила ясно и просто:

— Знает кошка, чье сало съела! Иначе ты бы ее не защищал с пеной у рта.

Вера Августовна поняла, что это уже смертельный рок, аватар с перевоплощением кого-то во что-то, доказывать словами уже бесполезно и решить дело можно только последним способом. Она сварила кашу из гречневой крупы, которую не растрачивали по простым дням, заправила кашу сливочным маслом и крысиным ядом и подставила тарелку деду. Мирон Снежко хоть был и слеповат, да нос имел настоящий инспекторский, с чутьем к смертельным неприятностям. Он взял в рот первую ложку, почувствовал опасность, выплюнул кашу в тарелку и убежал из дома в чем был. Прохромал по улице Челюскинцев в комнатных тапочках на босую ногу и уже в автобусе сообразил,

что ни денег, ни проездных документов у него нет. Кондуктор поверила на слово, что заплатит в следующий раз, успокоила деда и усадила его на место. Видеть Веру Августовну он наотрез отказался, по телефону говорил только несколько одинаковых фраз: — Не надо мне ничего говорить. Я знаю, что такое крысиный яд, — после чего делал такое движение, как будто раз и навсегда клял телефонную трубку. Разговоров об отраве бабушка тоже не принимала и слушать их не хотела. Женщина с головы до пят, она звонила в Киев и объясняла родственникам, что если Мирон ушел из дома, потому что в Киеве ему лучше, так пусть родственники его покрывают, но она не может жить одна, он боится, какие-то мужчины ее осаждают, совсем уже обнагтели, они лезут в двери и в окна.

Родственники приложили усилия, чтоб помирить старичков; устроили обед с виноградным вином собственного приготовления, предлагали забыть все глупости, однако блюда на столе, приправы и рюмки как бы незаметно перенюхивали. Вера Августовна все это видела и молчала. У нее с этого времени начался другой период жизни, когда она ушла глубоко в себя, стаянулась с силой знахарства, потянулась к ворожбе и гаданиям. По ее словам оказалось, что она всегда чувствовала в себе эти крепкие внутренней энергией силы, только время их долго не шло, а теперь в самый раз наступило: в последние два года все осадки мира перемешались, и люди теперь не живут, а колотятся.

Зачадили у Веры Августовны хитрые свечи, заходили блюда по столам, повтыкались в мягкое и твердое острые предметы, опустели колоды карт в карманы домашних вещей и забубнило по дому, зашущукало: бу-бу-бу, шу-шу-шу... Опять трефовый король и дама бубей. Они мне еще будут говорить про Грушенчиху!.. И скрипело столовым ножиком по стеклу окна, мурашки по телу, неприятно... Карты говорили о своем, а Мирон Снежко тихо угасал и однажды ночью умер в своей постели. В минуту смерти проснулась Вера Августовна, взяла Мирона на руки, прижала к себе и сказала ясно и строго: — Мирон, ты не умрешь. Я сама не дам тебе умереть. — С этим душа Мирона и отошла в мир иной. Похоронили его по-граждански и торжественно, со знаменем и речью на могиле. По случаю похоронной процессии старший сын Мирона — начальник дорожно-строительного управления — заасфальтировал кусок улицы до пересечения ее с магистральной.

— Было бы стыдно старшему сыну, да еще начальнику управления, если люди придут на похороны, чтоб помесить такую грязь, — сказал он.

— Всю жизнь промесил, зато в последний путь ушел по асфальту. Вот что значит уважаемый человек, — сказал гражданин, оставшийся без асфальта. — Но хоть бы уж для приличия протянули дальше. А то бросили как раз за своим домом. Как будто на них весь наш асфальт кончился.

— Не накаркайте, пока живы. Тыфу-тыфу, чтоб вас не сглазить, — плевался кто поумней да поосторожней. — Я бы не хотел, чтоб они протянули и к моему дому. У нас все радости только для мертвых. Пока живешь, в дураках колотишься.

— Я об одном жалею, — говорила Вера Августовна. — Теперь и Грушенчиха будет ходить по нашему асфальту.

На похоронах она была рассудительной и собранной, как будто дела возраста и смерти ее не касались. Кокетничала она совсем не много и почти не обращала внимания на искусно составленный туалет. За поминальным столом она сказала немного деревянным голосом, очень четко и ясно: — Хотя и умер Мирон, и земля ему пухом, как говорится, но это была хорошая ночь. Как он меня любил! Как будто знал, что это уже в последний раз. Я даже не думала, что он так скоро умрет. Он был здоровый, как бык!

— Мама, лучше помолчи, — сказал старший сын. — Здесь сидят люди из моего управления.

Так и не выяснилось: от любви ли умер Мирон или любовь — штука несмертельная.

Через три недели после похорон подошла очередь Мирона Снежко получить немецкое шерстяное белье, два года пролежал на руках ветеранский талон, белья не продавали.

— Так и не успел дедушка надеть, — сокрушалась Юля.

— Не успел показаться в новом белье Грушенчихе. Ты это хочешь сказать, — исправляла бабушка.

Грушенчиха живет и ничего не знает. Знает, что умер дед Мирон, потому что возле ее дома проложили асфальт, это она знает. Не имеет понятия, что у Веры Августовны булавок, шпилек, бритвенных лезвий, врезавшихся в оконное стекло, и ножей в раме, заговоренных на Грушенчиху, все прибавляется. И гудит за двойным стеклом: бу-бу-бу, шу-шу-шу...

— Так я и знала, — говорит она. — Куролесит и на том свете мой Мирон. Такому мужчине и смерть нипочем. Я не удивлюсь, если эта пакость отправится к нему. Даже похудела заметно, так по Мironу сохнет.

— Умер человек. Это же драма, а не комедия, — отвечает муж Юли. — Как вы так можете, Вера Августовна?! Даже Шекспир, при всей смелости гения, не кощунствовал над святыми понятиями.

— Какой-то вы сегодня хмурый, Саша. Я бы даже сказала — особенно неприятный.

— Почему это мой муж стал тебе неприятным, бабушка? — говорит Юля.

— Отстань, я не с тобой говорю, — отмахивается Вера Августовна. — Сегодня вы поцеловали меня не так, как в прошлый раз. Как будто вы меня стесняетесь. Вы же не стесняетесь поцеловать Юлю. А она — вылитая бабушка. Я ее за это больше всех люблю, хотя женский пол я вообще не выделяю. Я всю жизнь с мужчинами прожила.

Саша берет лопату и уходит копать землю. Он копает с остервенением, лопатит землю так, будто ищет коварное зерно, оброненное в неразгаданные пласты души. — Если имеются гены, так это уже будут гены, цедит он сквозь зубы.

Вера Августовна выносит стул и садится на перекрестке огородных путей. Она греется на весеннем солнце, читает роман «Вечный зов», и подол ее шерстяной юбки обнажает голубые бабушкины штанишки.

— Такая жара, — говорит она Юле и ее маме. — Не пойму я, почему вы не раздеваетесь. Я пойду переоденусь.

Она возвращается, в чем была, только без чулок и косынки.

— Саша, отдохните немного, что вы там все время копаетесь. Пусть Юля с Майей поработают. Им обоим похудеть надо, — говорит Вера Августовна, положив на колени книгу и качая ножкой. Она подтягивает юбку, подставляя солнцу ноги уже без теплых штанишек. Этим можно полюбоваться. Наша бабушка — женщина, и кожа у нее, как лепесток розы.

Лялька и Люсик

В один прекрасный день в густо заросшей части садика, в не по-хорошему ославившемся закутке, где ткала паутину и строила свои козни шпана, встретились трое и присели на тяжелую овальную скамейку, изрезанную ножами. Имена и клички наседали одно на другое, занимая видные места на весь век существования скамейки, скрытой в зеленом и плотном шатре из кустов и молодых деревьев.

Хорошее, уютное место, но люди там мало посиживали, разве что случайные, свои там сидеть не любили. Неповинное местечко дожило до своей дурной славы под смешки, дзеканье и цеканье жаргона шпаны.

Щипнув листьев барбариса и пожевав кисленького, трое закурили.

Это только так говорится: «в один прекрасный день». По привычке употреблять готовые, не раз использованные и уже затасканные формы, чтоб не вникать лишний раз и не задумываться. Легко сказать, когда один прекрасный день запоминается на всю жизнь и о нем потом детям рассказывают, увещая дожить до такого дня. Прокофий Филиппович, забудьга и чародей, насчитывал в своей жизни девять прекрасных дней и на каждый красноречиво загибал натруженный категорический палец; десятого никогда не загибал.

Одним словом, или мало бывает прекрасных дней, или все дни одинаково прекрасны, пока живешь, потому что такова жизнь: прекрасна сама по себе. Но это уже точка зрения, философия, если выражаться откровенно и безжалостно, то

есть способ заумного существования. А Липлиновка просто живет и вразумляет всех: живите проще. Хотя по-простому ни у кого не получается.

Взять хотя бы бабу Грушу, дворничиху садика. Сухопарая, жилистая, для старухи удивительно высокого роста — могла бы себе жить тихо и спокойно, малозаметной и скромно шаркающей жизнью, а у нее что ни час — вихри и бури с вознесенной над головою метлой. Дворничиха — это по-простому, это тоже так говорится, на самом деле — Хозяйка, Царица садика, как Королем Куреневки называли Люсика Дворецкого.

Зато при бабе Груше и внешность была у садика! И клумба, и цветов при дорожках сезонное разнообразие, и желтый песок рассыпался с утра до обеда, а тогда по дорожкам осторожно ходи и не всюду суйся.

Жека Казанский тоже не лыком шит: сфотографировался на роскошной клумбе. Попробуйте сейчас найти такую историческую фотокарточку! Жека Казанский сидит в серых брюках и черной бобочке, криво усмехается, свесив на глаза косую гривку интересной стрижки «бокс», отправляющей к разгульным и боевитым временам запорожцев. На голом черепе тот же самый «оселедец», только в наше время опущенный на глаза. Строгий блатной человек уселся хозяином на верхушке клумбы, раскинув ноги в сандалиях детского фасона, угрожая лапами сорок пятого размера сочным и толстым стеблям пышных цветов. По фотокарточке не поймешь, что Казанский сидит не так уж спокойно, как представляется перед объективом, что времени у него минут пять, не больше, потому что за свою клумбу баба Груша убьет его палкой от метлы, растерзает на части, не смотря, что он Жека, что он Казанский.

Короче говоря, для кого день прекрасный, а кому и не очень. У Юрки Щипача перелом правой руки и перебита переносица. У Витьки Шило вспухла щека и правый глаз не смотрит. Про Толика Кацапона вообще не будем говорить. Прочитаем в конце рассказа, все станет ясно.

Веселенькая картинка: трое утром сидят на скамейке в таком виде, и баба Груша яростно орудует на дорожке вокруг клумбы, переломившись костлявым зигзагом вечной молнии и грозы. Смешная картинка, если смотреть со стороны, исключая, конечно, бабу Грушу, которая здесь ни при чем. И вы можете посмеяться, потому что всего не знаете. Я бы, например, еще не смеялся.

Потому что Юрка Щипач ходил в форме курсанта суворовского училища, а оказался воришкой, карманником. Маленького роста, щуплый, но крепкий, ловкий, подтянутый и ладный. Юрка Щипач — заядлый, ехидный и наглый. Карманному воровству он обучался у Мишани Крысы. Был такой пожилой, седоусый, с тросточкой, в черном пальто и белом шарфе. Он воровал еще при царе Николае, скрывался в недрах Подола, где и

вел свою школу, обучал и воспитывал для отживающего преступного дела. Он оценил приятную строгую внешность плюс другие качества молодого человека, развил все это, оформил и выдал Юрке так ладно сидящую на нем форму курсанта. Такая легенда о коварствах старого пройдохи.

Витяня Шило — долговязый дылда, каланча. Не то что угловатый, колючий и острый со всех сторон. Не зря его Шилом прозвали. Когда Витька играл с ребятами в «ножики», надо было посмотреть, как он ловко орудует этим самым ножичком.

А Толик Кацапон — низкорослый, тугой, надутый мышцами как барабан, кривоногий и сильный, как медведь. Кацапон занимался боксом и служил в армии моряком, как и Люсик Дворецкий, только Люсик во время службы заработал грамоту чемпиона Тихоокеанского флота, а Кацапон чемпионом никогда не был, да и прослужил всего два года.

— Посмотрим, что он скажет вечером, — прорычал медведем Кацапон.

— Думаешь, он придет на сходку? — звонким пинчером протыкал Юрец.

— Думаю, что один не придет, — сказал Витяня Шило.

— Ладно, еще не вечер, — сказал Кацапон. — Кончай гундосить.

Втроем они имели в виду Люсика Дворецкого.

Сейчас такими именами, как Люсик, называют редко. В тридцатые-сороковые употребляли чаще. Может потому, что ощутилую тяжесть человеческой доли хотелось провести под знаком ласки, чего-то женственного и красивого. Время настало такое, что от всех страхов захотелось оградиться, зачураться словом и счастьем младенчества, очертить его линией нежности, и вырастить свой цветок, пусть даже и изысканный по сути своей и названию — не самый великий в том грех. Отсюда и мода, ясное дело. У моды тоже своя логика и свой смысл. Логикой моды мы не занимаемся, мы только смеемся и плачем над ее капризами.

Люсик Дворецкий не пострадал от моды. Не сказать, чтоб ему светила ласковая и нежная звезда, но он топал по жизни в ауре собственного имени, и какая-то звезда все же светила ему. Стать Королем Куреневки — это еще надо иметь счастье остаться живым и не калекой.

Многих людей не устраивают их собственные имена, Люсику оно подходило и шло. Может, вы помните, был такой английский фильм. Там один симпатичный культурист состязался в убийственном виде спорта. Дело происходит на ринге, и на ринге этом допускается все — и бокс, и борьба, и защемление половых органов. Он занялся этим делом не от хорошей жизни. Надо было отстоять свое достоинство и заработать на обручальное кольцо для своей невесты. Его преследовал громада Питон — человекообразное чудовище, наглая образина с бычьей

шей и головой удава. Он преследовал безобидного культуриста с бездушным огромной змеи. Питон называл того парня Сдобной Булочкой, готов был проглотить его с потрохами, и в первой драке здорово над ним поиздевался. Приятному парню ничего не оставалось сделать, как схватиться с Питоном по-настоящему. В конце концов он вышел на ринг и вырубил удава. Питон упал и отключился. Тот парень был блондин. Он все время ходил в майке, потому что у него красивое тело. Тогда еще мода была на культуризм. За эту культуру тела Питон на него и взъелся, считая такие вещи слюнтяйством. У того парня было хорошо накачанное тело, он любил на себя посмотреть, и был, конечно, немного кривляка, как большинство мужчин такого типа.

Люсик был чем-то на него похож. Тело у него, правда, не получилось такое богатое, и волосы лежали совсем не так. Но был похож. Чем-то очень похож. Зря бы мы тоже не стали вспоминать тот пустяковый, тот дурацкий фильм, бывали картины получше, и мы их тоже видели.

Люсик не был кривлякой, хотя тоже любил посмотретья в зеркало. Особенно, когда выходил «на дело». Люсик любил ходить в матросской тельняшке, никто не поспорит с законным правом потомственного моряка.

Отец Люсика до войны служил в Севастополе, плавал политруком на линкоре «Парижская Коммуна». Перед войной он получил назначение в Днепровскую флотилию. В начале войны он попал в плен, был в Дарницком лагере. Там он встретил Юрку Войнарского, соседа и сына хозяина, где Сашка Дворецкий временно арендовал квартиру. Из лагеря они бежали впятером, троих немцы пристрелили, Юрку Войнарского ранили в ногу. Вдвоем они и спаслись, пришли ночью в Липлиновку. Дворецкий — во временное жилье (у них дом строился в Пуще), к жене и Люсику; Юрка — на хозяйскую половину, за глухой забор с электрическим звонком над дверью в заборе, ограждающем сад и другую часть дома.

Липлиновка это довольно близко от Бабьего Яра. По горам ходил эсэсовский патруль, и всегда было слышно, как строчат в Бабьем Яру пулеметы. Через два дня, как начал скрываться раненый Юрка, Войнарский-отец сказал сыну, что дом большой и хороший, семья тоже большая, а он, Юрка, и отец Люсика, опасные люди для них и для немцев, если кого-то из них найдут, то расстреляют всех. Что он там еще сказал, теперь уже никто не узнает: война — дело темное. Ночью Юрка убрался на гору, несколько дней ему в условленном месте семья оставляла еду, а сам он скрывался в пещере. Большей глупости нельзя было придумать, пойти на нее можно лишь с отчаяния. Юрка то ли сам застрелился, то ли немцы его пристрелили. Во всяком случае, тело Юрки стащили с горы, Войнарский — отец выкопал яму и похоронил сына. Пистолета при нем не оказалось.

Закончилось странно и тихо. Странно, потому что каратели таких дел без последствий не оставляли, разве что не допустили такой мысли: у них под носом, перед самым Бабьим Яром... Может, приняли Юрку за смертника, чудом уцелевшего и выбравшегося из мертвецов.

Когда отец похоронил сына, отец Люсика зашел к Войнарским с пистолетом и сказал: он не знает, что там у них получилось с сыном, война — дело темное, может, он сам сдурел, чтоб не подводить семью, однако парень он был неглупый, понимал, что не в пещере надо жить, чтоб отлежаться и уйти дальше, к тому же у него и здесь товарищи есть, вряд ли бы так просто пошел на глупую и собачью смерть, хотя мало ли чего, не за себя сдрейфил, за семью, а семья — это дело большое, хотя и тоже темное, но если что-нибудь случится с ним, с Дворецким, с его семьей или кое-кем из дома (он имел в виду Раечку Заливанскую, Розенберг по мужу), тогда, если его, Дворецкого, пусть даже и не будем, Войнарского все равно найдут свои люди, и счет будет смертельным для всей семьи, независимо, кто из двора как и где пострадает. Войнарский встал на колени, Дворецкий плюнул и ушел в свой подвал — скрываться. Жил он только по ночам, просидел в земляных ямах почти три года.

Когда Киев освободили, отец Люсика пришел в комендатуру с двумя пистолетами. Ему там, конечно, не поверили. Политрук и моряк, бежал из плена и скрывался под Бабьим яром. Много ли они знали про эти месяцы оккупации?! Люсик, наверное, больше их знал, проворачивал, случалось, кое-что с отцом, когда другого выхода не было. По тем временам отец еще легко отделался, его разжаловали в рядовые и отправили в штрафной батальон. Из штрафников он вышел, получив пулевое ранение в голову и медаль «За отвагу». Потом он получил еще одну такую медаль. Он погиб в Германии, в Дрездене, за две недели до конца войны.

Люсик с матерью остались жить во временной квартире, в каморке, рядом с Раечкой Заливанской и ее мужем Борей, которые, слава богу, просидели под немцами и в Бабий Яр не пошли. Когда Люсик читал про войну, он вспоминал отца. Про кино и говорить нечего. Там он видел отца каждый раз, узнавал его в быстро пропадающей толпе. Ему особенно не хватало отца, когда он смотрел кино или читал про войну. О войне Люсик и сам кое-что знал, но отец это знал лучше.

После армии Дворецкий работал шлифовщиком на номерном заводе, а любимая песня его была «Не плачь, Мишка» (...моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда...).

Григорий Войнарский — сухощавый, хмурый и жесткий человек — за время войны заметно сдал и потом уже не выглядел лучше, хотя жил в достатке и питался хорошо. После войны он тайлся, ждал чего-то плохого, но ничего ровным счетом не случилось, и все же какой-то сильный червь точил и разъедал

его больную душу. Годы шли, жизнь наворачивалась, седеющий Войнарский жил с видом мученика на своем кресте; в хмурости закоренел, и все городил высокие глухие заборы, перестраивал так, чтоб он никого и к нему никто.

Искупая известную ему вину, он теперь все делал для единственной своей дочери Ляльки. По тогдашним понятиям Лялька жила как королева. Она делала, что хотела и одевалась, как кукла, а кукла и будет по-украински «лялька». Она носила шелковые чулки и трофейные платья. Была у Ляльки известная серая юбка, несомненная родственница той, о которой пелось в известной песне про серую юбку. Тетя Валя, по прозвищу Немка, оценивала ту юбку как германский шик. В вопросах Германии авторитет тети Вали считался непревзойденным. У нее был сын от немца. Она говорила, что такие вот юбки надевают только на выход молодые и богатые немки, у которых красивые ноги. Лялька надевала ту юбку на каждый день, а о ножках ее отдельный разговор, что мы и будем помнить до подходящего места.

Если бы Ляльке захотелось вырубить их сад и сделать общественную площадку, ее отец взял бы топор и порубил деревья своими руками, пусть бы потом и слез в постель от горя и разорения. Когда Ляльке надоело сидеть за глухим забором, она заставила отца набить невысокий штакетник, и он еще представлял его два раза, расширяя проход между горой и садом и увеличивая пространство для дворовой футбольной площадки, где Люсик Дворецкий тренировал детскую команду. Он не был футбольной знаменитостью, но играл неплохо, а главное — с большим задором. Лялька нет-нет, да и приходила посмотреть, что там выделяет Люсик с пацанами. Ляльке нужен был футбол, как рыбе зонтик. А вот стояла, положив руки на штакетник, и смотрела.

— Зачем ты так толкаешься, Люсик, — говорила она. — Это же не «матч смерти».

— «Матч смерти» будет завтра, — отвечал Люсик. — Мы будем играть с Репяховкой. Тогда посмотришь.

— Очень мне надо.

— Сейчас тоже не надо, а смотришь.

— Какой же ты все-таки пацан! Может, хватит тебе на сегодня. Ты уже и так двадцать шесть голов забил.

— Двадцать пять, не насчитывай.

— И что ты вообще возишься с детворой. Смешно же смотреть.

— А сама! — темпераментно кричал Люсик. — Сидишь за забором как кикимора. Хоть бы один раз вышла вечером погулять в садик.

— Пора бы и тебе остепениться.

— А, ничего ты не понимаешь, — отмахивался Люсик. И уже кричал кому-то: — Легонько шпанчиком пасуй, не гати с носка. Тоже мне Паша Виньковатов нашелся.

Лялька Войнарская — не злая. У нее был совсем другой недостаток. Лялька была очень гордая. Не просто так — гордая да и все, как это чаще всего бывает. Гордых у нас много. Гордых у нас вообще хватает. У нас вообще, может быть, все люди гордые. У нас внешняя политика такая. Но среди своих гордости поменьше. Этого никто не замечает. Это не лезет в глаза. Плохо, когда лезет. Немного хуже.

Тетя Валя Немка всегда говорила, что если Лялька будет такая гордая, она на всю жизнь останется старой девой. Тетя Валя в этом понимала толк. В женских делах она была страшный авторитет — для нас и для побежденной Германии.

У Ляльки Войнарской (есть смысл напомнить) хорошие ножки. В серой юбке с длинным разрезом вечером по темной улице ей проходить опасно. Лялька высокая, волосы темные, русые, жесткие, завивать не надо. И лицо у нее приятное. Только попробуйте в это лицо посмотреть, когда она заносится так, что дальше уже некуда. Она нос подставляла солнцу, и это даже ночью, когда солнца в помине нет. Врагов у нее имелось больше, чем друзей. Друзей и подруг, можно сказать, вообще не было. И все из-за дурацкой гордости. Смотреть на такое противно. Если ты хочешь, чтоб Лялька споткнулась, упала и порвала новые чулки — положи на дороге кирпич. Споткнется обязательно. Днем — не ночью. Да что там ночью. Поздно вечером она по улице уже не проходила, боялась. Хотя и не такая страшная улица. Похуже бывали. Конечно, когда живешь среди людей, которые на тебя волком смотрят, может, это и единственный выход: никого не видеть и не знать. Однако же плохой, неважнецкий выход. Люди все равно понимают так: высокомерная слишком и никто ей не пара.

Люсику Дворецкому, например, приходилось развивать свои мысли в таком направлении: гуляешь по саду в халате, разрисованном как павлиний хвост, ладно, а вечеринку устроить тебе слабо, квартира большая — хоромы из двух комнат и одной твоей, маленькой, у Войнарского золото в банках еще с до войны лежит, в стеклянных банках, имеется в виду, а с тобой и потолковать нельзя, или книгу в саду читаешь, или в гамаке лежишь и тоже читаешь, хоть камень брось, сделаешь вид, что ты не смотришь, нет, Лялька, ты не понимаешь, в какое время и с кем ты живешь, ты не думаешь своей головой.

Подумывая так, Люсик через мозговой туман как-то и не заметил таких перемен, что другим уже бросились в глаза. От трамвая Лялька стала ходить к себе не Смородинским спуском, откуда уже тянулись холмы до самого Подола, не задами, а по дорожкам между бараками и частными домами, через всю липиновскую гушу.

— Где больше людей, а то Ляля вечером боится, — говорила Лялькина мать — тихая женщина, раньше времени ставшая похожей на старушку.

Ерунда, она и днем ходила дорогой, огибающей развернутый в две стороны дом, проходя, таким образом, мимо квартиры Люсика. В окошко, стоящее низко от земли, возможно, не заглядывала, но все чаще останавливалась, когда мать Люсика по привычке, возникшей от тесноты, стирала или с чем-нибудь возилась на пороге. Лялька научилась опускать вниз лицо, стала сама заговаривать, даже услуги предлагать. Она выучилась на закройщицу, работала в ателье индпошива. Могла платье сделать. Только заказов она не брала. Ей и так хватало. Матери Люсика она из уважения бралась шить. Правда, договор такой, чтоб о деньгах ни слова. В этом и была вся беда. Не беда, конечно, а большая загвоздка. Мать Люсика разводила руками, краснела от смущения и готова была заплакать от всех непонятных чувств. Без платы она тоже не могла, за всю свою жизнь ничего не получала задаром, ей было стыдно за просто так.

— Хорошо, я спрошу у Люсика, — отвечала она.

А Люсик в женских делах мало чего понимал и не хотел понимать. Ему с ребятами было лучше. К тому же — имел свой характер, принципиальную гордость простоты и бедности, и Лялька это понимала лучше других; уходя, сознательно задирала повыше нос.

Сравнить Ляльку и Люсика — это сравнить бог знает что с черт знает чем. В липлиновских квартирах все оказывалось более-менее одинаковым, социально уравновешенным. Если у кого-то имелась радиолка, так у другого была тумбочка, где хранились две известные в Липлиновке книги: «Кобзарь» и Оноре де Бальзак «Сочинения» — обе большие и толстые, с иллюстрациями, на которых мужчинам и женщинам цветными карандашами мастерски пририсованы самые характерные детали. А в Лялькиной квартире даже и пахло по-другому. Нафталином, шерстью, — богатством. Золотые олени в пятнах. Вышивки. Салфетки, зеркала, зеркала... Серебряный самовар с подносом, совок серебряный и щетка, чтоб крошки со стола сметать. Не рукой или тряпкой, подумать только... Швейная машина и этажерка, полная книг. Там и «Суворов», и «Петр Первый», «Цусима», «Степан Разин» и «Разин Степан»... Что там говорить — большая библиотека!

У Люсика единственные штаны — флотские клеши черного сукна, с такими же суконными латками на задку. Жили они с матерью на Люсика деньги; да не в штанах счастье, отговаривался Люсик. Каждую неделю шел новый фильм в ближайшем клубе. Лялька туда не ходила, решила пойти, если Люсик будет с ней и после кино проводит домой. И то ребята в садике на другой день весь день смеялись: — Ты ей нужен, чтоб доставать билеты и провозить домой. Охранять. Как овчарка, как сторожевая собака. Она ж с тобой вечером в садик не выйдет. Ну и что ты тогда будешь делать? Подумай сам. — Люсик подумал своей головой и решил, что ребята в общем-то толкуют правильно.

На все случаи жизни имеются в природе песни. Так оно и сейчас, так оно и раньше было. Пелась под гитару бульварная песенка с довольно похабным уклоном. Про девочку Ляльку, которая «баловалась». Не сказать, чтоб мы такие уж стеснительные, просто слова вспоминать противно. Куплеты были не про Ляльку Войнарскую, об этом и толковать нечего. Наша Лялька о таких вещах понятия не имела. Имеется в виду только песня, про все остальное лишь дурак может задумываться. Ненужные слова кто-то написал большими буквами и приклеил на дверь Лялькиной квартиры. На картонке шедевра изобразили для ясности Ляльку. В трофейной юбке, но с голым задом. Над ее головой поместили парусное судно — точную копию с татуировки на правом плече Люсика. Моряк, понятное дело.

— Ты знаешь, кто это сделал? — спросила Лялька.

— Какой-то форшмак, — ответил Люсик. — Узнаю — убью.

— Поосторожнее, Люсик. Ты и так часто дерешься.

— Я все равно узнаю. Узнаю, все равно убью.

Потом Лялькина мать зашла к матери Люсика.

— Почему бы вашему Люсику не сходить с нашей Лялей в театр? — сказала она. — Ляля уже и билеты купила.

— Хорошо, я поговорю с Люсиком.

Две утомившиеся от жизни женщины, они без лишних слов понимали друг друга.

— Зачем мне ее билеты, — кипятился Люсик, стоя у зеркала одежного шкафа. Он любил посмотреть, какое у него лицо, когда он кипятился. — Я сам могу купить. Я и без билетов проконую. Я на футбол конаю, не то что там театр. Сижу на галерке и ни хрена не вижу. Да и зачем я нужен в театре? Чтоб провожать домой после театра. Как овчарка сторожевая. И в чем я туда пойду? В своих дырках на заднице. Не собираюсь я покупать штаны, чтоб ходить в них по театрам. Я лучше воздушку себе куплю.

— А если и проводишь домой, что с тобой делается. Один вечер без тебя в садике обойдутся. Не будь такой упрямый, Люсик. Лялька мне пошила платье и этот сарафан, а денег не берет и не берет, аж стыдно.

В тот же день Лялька позвала к себе Люсика. Ее мать улыбалась, отец тоже смотрел приветливо.

— Посмотри, — сказала Лялька. — Это костюм моего брата. Совсем новый. Юрка его раза два надевал. Смотри, серый в полоску, модный в любой сезон, и как раз тебе будет.

— Если приспичило пойти в театр, так я и в своем могу.

— Меня твои клеши не смущают, чтоб ты знал. Я просто так. Костюм без дела висит.

— Пусть висит. Он кушать не просит.

В театре было красиво и смешно. Люсик подробно пересказывал, ребята дико смеялись. А потом получилась та самая нехорошая хохма. Лялька возвращалась домой ночью, закройщики работали во вторую смену, на повороте к дому, возле

большой шелковицы, ее подстерегли трое. Они выскочили из темноты, прихватили Ляльку и зашарили грязными руками по гордому телу, не знавшему мужских объятий и слегка уже перезревающему в своей чистоте и невинности.

— Помогите! Насилуют! Люсик! — закричала Лялька, сходя с ума от физически невыносимого удара.

Юрец и Витяня орудовали впереди, Толясик задействовал сзади. Он хватанул низ юбки, ткань затрещала, и разрез ушел выше предела, установленного тетей Валею для молодых и богатых немок.

— Вот это картина, — проржал Толясик.

— Стой! Стрелять буду! — крикнул из окна верхней квартиры армянин Нинуа; мастер механического цеха на судоремонтном заводе, он всю жизнь ходил в офицерской форме речного флота.

Увидев в окне китель, шпана разбежалась; придерживая рукой сзади серую юбку, Лялька пришла домой и рухнула на постель. Это было в пятницу. В субботу Лялькина мать зашла к Дворецким.

— Ляльку уже в нашем дворе раздевают, — сказала она. — Почему они к ней пристают, она же им ничего не сделала.

— Ничего, сегодня сделает, — сказал Люсик.

— Как это понимать? — сказала мать Ляльки.

— Я сейчас выхожу, — сказал Люсик.

Закатав рукава тельняшки, он постоял перед зеркалом в свободной боксерской стойке. Он любил посмотреть, какое у него лицо, когда он злой. Он пригладил расческой волосы и аккуратно расчесал брови.

Юрку Щипача он снял с трамвая и бил его на остановке.

Витьку Шило он встретил на мостике возле «Спартака». Сейчас того мостика нет. Будете искать — не найдете. Он исчез вместе с инвалидом, который продавал там самодельные конфеты в деревянном ящике со стеклянной крышкой. Мостик убрали, когда строили дорогу Подольского спуска, правую границу Липлиновки. Это еще хорошо, что Витька Шило перелетел через перила и упал с мостика в ручей, где мягкий песочек под мелкой водой.

Кацапона он выловил возле «белого» барака, где тот жил. Под стеной, позеленевшей внизу от сырости, лежал большой гладкий камень-валун, над которым частенько упражнялись, поднимая его на спор, не многим это удавалось. С Кацапоном были у Люсика самые строгие счеты, оба дрались в матросских тельняшках. Пелась такая песня:

И слылась эта пара, дрожа,
Под рокочущий моря прибой,
И сверкнули два острых ножа,
Предвещая заманчивый бой...

Почти что так оно и было. Люсикову тельняшку, в крови и дырках, Лялька потом забрала себе — на память. Когда Кацапон понял, что Люсик бьет как разъяренный лев, он подлетел к валуну, поднял его над головой, но не успел опустить на голову Люсика. Аперкот Дворецкого сбил его с ног, Кацапон чуть сам не остался под своим камнем. Тогда он сиганул в барак и убежал оттуда с немецкой финкой в руке. Дальше поется так:

Бушевала, ревела гроза,
И рыдал оборванец босой,
Лишь спокойно стояла она,
Белокурой играя косой...

Они действительно дрались уже босиком, но никто спокойно не стоял. В песне вышла ошибка. Лялька следила за дракой, прикусив губу, из глаз ее текли слезы. Она смотрела не одна, были еще люди. Вмешаться никто не смел, да и не мог, пока Люсик не выбил у Кацапона финку. Чье-то неумелое вмешательство могло быть и смерти подобно. Финка, выбитая ударом ноги, отлетела в траву под забором, Лялька схватила ее и унесла к себе домой. Когда она вернулась, Кацапон уже лежал на земле и то ли хрипел, то ли рыдал от злости.

— Лежачих не бьют, — сказал Люсик. — Пойдем к колонке, умыться надо.

— Нет, пошли ко мне, — сказала Лялька. — Я тебе помогу. Мне так стыдно, Люсик. Это же все из-за меня.

— Из-за тебя, — сказал Люсик. — И пусть все знают.

В воскресенье вечером шпана большой компанией собралась в садике. Предстояли разборки с Люсиком. Он тоже пришел не один. Рядом с Люсиком шел великолепный Тюрма — Коля Тюрьменко, вратарь из «Спартака» — куреневский Лев Яшин, которому улыбалось будущее: авторитет и знаменитость. Даже женщины ходили на стадион — посмотреть, как стоит на воротах Тюрма.

Там были все ребята! Толик Гаевой, Петя Чечик и Лена Лобода со шрамом на правой щеке в виде небольшой подковки, четко отпечатанного удара какого-то серебряного копытца. Все они были мотоциклистами-гонщиками высокого класса, носились в ярах, прыгали с самодельных трамплинов как настоящие смертники, ничего на свете не боялись, наживали на телах красивые гордые шрамы и носили их как награды. Лесик Летун — бывший испытатель, обгоревший в самолете. Жорик Алитет и Генарик Попка, исполнитель особенно интересных песен: они пелись голосом популая да еще с иностранным акцентом; годика через три его песни стали редкостью, слов уже никто не помнил, хотя лет пятнадцать потом уверяли, что было очень смешно. И Боня Кавалерист — вольный стрелок, одинокий охотник, известный своей справедливостью на всех мужских толковищах.

И Шурик Блондин, открыточный красавчик, как две капли воды похожий на свою жену, блондинку с такими же пышными, как у Шурика, пшеничными волосами. Даже на такие сборища они приходили вдвоем, представляя нерасторжимый союз любви, осененной пшеничным золотом улыбчивого счастья, удивляющего всех брюнетов... Были еще ребята, они все пришли с Люсиком. Таких ребят мы уже не соберем — кончилась уличная жизнь.

Шпана не ожидала такого поворота. Трое дураков надеялись на легкую драку, когда все будут бить одного. У шпаны опустились руки перед такими авторитетами. Жека Казанский, предводитель другой стороны, взял дело в свои руки. Потолковав в Люсику и его ребятами, он сказал, что троем лопухам Люсик еще и мало дал, возможно, придется добавить еще.

— Ты был прав, Люсик, — сказал он.

— Я буду бить эту блатоту до потери пульса, — сказал Люсик.

— На этом кранты, — сказал Казанский. — Далеко заходить не будем. Щипачу надо подлечить свою руку, кое-кому на Подоле такие его фокусы могут не понравиться, его руки нужны для дела. Остальные тоже будут вести себя хорошо. В случае чего, я подумаю сам, и будем квиты. Пора уводить людей из садика.

— Мы будем квиты, если они кое-что сделают. Придется извиниться перед Алялкой.

— Приведи ее в садик.

— Нет, пусть зайдут ко мне домой.

— Лады, — сказал Жека.

— Заяц не любит трепаться. Я на всякий случай сказал.

Это сказал Жорик Алитет, тоже знаменитость в своем роде.

— Люсик, я бы мог пойти сейчас, — сказал Толик Кацапон.

Он встал со скамейки и ушел с компанией Люсика, словно прибилая к другому берегу, выставив на своем судне новый флаг. Моряк, если даже комиссовавший раньше срока по неизвестным нам причинам, все равно до конца своих дней — моряк, а остальное уже ерунда, легко исправить.

Так закончился эпизод; теперь уже можно посмеяться.

Алялка и Люсик поженились в следующем году, весной. На свадьбу Люсик надел костюм — серый в полоску, модный в любой сезон. Кольца он сам купил. Свадьбу справляли в ресторане «Динамо». А что такое «Динамо», это еще надо было знать. Пусть кто-то жил не на окраине, а в центре, пусть даже у самого ресторана, и ходил туда как к себе домой, но только в Липлиновке вам могли растолковать, что это за легендарный был в Киеве ресторан. Туда полагалось ходить в прекрасные дни, когда на твоей руке на всю жизнь погибает палец памяти. Там самые

уютные столы, самая лучшая кухня, и музыка там самая лучшая на свете. Музыканты в «Динамо» исполняли «Танго спорта-мена».

Так проходят года
 В угаре пьяном,
 Под визгливый джаз-банд
 По ресторанам,
 Где тихо плачет саксофон,
 Рыдает скрипка,
 И в папиросном дыму
 Дрожит улыбка...

У людей имелось представление, что именно такова спортивная жизнь. А когда Люсик Дворецкий посмотрел настоящий английский фильм, который назывался «Такова спортивная жизнь», ему очень понравился Ричард Харрис в главной роли.

— Умел этот регбист врезать. Такова у них спортивная жизнь, — говорил кто-то под впечатлением от фильма.

— Да что там спортивная! Что там врезать! — кипятился Люсик. — Такова вообще жизнь, всякая жизнь, понимаешь. И у них, и у нас. Ты когда смотришь кино, ты хоть что-нибудь понимаешь. Посмотри ещё раз.

— А ты второй раз пойдёшь?

— Я уже шесть раз смотрел, — отвечал Люсик.

В скором времени у него с Лялькой родилась дочь, её называли Ригой. Люсик возил её в фаэтоне по жёлтым дорожкам садика. Он и сфотографировался на дорожке. Дочери не видно, она лежит в коляске, а сияющий Люсик щурится на солнце, держит коляску двумя руками и улыбается как мальчик. Вот вам ещё одна историческая фотокарточка.

Проходило время, уже и Рита Дворецкая забыла про коляску, а за Люсиком всё ещё числилась слава Короля Куренёвки. И совсем уже другие дети, играя в свои игры, предупреждали друг дружку:

— Если ты меня будешь обижать, я расскажу дяде Люсику.

Хорошо, когда есть такой Люсик.

Хорошо, когда есть кому рассказать.

Игорь ПАНИН

/ Москва /



Мертвая вода

На дворе трава —
мается завитками.
У глухого рва
плачет змеиный камень.

У глухого рва,
если к закату дело, —
раскатать слова
смутного запредела.

Бормочи в ночи,
смысла мольбы не зная,
Бьют ключом ключи —
белая кровь земная.

Бьют они ключом,
бьют сквозь глазницы камня.
Кто я? И о чем
шепчет порой тоска мне?

В чашу соберу
капель холодных гроздьа,
встану на ветру —
да в исполинский рост я.

Заговора град
грянет из горла-горна...
До моих палат
тропы троятся в черном.

Но по шапке — мзда,
если совсем житья нет.
Мертвая вода,
раны мои затянет.

Мертвая вода, —
мне и живой не надо;
погодят года
ставить печать распада.

Выводя строку,
стоит ли душу нежить,
коли на веку
в зеркале видишь нежить?

Оторви да брось —
выжги нутро отравой.
Хищник гложет кость,
а травоядным — травы.

На дворе трава —
в трауре под росую.
Ворочусь едва,
согнутый в колесо я.

Ловчий птицу бьет —
влет.
Беглеца настиг
крик.
Навью приговор —
мор.

— Ты мертва, вода?
— Да...

Рассветно-дорожное

1

Спеша в замызганный Касимов
из муторной Рязани,
подумай, как невыносимо
вкусна лазанья.

И не смотри, что вдоль дороги
цветы искусственные нам
внушают трепет видом строгим,
развешанные по крестам.

Но предвкушая запах чая
в закуской, где мухи,
гостей торжественно встречая,
целуют руки, —
шлифуй послушную баранку,
насвистывай блатную хрень,
пока не въедешь спозаранку
в провинциально-хмурый день.

2

Но я не даром, я не даром
копил приметы до поры,
рыгая терпким перегаром,
вдыхая винные пары,
чтобы однажды не вписаться,
в такой несложный поворот,
и — кто поспорит? — виноват сам,
едренный рот!

И вот уже — какая прелесть —
на соснах, в качестве друзей,
воробы (воробы?) расселись —
на смерть поэта поглазеть.
Уже лицо желтее воска,
и леденеют трубки жил.
Когда подъедет труповозка —
я буду жив.

* * *

Без видимых причин,
разумных объяснений,
себе — не господин,
слуга своей же тени.

Извечное «авось»
сбивает с панталыку,
да так уж повелось:
ни ропота, ни рыка.

↓

Страшит кого-то зло, —
картинки, барельефы?
Мне на червях везло,
но при раздаче — трефы.

Условно обречен,
расспрашиваю черта:
и вроде ни о чем,
а все равно о чем-то.

Тоску замуровав
в исписанной тетради,
к чему качать права,
каких иллюзий ради?

Без видимых причин,
без лишнего вопроса...
Намедни — кокаин,
сегодня — кровь из носа.

* * *

Скорый поезд недостаточно скор,
приедается услуг ассорти.
Взглядом выплеснув усталый укор,
проводница запирает сортир.

Пиво теплое, а раков — нема.
Капли пота — по вискам, по вискам.
Мой попутчик, выходя из ума,
предлагает самопальный вискарь.

Остановка, хоть в окно поглядим:
две избушки, огороды и грязь.
Ах ты, Родина, ах, диво из див, —
проблеваться бы в тебя, умилась.

Едем дальше, вон березки пошли,
за стакан держусь, уньный сатир.
Я не буду ни грустить, ни пошлить,
просто жду, когда откроют сортир.



ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ

/ Париж /



Blue in green

(Отрывок из новой повести)

31 мая 2005

Она стоит на углу в черном блестящем плаще и новеньких белых кедах. Кеды на толстой подошве, а сама она огромная, как колода, выше меня на голову, с широким лицом, по которому ползает, дергаясь, большой мокрый рот. Я называю ее для себя, бог знает почему, Луизой. На ней идиотский, вишневого цвета, бархатный берет, в распахе плаща — большая бесформенная грудь, выпирающий живот и обтянутые мятой мини-юбкой толстые ноги с красными колготками.

Я иду мимо в бассейн: пластиковый пакет с полотенцем, шорты, легкая майка, сандалии — жара в городе невыносимая. Луиза останавливает меня повелевающим жестом. Я торможу и она, глядя умоляющими, запекшимися всмятку глазами, спрашивает:

— Вы не видели американскую машину? Знаете, такую длинную черную американскую машину?..

— Нет, — отвечаю я, пораженный её безумием, и на всякий случай оглядываюсь. — Нет!

— Они увезли его, я в этом уверена, — шепчет Луиза, — увезли в их огромной американской машине... Лицо её, обрамленное наполовину крашеными, наполовину седыми волосами, и жирная складчатая шея — дрожат.

— Я сожалею, — мямлю я, отмечая, что она не слушает, — но я не видел...

— У них есть такие длиннющие машины! Туда можно запихнуть человек двадцать, — говорит она, глядя через мое плечо. Я догадываюсь, что она заприметила еще кого-то.

— У шофера был шрам на щеке, — голос ее набирает силу.

Высокий бритоголовый человек приближается к нам, насвистывая что-то знакомое.

— Вы не видели американскую машину, — отодвигая меня плечом гаркает Луиза. — Черную? Очень большую? Ее лакированный плащ скрипит, когда она двигается. От нее идёт жар, как от автобуса.

Человек перестает свистеть. Загорелый его череп пускает зайчики. Я пользуюсь моментом и ускользаю.

Бассейн совсем рядом. Я плачу за вход и спускаюсь в раздевалку. Это общая раздевалка: ряды железных шкафов, кабинки для переодевания. Худенькая девчушка, уронив голову на плечо, расчесывает мокрые волосы перед зеркалом; молодая мать мнет и трет шевелящийся комок, завернутый в большое полотенце. Огромный сенегалец моет пол из шанга.

Я запираю вещи в шкафчик и толкаю дверь в душевые.

7 июня 2005

Я не плавал уже много лет. Наверное, десять или пятнадцать. Я вырос вдалеке от моря; бассейнов в нашем городе было мало. Летом в деревне мы ходили с братом на речку. Речка была холодная, быстрая, злая. От старших я слышал, что в ней полно ям, водоворотов и плавучей осоки, которая режет кожу, как бритва. Какой-то военный утонул в речке во время грозы. Одни говорили, что в него попала молния, другие — что он был пьян.

Брат плавал сносно, саженками и часто оставлял меня одного на рыжей песчаной отмели и уплывал на другой берег. На другом берегу паслись буренки, гудело шоссе, за которым было поле подсолнухов, а дальше начинался старинный парк, куда никого не пускали.

Обо всем этом брат рассказывал мне по возвращению. Однажды я поплыл вместе с ним на другой берег, но на самой середине реки меня дернуло и потащило вбок и вниз, я наглотался воды и еле выплыл. И уже в последнем классе школы я начал ходить в бассейн вместе с двоюродной тёткой. Она плавала легко и весело и научила меня брассу и другим важным вещам. Тот бассейн в центре города на гранитной набережной был построен как греческий храм: колонны со всех сторон, пилястры, портик, украшенный морскими звездами и раковинами. Внутри тоже были колонны, но невысокие, а плитка кафельных стен была выложена так, что получались волны...

Я часто вспоминаю этот город, отдаленный от моей нынешней жизни не столько географией, сколько историей.

В душевой трое пацанов швырялись губками и какой-то старик, уже весь намыленный и мраморный от подсыхающей

пены, продолжал гонять обмылок по согбенной вые. Я смыл жаркий полдень под жиденьким дождичком душа и, прихватив пакет, толкнул дверь в бассейн.

Внутри всё было залито солнцем. Левая стена и фронтальная — застеклены, и город с его башнями, куполами и шпилями белел и карабкался в небо над густой зеленью ухоженного муниципального сада. В изножье длинного голубого бассейна был устроен маленький мелкий садок для карапузов, но не только в садке кипела вода и мелькало розовое, но и весь бассейн представлял из себя одну сплошную,двигающуюся по всем направлениям, живую массу. Лишь в огороженном левом коридоре видна была вакантная вода, но там, уцепившись за шест тренера, барахталась чернокожая русалка, опоясанная рыжим спасательным поясом.

Спортивные сумки, рюкзаки, пакеты вроде моего и просто полотенца были разложены на скамейках вдоль стен. Тренеры в белых майках, синих бермудах и сандалиях из прозрачного пластика с трех сторон наблюдали за купающимися. До меня не сразу дошло, что не только вода кипела и бурлила от ударов рук и ног, но и воздух, банный воздух этот был разорван криками, воплями, визгом, стонами, писком и плачем.

Я пристроил пакет на полу возле шведской стенки, потом сообразил, что рядом сорбился точно такой же, с рекламным парусником и спасательным кругом, и переложил его к трем рюкзакам.

По боковой лесенке я спустился в теплую пляшущую воду, кто-то пролетел у меня над головой и, взорвавшись зелеными брызгами, исчез, воткнувшись в воду на крошечном пространстве между седобородым дядькой с визжащим карапузом на плечах и обнимающейся парочкой; кто-то вынырнул из-под меня, выгаращил колпачки очков, шумно выдохнул и снова исчез; кто-то задел пяткой, а еще один — плечом, но этот хоть извинился и принялся ввинчивать в уши рыжие мягкие затычки.

Так я начал ходить в бассейн. В тот первый раз я плавал, наверное, не больше минут пятнадцати. Занятие это было сложное, всё равно что бегать стометровку в праздничной толпе.

На обратном пути я опять увидел Луизу. Теперь на ней были большие черные очки. Я незаметно, воспользовавшись проезжавшим фургоном, перешел на другую сторону улицы и стал на ходу рассматривать витрины: книжная лавка, сапожная мастерская, ресторанчик с южным акцентом... Отражение Луизы мелькнуло в окне магазина природы. Хозяин оборудовал свою пещеру мощными динамиками. Когда я проходил мимо, меня обдало звуками джунглей — квадрофонией птичьих раздоров, цоканьем, треньканьем, чмоканьем древесных лягушек; затем стало тихо, зазвенели цикады и громко отрыгнул лев.

— Вы не видели большую американскую машину? — услышал я невдалеке. Отражение Луизы нагнулось к отражению при-

тормозившего остин-мини. — Она часто здесь проезжает. Черная. Лимузин, но ужасно длинный... Они увезли моего мужа. За полчаса до ужина. Я уже накрывала на стол... Когда это было? Какая вам разница, когда это было? Они его увезли...

Я пошел домой. Чесались глаза и во рту был привкус хлорки. После бассейна ужасно хотелось есть.

13 июня 2005

Старый пятиэтажный дом, в котором я снимал крошечную квартиру, был рядом с рынком, в пяти минутах ходьбы от бассейна. Все окна были зашторены или закрыты ставнями. Все, кроме моего, заросшего японским жасмином, и окна госпожи ЛаРок. Как всегда она торчала в окне: голубые волосы уложены в букли, во рту сигарета, рядом — громадный грязно-белый кот. Уж она наверняка знала, проезжал ли по нашей средневековой улочке когда-либо черный американский стретч! Она знала, кто к кому ходит в гости, кто во сколько возвращается, у кого сдуло ветром полотенце с верхней террасы. Она знала дам, работавших в конторе соседнего дома, официантов из углового ресторана, и даже владельца крошечного особняка напротив, особняка похожего на готическую башню или терем, крепко зажатого с двух сторон скучнейшими домищами. Никто никогда не видел молодого владельца смуглой дубовой двери и окон-фонарей с цветными ромбовидными стеклами, а госпожа ЛаРок звала его просто по имени — Александр.

— Вчера Александр вернулся с двумя актрисами, — говорила она. — С этой, которая купалась нагишом в последнем фильме Рататуя... Вторая тоже играла у него, помните, визжала, когда самолет начал падать?

Короче, консьержки в доме не было и госпожа ЛаРок, которой совершенно нечего в этой жизни было делать, разве что следить за лунным календарем да поливать герань, взяла на себя эту роль.

Когда я поселился здесь, в доме жили одни лишь старухи. Как в рассказе Ювачева. Кроме старика на пятом этаже. Старик был бывшим олимпийским чемпионом по метанию предметов: дисков, копей, молотов, пушечных ядер. Краснощекий и голубоглазый, все еще крепкий старик, вечно с изогнутой трубкой в зубах, с тощей газетенкой каких-то крайне лево-правых, к которым он питал симпатию... После его вознесения в лифте благоухало чудесным, с сушенными фруктами, табаком.

Старушки же были тихи и незаметны. За исключением моей соседки сверху. Не то чтобы она была буйной ведьмой и всю ночь варила брагу, нет! Просто-напросто она была абсолютно глуха, а поэтому включала радио на полную катушку. Дом наш восемнадцатого века, был переделан под современные нужды кое-как и слышимость в нем — чудовищная. То есть, если у моей соседки,

на этот раз по этажу, звенел будильник, нужно было вставать. Я слышал, как она пускала воду на кухне, стучала кофейником о плитку, как открывала холодильник и доставала молоко, как скрипела дверь в ванную, чихала... Я даже иногда слышал, как она чистила зубы и причёсывалась!

Соседка сверху, уж не помню, как ее величали, страдала от бессонницы и ходила по моему потолку, топя ортопедическими копытцами, аккуратно с трех до пяти утра. Бесплезно было стучать по батарее — она не слышала. Дверь на звонок она не открывала по той же причине. В первый раз, когда она врубила свой транзистор и мягкий баритон прямо мне в ухо сообщил, что автомобили без воздушной подушки покупают лишь идиоты, и что воду из-под крана лучше всего пропускать через химический фильтр, я подпрыгнул до потолка. Я помню, как взлетел по лестнице, досчитал до десяти, стрелой вернулся домой, поменял пижамные штаны на джинсы и, взмыв на четвертый этаж, уверенно нажал на звонок...

Звонок был древний, не чета нынешним, почти железнодорожный, таким звонком можно было останавливать скорые...

Но она не открыла, а диктор, на этот раз дикторша, орала о том, как в полчаса избавиться от запора, как победить перхоть и освободиться от дурного запаха во рту.

Мне пришлось написать записку и подсунуть ее под дверь. Но ничего не изменилось. Записка торчала под дверь, радио вопило, шли дни — соседка сверху, оказывается, не выходила на улицу! Я отчаялся. Положение мое было швах: я работал дома, мало того — с микрофоном и наушниками! Но не переезжать же опять? Со старой моей квартиры меня согнали пожарники. Не потому что я был злостным пироманом и разводил костры на ковре, а потому, что их казарма была в соседнем доме...

И вдруг я обнаружил в почтовом ящике, написанное элегантно, если бы не величина букв, почерком, письмо от соседки сверху. Она всячески извинялась за причиненные неудобства и обещала впредь вести себя тихо, как мышка.

Нельзя сказать, чтобы я взвыл от счастья, получив эпистола. Оставалась еще сама улица, шумная — скорее ночью, когда по ней пёр народ из увеселительных заведений, и опасно древняя, как и весь район, а значит — бесконечно вскрываемая то электриками, то телевизионщиками, то прочими ассенизаторами. Асфальтовая кожа нашей улочки вечно была в садинах, швах и ранах от очередных ремонтных работ.

Когда-то много лет назад, просыпаясь, я слышал пенье птиц из недалекого сада, или — рокот моря, в худшем случае звон далекого трамвая... Нынче же меня будили отбойные молотки, дрели, электропилы или же дебильные мерзавцы, развозившие по городу в машинах с открытыми окнами пульсирующую резиновую музыку.

18 июня 2005

На следующий день был понедельник и бассейн был закрыт. Во вторник я съездил в большой спортивный магазин и купил синюю резиновую шапочку и очки для плавания. Продавщица сказала, что единственные плавки, которые не портятся от хлорированной воды выпускает <Нимфа>, но мой размер будет лишь в конце месяца. Бассейн был тих и полупуст. Несколько серьезных пловцов гоняли кролем от бортика до бортика. Особенно хорош был один в черной шапочке. Он загребал воду ладонями и протискивался вперед с необыкновенной легкостью. Через каждые два гребка голова его с широко открытым ртом боком выскакивала из-под воды, фыркала и снова исчезала. Двое тренеров сидели за столиком, залитые со спины солнцем; третий, вытянув руки и согнув колени, учил худого мальчугана, забко дрожащего на белом кубе, нырять. Мальчуган, наконец, свалился в воду, очки переехали ему на лоб и раздосадованный тренер повернулся к нему спиной. Я доплыл неуверенным брассом до конца бассейна, нашел ногой выступ подводного карниза и отдышался. Вода в бассейне с одной стороны была пробита солнечными лучами и бурлила, с другой — была зеленой и плоской. Подплыл грузный, с выпученными красными глазищами, дядька, дотронулся до стены веснушчатой лапой, оттолкнулся и медленно поплыл обратно. Я тоже оставил мирный берег и бросился в волны. Я плыл, разглядывая дно бассейна: длинные швы, какие-то люки, указатели дорожек, решетки, темный клубок водорослей, затонувший зажим для носа, пластмассовый браслет, и даже голый пузатый растопыренный пупсик: Четыре круглых глазицы-иллюминатора мрачно подглядывали за бьющимися в воде телами; в пятом светился свет. Чем мельче становился бассейн, тем лучше было видно дно. С отвращением я понял, что водоросли, шевелившиеся кое-где на дне, были спутанными волосами. Не доплыв до конца дорожки, я принял вертикальное положение и отправился дальше пѣхом. На спине я плавал еще хуже: голова норовила уйти под воду, в нос наливалась вода, а главное, я не знал по прямой ли я плыву. Я уже видел, как сталкиваются черепахи, плавающие на спине. Некоторые настолько ко всему в этом заведении привыкли, что и после коллизии продолжали забрасывать руки за голову. Настоящие ледоходы! Другие после столкновения откровенно тонули, пускали пузыри, махали руками, словно внезапно разбуженные. Но постепенно я всё же наловчился: я выбирал себе свободную дорожку, голову держал над водой, а ноги старался не сгибать в коленках. Вообще вторник никак не был похож на воскресенье. В воскресенье народ в бассейне купался, а теперь — плавал. В воскресенье был сплошной Йордан, купель, радостные вопли, нынче — упорный труд и дисциплина. На обратном пути я опять встретил Луизу. Она сидела на скамейке под катальпой и ела апельсин. Сначала я не понял,

что в этом было необыкновенного. Потом дошло — она ела его вместе с кожурой. Видимо она задавала прохожим свой вопрос один единственный раз. Что-то вроде лотереи. Сказав <да, я видел длинную черную американскую машину> — ты выигрывал ее сумасшествие. Сказав <нет> ты просто выходил из игры. Я поздоровался и она, кивнув, отвернулась.

* * *

Первой в нашем доме умерла старуха, у которой окна выходили в сад. Умерла и точка. Как это нынче бывает: бесшумно, незаметно и чисто. Какая-то специальная служба занимается этим. Хоронят ли этих бедных старушек, сжигают ли, пускают на удобрение, я не знаю. Помню, спустившись в лифте, я столкнулся в холле с аккуратными мужчинами в темных костюмах. Они держали открытыми какие-то папки с бумагами и что-то сверяли. Дверь в квартиру покойной была приоткрыта, и оттуда тянуло дезинфекцией. Двое угрюмых дядек в серых комбинезонах выносили на улицу пластиковые мешки с хламом и убогую мебель. Через день в квартире начался ремонт. Для меня это было катастрофой, Каждый раз, когда умирала очередная старушка, квартиру ремонтировали. Стучали молотки, трескали перегородки, визжали свёрла. Микрофон мой, отрегулированный на шепот, на дистанцию в тринадцать сантиметров, всё же брал и хруст выдираемых скоб, и треск сдираемых обоев, и уж конечно вой дрелей. Я чистил потом звук на компьютере, прежде чем зашифровать и послать файл через Паутину на радио, но толку было мало и главный продюсер был недоволен. — Ты, конечно, не Пруст, — говорил он мне, — но почему бы и тебе не обшить стены пробкой. — Или — пробками... — предлагал я и даже стал собирать пробки от винных бутылок. Иногда я перетаскивал магнитофон на кухню, но во дворе у португальцев вопил ребенок или у китайцев играла музыка: Я даже записал с дюжину передач в ванной, но это было в те времена, когда я работал в новостях и пенье труб и журчанье вод с натяжкой сходили за звуки города. К тому же сидеть на троне с наушниками на голове, с микрофоном в руке, стараться не шуршать текстом и при этом непринужденно и без ошибок читать о борьбе с загрязнением воздуха — трюк цирковой. Иногда посередине сообщения о бующих забастовках или спуске на воду нового авианосца вдруг врвался звук наполняемой ванной, что было кстати, или, совсем ни к чему, — вой стиральной машины. Самое страшное для меня начиналось, однако, не во время кошмара ремонта, потому что ремонт обречен был подойти однажды к концу, а при селекции новых жильцов. Интересовало меня одно: будут ли они шумными или нет? Есть ли у них стерео проигрыватель и телевизор? Что они любят слушать? В какое время дня или ночи? Орет ли их годовалый карапуз? Собираются ли они купить собаку? И, не ме-

нее важно, как их физическая любовь — утренняя, ночная, weekendная — будет отражаться на моей фонограмме: На старой квартире микрофон брал и восторженный скрип пружин соседского матраса, и плохо синхронизированный дуэт тюленеобразных любовников, все эти вербальные отметины (да, еще, а, о, у) их трудного пробивания к крещендо: Боже, как они вопили, съезжая вниз на своих мокрых лапах с крутой вершины счастья! Дабы дать им понять, во что они превращают мои ночи, я записал небольшой фрагментик, минут на сорок, их нерегламентированных схваток и, как-то ночью, дождавшись от них подачки в виде плохо организованной тишины, врубил через двестиваттовые динамики на всю катушку. Какие там львы и джунгли! Это было настоящее побоище, столкновение армий, топот копыт, свист стрел, хруст ломаемых костей, чмоканье и бульканье покидающей тела крови! Но соседей моих звуковой этот спектакль не пристыдил. Хуже того, они меня зауважали! Они сказали, что ничто и никогда так их не заводило, как эхо собственного спаривания. Они предлагали мне чемоданы денег за пленку. В итоге я согласился отдать им кассету за право на один стопроцентно тихий двадцати четырех часовой день в неделю. С тех пор я не знал, занимаются ли они действительно любовью или крутят мою пленку. С фантазией у них было туго.

5 июля 2005

На место скончавшейся старушки номер Один въехала молодая парочка. Увидев их я похолодел: раста! Но регги звучало редко, Боб Марлей, видимо, был на каникулах и лишь сладко тянуло из окна травкой.

Затем вдруг милейшая подслеповатая бабуса с моего этажа, та самая, чей будильник экономил батарейки моего, та самая, которой я при случае покупал на рынке ранет и груши и которая терпеть не могла госпожу ЛаРок за самозванное консержство, и она, седая опрятная бездетная вдова полицейского вызвала однажды под утро скорую, но не дождалась, и опять появились аккуратные при галстуках и портфелях господ, довольный, почти счастливый, хозяин квартирки, и потащили вниз по лестнице комод, складные стулья, из звонкого стекляруса люстру, крестнакрест окованный сундучок, в котором что-то жалобно звякало, а через два дня начался ремонт — стремительный, небрежный, малого бюджета ремонт, и в конце месяца въехала в квартирку и моей соседкой стала — Мария.

Наступил конец света.

* * *

Мария работала подавальщицей в одной из многочисленных едален нашего квартала. Была она юна, черноволоса и нагла. До всего этого мне совершенно не было дела, но она имела отвра-ти-

тельную привычку едва вернувшись домой нажимать на клавишу своего проигрывателя. Слушать, даже и не вполголоса, а умеренно громко, то, что она считала музыкой, она не умела. Как я понял позже ее маленькие, вывернутые не в ту сторону, уши вообще не участвовали в процессе. Звуковые волны, исходившие из двух дешевых, но мощных динамиков, действовали прямо, без посредников, на ее нервные окончания. Главным элементом ее музыки была математически точная повторяемость ритма. Счет был на два. Среди любимых вокалистов — все те белые обоего пола, что пытались петь черным голосом. Я не в состоянии комментировать этот жанр.

Но хуже всего было то, что сама Мария — пела! Слуха у нее не было никакого, ушами она пользовалась исключительно для ношения серёжек. Короче, мукам моим не было предела. Я было начал с ней тяжбу, одновременно приглядываясь к объявлениям о сдаче чердаков и мастерских в ближайших районах, но мне повезло. В один удивительно прекрасный день, обрамленный трепещущей листвой лип, шевелящимися на асфальте синими тенями, огромным небом с быстро меняющимися форму белоснежными облаками, выйдя из дому и завернув за угол, я увидел полицейскую машину и мою молодую соседку в наручниках на заднем сидении. Под глазом у нее пульсировал приличный фингал.

Как сообщило наше домовое радио, госпожа ЛаРок, Мария пырнула кухонным ножом бывшего любовника, неосторожно зашедшего отобедать в ее заведение с подержанной местной копией одной американской актрисы.

Больше я о Марии ничего не слышал, а место ее занял великовозрастный студент медицинского, огромный как слон и тихий как мышка, ставший позднее ассистентом знаменитого уролога.

* * *

К концу ноября я плавал уже вполне сносно. Дыхания мне хватало на то, чтобы проплыть три, четыре дистанции без остановки. Я так же понял, в какое время нужно приходить, чтобы плавать, а не купаться: либо минут за сорок до закрытия бассейна, либо во время обеда, когда редкие фанатики хлорированной воды не сидят за столами с салфетками на коленях. Причем нужно было учитывать отныне праздники, государственные и религиозные, а главное — детские каникулы.

Всем этим тонкостям обучил меня Джамаль, ответственный за раздевалку седоволосый человек со шваброй. По его же совету я купил полугодовой абонемент — так оно выходило дешевле.

Спина моя болела меньше, мышцы окрепли, зато кожа пересохла и разве что не облезала. В лавке, где жили голоса птиц и прятался под прилавком лев, я купил пахучее масло и теперь, после бассейна вернувшись домой, натирался, что твоя царица Савская...

Привык я и к Луизе, которая отлавливала возле бассейна новичков, тех, кто еще не знал ничего про черную американскую машину; не знал, потому что Луиза, конечно же, сообщала проходим новость, а не задавала вопрос. Эта новость была из тех, что навсегда остаются новостями. Для нее новость эта была навсегда актуальной.

Я продолжал с ней здороваться, она — буркать в ответ; я лучшее ее рассмотрел. У нее явно была щитовидка, она не таращила глаза, они и так были навывкате, а зоб ее не был виден из-за того, что сама шея была надута и собиралась лопнуть. Она не разговаривала с теми, кого уже знала, ей нужны были новые уши, но несколько раз я видел, как она набрасывалась на тех, кто, видимо, позволял себе вольность намекнуть на ее безумие или — способ одеваться, что конечно же, было разновидностью ее безумия.

Часто она была под плащом или под пальто — в пижаме, а то и в халате; часто — с бутербродом в руке, вообще с едой — с пирожным, пачкавшим кремом ее и без того жирный рот, с зеленым яблоком, на котором зияла красная рана от укуса ее на помаженного рта, с картонной коробочкой навывнос из китайской лавки. Лишь однажды я наткнулся на нее на другой улице, совсем возле рынка. Она была вполне опрятно и по сезону одета, ее лицо не было размалевано, как картины Сутина. Видимо площадь перед бассейном и прилегающая к площади улочка — были ее сценой. Лишь там она разыгрывала драму похищения, последний акт разлуки, лишь там она размазывала по стенам и асфальту свою боль. Я был не прочь с ней познакомиться поближе, узнать о ней побольше, быть может, записать ее, в бред запеленатую, историю.

Я часто выхожу из дому с магнитофоном, с небольшим дискменом. Он пишет чисто, никакой пленки не нужно, а главное нет муки с садящимися каждые полчаса батарейками. Я собираю собственную фонотеку. Я знаю, что я не оригинален: дождь, морские волны или рык льва нынче можно купить в любом пятиэтажном универсальном. Но мой дождь мне дороже: он шумит (в наушниках) по кровле деревенского дома, по крепким листьям отцветшей сирени, по лезвиям ирисов и упругой траве особым живительным шумом. Иногда, в бессонницу, когда я лежу без света в постели, слушая в наушниках рокот океана, записанный в крошечной нормандской бухте, я чувствую, как влажнеет наволочка подушки. Иногда я подхватывал насморк, слишком долго вслушиваясь в наматы зимних морских волн. Самая дорогая, я имею в виду деньги, вещь в моем доме, это наушники — огромные плюшевые полушария, стоящие столько же, сколько небольшой автомобиль местного производства.

* * *

В какой-то момент старушки начали катапультироваться одна за другой. Поэтому-то я и вспомнил Ювачева. Перед самым

исчезновением они как бы замирали, новостей от них не было, не попадались они ни в лифте, ни у почтовых ящиков, ни в мрачном закутке возле помоечного бака, ни в крошечном скверике, обсаженном форзицией и тамариском, возле дома. Неотложки увозили их бесшумно, большей частью навсегда, а так как жили все они одиноко, без нашествий внуков и племянниц, то за их исчезновением не тянулись никакие шлейфы рыданий, расправиваний и подтасованных воспоминаний.

Настала череда нескончаемых ремонтов. Глядя на окна дома, на свежепокрашенные рамы и новенькие занавески, можно было вычислить число новоселов и — с понятной легкостью — старожилов. В какой-то момент из ветеранок в живых осталась лишь госпожа ЛаРок и соседка сверху. Дискобол уже лежал в больнице, откуда страховка время от времени отсандаливала его домой — было дешевле посылать ему раз в два дня кривоугольную малайку с сумкой продуктов, шприцем и свежестиранной пижамой, чем держать в ихней номер Шесть.

Как-то поздно вечером, до полночи оставалось несколько вздохов, на лестнице раздался странный шум: глухие удары, скрежет и короткий стон. Приготовившись к тому, что придется быть может вязаться в драку, я распахнул дверь и увидел соседку сверху, лежащую вниз головой на ковровой дорожке лестницы. По стене, там где проехала ее рука, тянулся длинный кровавый след. Я оттащил ее к лифту и пристроил к стене в позе, приблизительно соответствовавшей сидячей. После чего бросился к телефону и вызвал пожарных.

Злотошлемые, скрипящие черной кожей, молодцы появились раньше, чем я успел повесить трубку, и уволокли старушку на носилках, оставив на лестничной площадке и в лифт пробравшееся — длинное пурпурное многоточие.

Она вернулась из больницы на костылях — бедное искорженное создание, боровшееся часами за двести метров, отделивших стоянку такси от нашей улицы. Однажды она постучала мне в дверь (звонку я само собой давно отвинтил голову).

— Это вы спасли мне жизнь? — спросила она важно.

— Я всего лишь на всего нашел вас на лестнице и вызвал пожарников, — сказал я, стараясь не дышать.

— Не скромничайте, молодой человек, — она посмотрела мне в глаза. — Если вам что-нибудь когда-нибудь будет нужно, дайте мне знать...

И костыль ее двинулся к лифту.

На какое-то время я предался щекотливой идее о том, что она миллионерша, живущая скромно и одиноко, серьезно раздумывающая кому бы оставить все эти тонны швейцарских франков, так как сын ее бросил сорок лет назад, а сестру она ненавидела с детства, но где-то через полгода мне опять постучали в дверь и на этот раз я стал понятным: людям в костюмах не хватило штатного свидетеля.

Так я увидел ее комнатку, ту самую, что была у меня над головой. Последний раз я зрел нечто подобное много-много лет назад, далеко на юго-востоке от моей нынешней жизни. Комнатка покойной больше всего напоминала сарай старьевщика, на окраине ветхого, забытого всеми богами, кроме партийных, городка. Помнится там, в том продутом жаркими ветрами городе, в том сарае, сквозь ребра которого просвечивало небо, были свалены вперемешку ржавые будильники, галоши, ведра, битые граммофонные пластинки, амбарные замки, тазы, утюги, мотки проволоки, сапоги, керосинки, какое-то тряпье, а на стенах висели разнокалиберные колеса, пустые рамы, старые календари и мёртвые ходики с одноглазыми котами на искореженных циферблатах.

У старухи же был относительный порядок, но и на полу, и на этажерке, и на стеллажах, и даже в изножье кровати были сложены пакеты и пакетики, бумажные, картонные, выцветшие, пластиковые, вперемешку с пожелтевшими журналами, газетами, клубками веревочек, проволоки, оберточной бумагой... Изпод кровати вылезали сковородки и кастрюли, допотопные чеботы, угол парусинового чемодана. К проводу голой лампы, свисавшей ужасно низко, был прикручен пыльный бумажный георгин, а над бугристой кроватью на стене рядом с картонным образом святой девы красовалась фотография Марио дель Монако и был прикоплен клочок бумаги с крупно выведенным номером телефона без одной цифры.

Всё это я увидел в первые несколько секунд, потому что мне пришлось тут же выскочить на лестницу — в комнатке стоял ни с чем не сравнимый запах.

— Старушка, — поведал мне тип из мэрии, — скончалась, по крайней мере, две недели назад. Выяснилось это совсем случайно: представитель электрокомпании снимал показания со счетчиков в доме. На звонок в дверь, покойная само собой не ответила, служащий собирался уже уходить, но дверь скрипнула на сквозняке — она не была заперта. Он постучал, потянул дверь на себя, приоткрыл и тут же бросился по ступенькам вниз. На улице, отдышавшись, он позвонил начальству.

«Так проходит та самая gloria мунди», подумал я, вспомнив Гюго, Бодлера и прочих старуховедов... Когда-то она ходила на танцы, сидела на круглом табурете в кафе с сигареткой в длинном мундштуке на отлете, отражалась в зеркалах, покупала контрабандные чулки, распускала на ночь роскошные косы, сводила с ума какого-нибудь конторщика или даже офицера. И вот теперь от нее остался этот дурной воздух, эта вонь, которую пытаются заглушить химией люди в серых комбинезонах с респираторными масками на лицах...

Какое-то время квартира наверху пустовала, потом объявился хозяин — до черноты загорелый бодрый старик в белом костюме, а с ним мрачная лолитка, и начался очередной ремонт, и я спасался тем, что записывал свои девятиминутки в квартире, укатившего в отпуск приятеля.

* * *

Доктор Веккер, средних лет брюнетка невыносимой южной красоты, дерматолог и венеролог, сказала мне, что грязная вода бассейнов — это чистая грязь. — Мёртвая, — пояснила она, ползая по моему телу лупой с подсветкой. Я стоял перед ней совершенно голый и абсолютно растерянный. — Всяческую мерзость, — продолжала доктор Веккер, — народ ловит не в самой воде, а в раздевалках. Грибков на человеческом теле всегда тьма. Но они вас атакуют лишь тогда, когда ваша иммунная слабеет. Нужно вытираться досуха, тогда ничего к вам и не прилипнет. Она выпрямилась. — Можете одеваться, — сказала она улыбаясь. Я был рад натянуть джинсы. Это частично скрыло неожиданно возникшую помеху в нашем общении. — Ничего серьезного у вас нет, — сказала она, но на всякий случай я выпишу вам мазь...

Я быстро привык в бассейне рассматривать ноги посетителей. Вообще в бассейне привыкаешь разглядывать тела. Все эти выпуклости и впадины. Большинство людей, мягко говоря, не очень красивы: слишком толсты, слишком худы, животасты, жопасты, с квадратными какими-нибудь коленками или же торчащими, как зачаточные крылья, лопатками.

© Д.Савицкий, 2010



Рафаэль ШИК

/ Дюссельдорф /

Рафаэль Иеремиевич Шик родился в 1922 году в Баку. После окончания школы, еще до войны был призван в армию, учился на курсах радиотелеграфистов при разведотделе Прибалтийского особого военного округа в Риге. Не раз с группой подрывников принимал участие в качестве радиста в уничтожении вражеской техники и коммуникаций в тылу немецких захватчиков. В ноябре 1941 года по особому заданию командования был послан под именем Мустафы Семедовича Али-заде на один из участков ленинградского фронта и два месяца держал связь с партизанами и командованием, передавая нужные сведения.

Потом он воевал в 43 г. в латышской стрелковой дивизии, был ранен, а закончил войну в дальней авиации. На фронте начал писать стихи, сочинять песни.

Уже в мирные годы окончил педагогический институт и музыкальное училище. Был редактором городской газеты. Много лет сотрудничал с журналом «Эстрада и цирк». Работал в театре, на радио, на телевидении, в киностудии. Писал сценарии, выпустил несколько книг, участвовал в создании азербайджанского циркового коллектива. А в Дюссельдорфе снова настигли стихи — как новая молодость: рискованные, раскованные, порой озорные — и всегда мудрые... Сейчас в издательстве «Алетейя» (СПб.) готовится к печати его итоговая книга «И вскоре я умер, или Прощальная гастроль», из которой взяты эти стихи.

Значенье слов, звучанье фраз,
 Журчанье вод, дыханье трав —
 Всё переходит за черту,
 Воображаемую, ту,
 Что отделяет *быть* от *был*...
 Я всё давно уже забыл,
 И сам забыт, как твердый знак,
 Но не могу уйти никак
 И повторяю лишь слова:
 «Любимые! Не забыва...»

* * *

В. Порудоминскому

Я погружаюсь в чудо строф —
 А что ещё на Рейне делать,
 Как не вдыхать созвучья слов,
 Их интонацию и мелос.

Слова неласковой страны,
 Покинутой тобой когда-то,
 Как звуки гаснущей струны,
 Как гул далёкого набата.

* * *

Н. Х.

Чужие рифмы и чужие ритмы
 Меня заполнили насовсем.
 И мне не выйти из неравной битвы,
 И стал совсем я немощен и нем.

И помощи не ждать мне ниоткуда,
 И нужных дивных слов в помине нет.
 И жажду чуда, но — не будет чуда.
 А все иное — суета сует.

* * *

Шиза в голове. Шиза!
 А на щеке — слеза.
 Так и бредут в одной
 Связке,
 в холод и в зной —
 Взбалмошная шиза,
 Горестная слеза.

* * *

Диме

Мне говорят: ты слишком щедр,
 Мол, стариковская причуда.
 Но если дар идёт из недр
 Души моей?

 Всё-всё оттуда.

И так недолог встречи час,
 Сгорит, как пламя от огарка,
 И завтра уж не будет нас.

А пламя снова вспыхнет ярко
 И будет угасать с дымком,
 Уже ни холодно, ни жарко,
 Уже во времени другом.

* * *

Всё уже круг друзей
 И родственников тоже,
 И мыслей, и идей,
 Которые тревожат.

И память уж не та,
 Подвижность и сноровка,
 Уходит суета,
 И скоро остановка.

Уже стою у врат
 То ль ада, то ли рая,
 Хочу ли я назад —
 И сам того не знаю.

Я был на свете.

Был!

И это уж не мало.
 Откуда взять мне сил,
 Чтоб всё начать сначала?

И вскоре я умер

Мгновение, осталось лишь мгновение —
 И мой вагон летит на красный свет.
 И нет уж ни злодеев и ни гениев,
 Сейчас он опрокинется в кювет.
 И невозможно избежать крушения,
 И никакой надежды на спасение.

Переселение! —

Альтернативы нет!

Смерть, как и жизнь —

сплошное одиночество!

Вы уже здесь?

Привет, ваше высочество!

Дружище-смерть,

привет,

привет,

привет!

ДМИТРИЙ ВЕРЕЩАГИН

/ Москва /



Божий суд

повесть

По замыслу своему, читатель, предлагаемые вам рассказы людей, больных сумасшествием, я хочу построить похожими на бег коня: когда опытный кучер чувствует, что коню надо позволить бежать быстрее, он вожжи в руках ослабляет, когда же, видя, что конь уже делается мокрый от быстрого бега, он вожжи в руках держит туже, все туже. Но я его, такой литературный прием письма, использую впервые, а поэтому мой читатель пусть не судит меня очень строго, всегда желая видеть совершенную прозу. Увы, мой читатель, увы. Я и рад бы написать такую прозу (знаете, какая она у Николая Васильевича Гоголя), но — говорю вам честно — я не Гоголь.

И я не так здорово пишу, как святитель Николай Сербский, которого я, конечно, как проповедника ставлю выше Гоголя. Я его так люблю и высоко ставлю — как проповедника! — что даже краснею от зависти. Но я краснею, надо признаться, — о, каюсь в этом я, Господи! — хотя и люблю украсть; но не потому, конечно, я вору, что очень хочу стать таким же горячим проповедником, каким был святитель Николай Сербский, — нет, я ворую иногда слова из его проповеди потому, что, читая их, я хорошо вижу, что и я такой же; я умный и, как он, горячий. Понимаете? То есть, я хочу сказать, воровство мое отличается от воровства, к примеру, господина Солженицына. Этот писатель воровал много, совершенно не краснея; для желающих узнать конкретно, как и где он воровал, я могу сказать: читайте его «Архипелаг Гулаг» и сравните его с романом «Тихий дон», автора которого он уличает то и дело в том, что он украл у белогвардейского офицера (он же и писатель Крюков) целый мешок бумаг. А сам-то он, наш великий писатель Александр Исаевич Солженицын, сколько мешков бумаг, состоящих из сотен, нет, даже из многих и многих тысяч писем о том, как люди были унижены и оскорблены машиной сталинского режима! — сколько использовал? Понимаете, как можно умело воровать! Вот и я ворую так же умело письма святителя, как Солженицын. Да, совсем забыл сказать,

что если издатели согласятся видеть на титульном листе моей книги имя святителя Николая Сербского, — пожалуйста, поставьте наши имена рядом; вы это только представьте такое: святитель Николай Сербский и Дмитрий Верещагин!

Хотя, впрочем, есть же такое соавторство композиторов Бизе и... забыл, мужа Майи Плисецкой, как фамилия? Но ближе к делу.

КЛОП

Начал профессор Казанский:

— Что видят ученые? В микроскоп они видят бактерии. В телескоп они наблюдают за звездами. Бога-то они не видят? А это значит: они ни сколько не лучше клопов. Но вы, знаете ли, что такое клопы?

— Я-то знаю, — участливо откликнулся больной по кличке Клоп. — Клоп — это не просто моя кличка. Нет, не просто. Хотите ли знать, как я был клопом?

— В натуральном виде? — спрашиваем мы.

— В натуральном, в самом натуральном. Тут, братцы, вот в чем дело. Вы знаете, конечно, какой я человек смиренный и кроткий? Настолько, что однажды я услышал голос в легком сне: «Василий, я превращу тебя в клопа». — «Зачем, Господи?» — «А чтобы ты кусал людей, из которых исходят всякие мерзости. Вот их, таких людей, надо кусать, Василий. Не щади их!» — но хоть я человек очень кроткий, но, однако, говорю: «Но я один, Господи, а один-то в поле не воин?» — «Я тебе дам, — говорит голос, — помощников. Много дам помощников — легионы. Я тебя сделаю, поставлю генералом, маршалом даже». — «У клопов?» — «Да. Согласен?» Я подумал: забавно стать генералом, пусть хотя бы и в государстве клопов. Я даже запел: «Как хорошо быть генералом!» Словом, я согласился.

И вот я в избе. В ней клопов, действительно, много — легионы. Когда я появился, они стали выползать из щелей наружу. Гляжу. Сколько клопов, все стены и потолок ими усыпаны.

— Кто из вас здесь старший?

— Я, — ответил самый толстый клоп.

— Кто в этой избе живет?

— Воры.

— Что вы с ними делаете?

— Да так, — говорит, — а где они теперь?

— Да пошли, — отвечает, — на дело.

Отвечает так, точно воровать — это дело!

Я стал читать им нравоучение:

— Воровать — нехорошо, это безнравственно.

— А сосать кровь из воров — это хорошо?

— Да, хорошо. — И говорю из Евангелия, что Господь сказал: *исходящее из человека оскверняет человека. Но что исходит из человека?*

— Вонь.

— Вонь из клопов исходит, а не из человека.

— Ой, нет, — заговорили они дружно, — из иного человека исходит такая вонь, что наша вонь — это, товарищ маршал, духи. Амброзия.

— Не будем отвлекаться... Я у вас спрашиваю философски. Господь сказал: *ибо из человека, из сердца человеческого, исходят злые помыслы. Прелюбодения. Любодения. Убийства. Кражи. Лихоимство. Злоба. Коварство. Непотребство. Завистливое око. Богохульство. Гордость. Безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека.*

— Из любого человека?

— Да, практически из любого; начиная от Адама, течет она, красная река крови, полная перечисленной мерзости.

— Значит, люди все — мерзавцы?

— Практически — да, все.

— И Христос к таким мерзавцам с небес пришел?

— Да.

— Что-то даже не верится. Ведь это, — говорят, — все равно, что человеку согласиться к нам, клопам, прийти? Это, — говорят, — подвиг, на который только один человек согласился — ты, товарищ маршал.

— Нет, — отвечал я клопам, — с небес прийти к людям — этот подвиг Его гораздо превосходит мой. Вы, конечно, тоже мерзкие существа. Но люди — они сто крат превосходят вас в мерзостях своих. Вы — чего? Вы только кровь сосете! Но они уж такие мерзавцы, что я с небес никогда бы, ни за что не спустился на землю!

— А почему же Он пошел на такой героический подвиг?

— Человеколюбче. Так Он возлюбил людей. Но вы правильно говорите, что он пошел на такой героический подвиг. Такой подвиг — вот уж действительно, это героический подвиг! И вы прибавьте еще и то, что Он сам пошел на распятие.

— Как? Сам пошел на распятие? Его распяли?!

— Да, братья. Да, клопатрия вы моя. Его распяли.

— Ну, — говорят клопы, — вот это уж, действительно, мерзавцы. За это надо их судить!

— Будут. Их будут судить. Для этого скоро будет Страшный суд.

— Ну, держись, — сказал толстый вонючий клоп. — Теперь держись, род человеческий! Всю кровь из вас мы высосем!

— Вы, — говорю, — за весь род-то человеческий, пожалуй, не говорите. Ваше дело кусать воров.

— Каких воров?

— Хороший вопрос. Воры — они тоже разные бывают. Как сравнивать вора, который сидит в Государственной Думе или даже в Кремле, — как его сравнивать с вором, который ворует электроэнергию со счетчика в своей квартире?!

- Нельзя их сравнивать?
- Никак. Их сравнивать — все равно, что сравнивать копейки русские с американскими миллионами долларов.
- А больше люди воруют?
- И больше воруют.
- Миллиарды?
- И миллиарды воруют. Там есть, — показал я на окно в большой мир, — много олигархов, которые наворовали миллиарды народных денег.
- Их там за это расстреливают?
- Нет.
- Ну, хотя бы судят?
- Нет.
- И не судят даже?
- И не судят даже!
- Эх, вот бы их покусать! Попить из них кровушку, — сказал мечтательно молодой клоп.
- И не мечтай об этом, — сказал я ему. — Таких олигархов защищает мировой сообщество.
- А это еще что такое?
- Это, молодой мой друг, — говорю я ему, — те еще законники. Благо их защищает ваш бог.
- А кто наш бог?
- Сатана.
- Как в мире все взаимосвязано! — сказал молодой клоп и остановился. Потому что в избу стали заходить воры.

ВОРЫ

— Как в жизни все взаимосвязано! — сказала воровка, по кличке Блоха. Она выкладывала на стол выпивку и закуску, которую они привезли с собой, вероятно, украв ее в магазине. А трое воров — Белозубый, Писатель и Рубин — затапливали печь. Белозубый был за командира, надо думать, уже и потому, что во рту у него все зубы были белые; он еще и хозяином был избы, и видно было, что он знает жизнь в деревне; он послал Писателя и Рубина к колодцу за водой, сказав им, что нельзя садиться за стол без воды.

— Это грех! — сказал он.

Электричество не включали, надо думать, не потому, что воры боятся яркого света, или — лучше сказать — милиции; но это потому, опять же, что хозяин избы Белозубый сказал: когда изба топится, свет от нее приятнее электричества.

Когда сели за стол и выпили по первой, Блоха, посмотрев на подруг — на Певицу и Актрису — стала развивать свою мысль, говоря: «Я говорю, что в жизни все взаимосвязано... И в самом деле, это так. Ведь давно ли я была связана с торговлей, потом — с милицией, а теперь вот связана с ворами. Понимаете, как в жизни все взаимосвязано?!»

Выпили по второй и сразу по третьей, потому что Белозубый сказал, что он будет сейчас петь. После таких его слов, все они — шестеро — принялись закусывать. Хорошо закусили, плотно. И, встав, Белозубый запел: «Ямщик, не гони лошадей».

Он пел хорошо, так хорошо, что было в это время жевать как-то нехорошо; он спел так здорово, что они ему все заплодировали.

— Гениально, — сказала Певица. — И я скажу вам, почему гениально. Потому что, Белозубый, видна твоя русская душа. Она — невеста.

— А кто жених? — спросил Писатель.

— Господь, — ответила ему Певица. — Моя душа, Белозубый, вся принадлежит тебе, когда ты пел!

Блоха скривила нос, вероятно, потому, что она считала своим женихом его, Белозубого.

— Ха-ха, блоха! — запела она, да с какими руладами; совершенно потрясая всех своим пением, она еще и сплясала, выбежав из-за стола — вприсядку, наконец, упала и почему-то заплакала.

— Что такое? Почему ты плачешь? — спрашивал Белозубый.

— Люблю я тебя, дьявол, — отвечала ему Блоха, целуя его в губы так, как целуют из желания показать подругам, что он ее и боле ничей.

Когда Белозубый и Блоха целовались, вдруг запела воровка, по кличке Певица. Да как запела! Она исполнила романс «Дай Бог», — на слова Евгения Евтушенко, а на музыку, по-моему, Раймонда Паулса. Голос у нее оперной певицы — контральто — да такой сильный и, без вранья говорю, не обработан учителями в певческой школе; столько в нем душевного волнения, что Блоха сказала:

— Малинин пусть отдыхает!

— Неправда, — сказал Писатель, — Александр Малинин исполняет эту вещь тоже здорово; стихи Евтушенко кажутся очень непригодными, чтобы их петь, но, благодаря композитору, Малинин так душевно исполнил, что эти стихи стали русским романсом. Здорово! Чего стоит «Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожником». Очень даже здорово; тут видна работа; огромная работа человека-интеллектуала.

— Куда я попал? — сказал Рубин. — Это просто певческий сад! — Большой театр пусть отдыхает! — сказал этот вор, по кличке Рубин; ударение на втором слоге, потому что он большой специалист по драгоценным камням.

Конечно, после этого выпили еще и еще раз!

— В жизни все взаимосвязано, — опять сказала Блоха, теперь все время за столом жевавшая, как корова, так что Писатель, наблюдавший за ней, подумал: «Куда в нее входит столько! Как будто ее месяц не кормили» и сказал зачем-то философски, но сдержанно: «И как далеко простираются ваши связи, сударыня?»

— По всей России! — отвечала Блоха с хохотом. Она все еще не пришла в себя от поцелуев Белозубого. — Потому что мы — Певица, Блоха и Актриса — развозим барахло всякое на самолетах.

— На самолетах? — удивился Писатель.

— Да, дорогой Писатель, — хохотала красивая Блоха. — Мы ездим и на собаках в тундре! «Увезу тебя я в тундру, — запела она. — Э-ге-гей!»

А Писатель снова спросил, удивленно:

— На оленях и на собаках?

— Да. И на собаках мы ездим. Писатель, давайте потанцуем?

— Давайте.

Он встал и они потанцевали, благо радиола играла такие томные вещи, что они танцевали, прижавшись друг к другу.

— Вы хорошо поете, — сказал он ей на ушко.

— Спасибо.

— А вам нравится Русланова?

— Да, — сказала Блоха и запела: «Валенки, валенки: не подшиты, стареньки».

Писатель, чтобы показать ей свое восхищение, заплакал, говоря:

— Вот, действительно, это поет русская душа! Вот она, какая невеста?!

— А кто жених? — спросили у него.

— Господь; потому что Бог любит Россию.

— За что? — опять спросили у него.

— За кротость, — отвечал он, улыбаясь, при этом намеренно показывая свои белые зубы; точно как Смоктуновский в последние годы жизни.

— У вас свои зубы? — спросила Блоха.

— Нет, вставные.

— Я так и подумала! — захохотала Блоха. — Таких умных воров надо убивать!

— Таких кротких, как я, не надо убивать. Потому что мы приносим много пользы своему Отечеству.

— Уж будто б и пользу? — спросила Блоха, все еще смеясь.

— Да, именно пользу. Потому что мы, воры, сколько даем работы органам?! Ведь не будь нас, они бы совсем отупели. Понимаете?

— Ловко, подлец, ответил, — опять захохотала Блоха. — Но зачем ты себя, Писатель, называешь кротким?

— А вы разве не видите, что я действительно кроткий? — Он опустил свои красивые глазки долу. — Я такой же кроткий: да, как русский воин!

— Неудачное сравнение, Писатель.

— От чего же, неудачное?

— Потому что русский воин, он потому и русский воин, что смело идет в бой. Ведь если бы он был кроткий, то мы давно бы профукали его, наше родное Отечество.

— Напротив, милая, напротив. Потому ведь даже и само слово «кроткий» указывает нам — на что? Что надо укрощать их, свои страсти. И вот только в этом случае, когда человек научится укрощать свои страсти, он станет воином хорошим. Понимаете?

— Фью, — свистнула Блоха, услышав такую философию.

А Писатель, видя ее удивленные глаза, продолжал:

— Да и вы помогаете Отечеству в этом.

— Конкретно — в чем? И кто — «вы»?

— Вы, то есть простые люди.

Услышав такое, все перестали танцевать. И даже выключили музыку.

— Белозубый, — сказала Блоха решительно, — он говорит про нас — про меня, Певицу и Актрису, что мы помогаем богатеть Отечеству. Так, правильно я вас поняла?

— Да. Очень вы правильно поняли меня, сударыня.

— Пахнет жареным! Объяснитесь, сударь, — сказал Белозубый строго.

— Пожалуйста. Я так говорю потому, что вши и блохи всегда есть на Руси. И они — именно они! — делали русского человека кротким.

— Нет, ты сказал: «русского воина», так?

— Да, конечно, и русского воина. Потому, конечно, покусанный ими...

Он замаялся, а она пришла ему на помощь:

— Блохами и вшами, не так ли?

— Да, милая. Покусанный так — вшами и блохами! — он, русский-то воин, нередко похож был, знаете, на кого?

— На кого?

— На маршала Жукова.

— Вот это да! — сказала Блоха. И крутанула пальцем около виска, говоря: — Крыша у мужика поехала!

А Писатель, совершенно не сердясь на нее, продолжал:

— «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вот они ее, русские воины, такие и наследуют.

— Какие?

— Кроткие, кроткие, сударыня.

— Как маршал Жуков?

— Да, как маршал Жуков. Ведь он был настолько смиренный и кроткий, что у него Верховный Главнокомандующий — Сталин, генералиссимус Иосиф Виссарионович, спрашивал: «А как вы думаете? Гитлер покончит жизнь самоубийством?» «Прикажите, товарищ Сталин! И он покончит жизнь самоубийством». Понимаете, ведь только такой он, русский-то воин, покусанный вшами до костей, становится, наконец, кротким? Так что скажи генералиссимус Сталин: «Братя и сестры! Ви завоевали Берлин; а смогли ли бы ви завоевать и Пэкин?» «Да, товарищ Сталин! Прикажи, и мы завоюем и Пекин!» «А смогли бы ви завоевать еще и Японию?» «Да, товарищ Сталин! Прикажи, и мы завоюем!» «А смогли бы ви, бра-

т্যা и сестры, еще завоевать и Амэрику?» «Да, товарищ Сталин! Прикажи — и мы завоюем!» Вот, пожалуй, и вы уже теперь видите, господа воры, какое смирение и какая кротость у нашего русского воина?! Но — я это особенно подчеркиваю! — все это только потому, конечно, что мы, русские люди, хорошо слышим, что читают в храмах Господних: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

И так он, этот философствующий вор, говорил еще много им, русским вора́м, о кротости русского воина, — но, наконец, решив, что пора уже и закругляться, сказал:

— А скажи, любезная, каким вам представляется будущее нашей многострадальной России?

— Будущее, любезный Писатель, мне представляется вшивым.

И все вдруг захохотали.

МАШУРА

(Рассказ Белозубого)

— Писатель, пожалуй, я с тобой согласен, — отозвался Белозубый на толкование кротости им, Писателем. — Да, конечно, Георгий Константинович Жуков, если именно так понимать, что есть кротость, человек и есть именно такой. Да, конечно; как иначе ему можно стать маршалом? Тем более в таких условиях, когда все жилки-то дрожали, поди, у него: при встрече-то с хитрым таким и каверзным сверхчеловеком, каким был наш Сталин?! Именно так: только когда возьмешь себя в руки, когда укоротишь все страсти свои, когда станешь, наконец, похожим на ягненка при встрече с ним, товарищем Сталиным! Вот эта она, такая благоприобретенная кротость, и сделала его, Жукова, маршалом!

Я, между прочим, знал такую женщину. Она здесь, в нашем селе жила. Мария Златарева, но звали ее все от мала до велика Машура. В деревне и кличка важна, она говорит о многом. Я сейчас вот, когда произношу ее, вижу пьяную старуху, одетую во все времена года в шинель генеральскую. Шинель ей подарил Василий Яковлевич Уваров, — генерал, герой Советского союза. Он летом всегда приезжал к нам, как он говорил, воздухом подышать. Ну, конечно, и половить рыбки: стерлядей, судари; страсть, как любил порыбачить. Даже оставался, как и все мы, ребягня послевоенная, на реке нашей, Сурушке, ночевать — «на ночь», как мы говорили. И однажды, когда полетела метель, заснул он у костра, прямо в своей генеральской шинели, — она от костра и загорелась. Мы ее тушили; кто за водой скорей бежит, кто песком ее засыпает... Короче, шинель потушили; но дыра на ней приличная, судари, так и осталась. Вот ее, эту шинель такую генеральскую, наш генерал отдал Машу-

ре. И как он угодил ей, подарив такую вещь! Она, в какой бы избе не ночевала, нигде, бывало, не ложится спать иначе, как сама шинель эту бросает на пол, говоря:

— Вот моя постель! Шинель — это кровать моя походная, подушка и одеяло!

Вспоминаю такой случай; дело это было на страстной неделе — в пятницу, в аккурат перед самой Пасхой. А мы уху на Суре — на Красном Яру — готовили; причем, какую уху? Царскую уху! Знаете ли вы, что это значит? Это значит: надо варить ее три раза; и рыба должна быть какая — стерляди; впрочем, когда первый раз ее варишь — можно всякую рыбу бросать в котел; но вот она уже готова — и ты рыбу, какая попроще, отбрасываешь на землю; и теперь варите еще два раза ее, царскую уху, безжалостно вылавливая из котла язей красноперых, плотву, карасей и даже ершей, — тогда в Суре нашей, знаете, еще водились даже и ерши; но стерлядей, конечно, ты бережешь теперь, как зеницу ока; благо, ведь, это царская рыба; а потому и уха называется так: *царская уха*.

И я, помню, замерз. Благо рыбу мы ловили бреднем, а вода-то еще полая, — она до того холодная, что мурашки на теле от страха выступают, судари. Ведь надо заплыть с бреднем до половины озера: такой был у нас большой бредень. На озере Кувакорки ловили; потом перебирались через болото на Красный Яр; потому что уху мы готовили всегда на Красном Яру; благо, какое это место? Берег крутой, с него видно сразу три деревни, и станцию Суру нам слышно так, что мы сразу определяем, какая пришла электричка.

Я прибежал домой, и мне надо бы сразу на печь, на теплую нашу печь, матушку; но там — гляжу — человек лежит.

— Эй, кто тут?

— Я.

— Кто ты?

— Я тебе рассказываю: я!

Ясно, это Машура.

— А ты чего на печь забралась?

— Чай, тебя жду. Хочешь выпить? — Она ищет сумку. Находит ее под головой. Достает початую бутылку портвейна, или — как она говорит — парфушку. Слезает с печи и ставит бутылку на стол. Да как уверенно, — как в своей избе она у нас хозяйничает. И когда пришла мама, увидела она стол, уже накрытый, благо я слазил в погреб и вынул огурцов, грибов — судари! Груздочков. А капуста у мамы — это просто объеденье. Но, видя такой стол, мама нами не довольна: — Эка, как пышно разгулялись! Как вам только не стыдно?!

— А чего? — спрашиваем мы.

— Да, чай, страстная неделя идет; Господи, прости нас грешных!

— Ай, правда, — спрашивает Машура. — А я и забыла.

— Да, Машура, правда. Ты хотя бы маленько попости-лась... а?

— Постись сама... А мне, — говорит, — уже неколи.

— А чего?

— Умирать думаю! Пора. Маша, — говорит она маме. — Ваня мой зовет меня к себе.

— Только у меня не умирай, — мама ей. — Не здесь, не у меня в избе.

— А ночевать-то хотя бы оставишь?

— Знаю, как ты будешь себя вести плохо!

— Избы тебе жалко... Жадная, пра, жадная.

— Я тебе дам жадная!.. На! — бросает ей мама с печи фу-файку. — Стели сама!

— У меня своя есть шинель. Вот она. — Она идет к двери и там снимает шинель свою, висящую на стене. — Это и кровать моя, и подушка, и одеяло.

— Будешь? — спрашивает меня Машура, совершенно теперь не обращая внимания на слова хозяйки этой избы.

— Пей, — говорю, — допивай, тетя Маша.

— Дай мне хлеба, сударь.

— Зачем?

— Щас увидишь.

Я сходил в чулан и принес хлеба. Она, отрезав ломоть, стала его крошить в миску, а потом вылила туда из бутылки весь портвейн, парфушку.

— Это, — спрашиваю, — что за новый способ выпивания?

— Это хороший способ! По мозгам, соколик, ударяет хорошо!

— Ой, мерзавка! — мать моя ругается на нее с печи. — Чему ты учишь молодого человека?

— Бережливости! Как с одной бутылки спьянеть обоим?!

И точно, когда мы таким способом допили всю бутылку, — и, закусывая и выпивая одновременно, — мы стали оба пьяные. У нас языки даже стали заплетаться. Наконец, устали. И решили лечь мы отдохнуть. А мать — она уже на печи храпела.

Ну, и ночка была! Не дай, Господь, еще мне такую!

— Ваня, Ваня, — слышу, она зовет его, мужика своего, который не пришел с войны, — Великой Отечественной. — Ложись вот тут, ложись со мной, Ваня.

— Вдруг в избе, гляжу, электрическая лампочка стала краснеть. Нить накала покраснела, судари. Почему? А, товарищи? — спросил рассказчик.

— А черт его знает, — отвечали ему воры, его товарищи.

— Именно, — сказал рассказчик, — черт это знает! Откуда такая энергия пошла, ведь нить накала — вольфрамовая нить! — сделалась красная? И он явился. Иван, или — Полтора Ивана. Так мужика ее звали в деревне, в селе нашем. Я, однако, перекрестился. И открыл один глаз. И что я вижу? Он стоит белый, как печка.

— А может, это печка и была, — сказала Блоха, почему-то дрожа всем телом.

— Может! Тогда, скажи мне, почему у меня поднялись волосы дыбом?

— Как у меня сейчас, — сказала Блоха. — Это, пожалуй, от испуга?

— Какого? Ты что думаешь: я боюсь ее, белой печки?

— Ну, ночь же, — сказала Гнида.

— Хорошо. А почему электросчетчик в избе заработал? — ширк! ширк! — заработал счетчик, закрутился он, как телега не смазанная. И я увидел такое, что закрыл глаза крепко, говоря шепотом: — Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного!

Как они стали любить друг друга! Она — слышу, говорит ему: «Любый мой! Самый ты любый мой! Хороший ты мой, Ванечка».

Но он ей, однако, чего-то строго рассказывает. Потому что, слышу, она перед ним оправдывается:

— Ты что, Ваня, думаешь? Или я с кем жила? Да разве я променяю тебя на кого? — и завывала: как воют волки в поле. — Да я тебя, Ваня, могу ли я променять на другого? Что ты! Что ты! Один ты у меня, Ваня, единственный, — а зачем я пью? Ваня, она осталась у меня теперь радость — бутылочка. — У! у! у! — завывала опять она, — так завывала, что я опускать стал ноги с кровати на пол, на ощупь, не открывая глаз. И пошел из избы вон, только бы такого не видеть и не слышать!

Вот, судари, вы можете себе представить такое: после такой пьянки, казалось бы, уж похмелиться-то, надо? И я, сходя в магазин, похмелился. И теперь наливаю ей. Но она, накрыв стакан ладонью, говорит:

— Не пью, сударь.

— Что такое?

— Великий пост идет.

— Ну и что? — спрашиваю.

— Мне надо помочь, — и она стала мне перечислять, где и каким больным старухам надо помочь. — Поможешь?

— Помогу; если они нам помогут!

— Не дури, — сказала Машура строго. — Грех так поступать.

— Почему грех?

— Потому что грех.

И больше она на эту тему говорить не стала. Но я пошел с ней, чтобы помочь ей. Дрова пилили, она стирала, обед готовила, — в одной, и в другой, и в третьей избе; наконец, я ухандокался. И говорю ей:

— Надо принять стакан. Иначе я сейчас свалюсь.

Она вынула из сумки бутылку портвейна и налила мне полный стакан. Я выпил и, вытерев губы, хотел и ей налить. Но она — гляжу — опять накрыла рукой стакан, как бы говоря: не пью! И такое продолжалось целый день — до красной Пасхи. На Пасху я пошел к ней, чтобы ее проведать. Захожу к

ней в избу, и что я вижу? Она лежит посреди избы на своей шинели. Я позвал ее — она не откликается. Я подошел к ней и вижу: она умерла.

— На Пасху умерла? — все заговорили удивленно: — Какая прекрасная смерть! Ведь говорят: кто умирает на Пасху, тот попадает в рай?

— По-моему, — сказал Белозубый, — так и должно быть в жизни. Ведь она хороший человек. И разве она не достойна, судари, стать невестой Христа?

— Достойна, — согласились воры. И продолжали всю ночь пьянствовать.

СЕМЬ РЕЧЕНИЙ ХРИСТА

1

Ну, давайте вернемся в нашу больничную палату, благо и там сейчас идут интересные разговоры, — профессор Казанский говорит: «Я ученых называю клопами, знаете, почему, — что они, ведь, не видят в телескоп Бога?! — Да, товарищи! Надо быть сумасшедшим человеком, чтобы ходить со свечкой по улице в полдень, когда над головой солнце в зените». — Но тут в другом конце палаты заговорили про Ленина, и Ванька Наш говорит профессору:

— А зачем он днем ходит со свечкой?

— Кто «он»?

— Ленин; мать его корень, он что, сумасшедший?

— Ваня, все именно так, как ты говоришь! Благо, он какой был кроткий перед дьяволом? Всю Россию готов был продать во имя светлого будущего! И какая у него была гордыня перед Господом Богом?! — Но, — это я говорю, к примеру, — знал ли он речения, семь речений Христа? Да нет, конечно; потому что он считал — это ниже его достоинства, ниже его революционного достоинства! — Да и вы, судари, знаете ли вы их, семь речений Христа? Господь сказал нам их с Креста!

Первое речение: *Отче! Прости им, ибо не знают что делают.*

В Его речении этом — истина, большая истина: все злодеи, все мерзавцы мира не знают, что делают! — Да, не знают. Благо ведь они, убивая праведников, себя убивают; и они прославляют тем самым Самого Бога. Вот вам такой пример. Наши революционеры во главе с Лениным убили царя, Николая Александровича! — Еще пример: в Бутово расстреляли они много тысяч священников. А в итоге-то что: и наш царь-батюшка со всем его семейством, и все бутовские убиенные стали святыми. И они, конечно, вошли в Царство небесное, тогда как расстрелявшие их большевики — где? Где они находятся ныне?! — Попирая Божий закон, они не видят жернова, который невидимо опускается на

них, чтобы смолоть их в прах. Богохульствуя, они не замечают, что лица их превращаются в скотские морды. Опыяненные злом, не знают, что делают!

Второе речение: *Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю.*

Он это говорил раскаявшемуся разбойнику на кресте. И не только ему, конечно, таких грешников много на земле; разве многомиллионная коммунистическая партия — не разбойники; да и мы все в больнице нашей, — разве не такие же грешники? — Я, судари, вам честно признаюсь — такой грешник, что и меня надо бы распять на кресте. И вся наша страна — это страна красных разбойников! И значит: Евангелие приводит такой пример, знаете, не для устрашения, но только с одной целью, чтобы вселить надежду в человека. Все кайтесь, хотя бы и в последний миг! До последнего вздоха, судари, Господь спасает нас всех, кто имеет хоть немного желания быть спасенным!

Третье речение: *Жено! Се сын Твой.*

Эти слова меня приводят в жуткий трепет. Почему? Да потому, что Его так избili всего, что на Нем уже лица не было, — это был один сплошной кусок мяса, из которого — под палящим солнцем! — сочилась кровь; На Него садились мухи; и, понятно, Его уже трудно было узнать: который из троих, Ее сын? И если бы Он не подал голос, не заговорил с Ней, Она могла бы и не узнать Его. Хотя, что я говорю: могла не узнать. Какая мать не узнает своего сына, хоть бы и распятого, уже которого искусаи так мухи, что солнце даже не могло такого зрелища видеть. Оно — как от стыда! — в тучи спряталось. И стало темно. Подул сильный ветер — и на земле зной от немилосердно палящего солнца стал спадать. Солнце, это так в Евангелии говорится, стало черным. И люди, посмотрев на черное солнце, затрепетали от страха. Вот этого, именно этого не хватает нам ныне: черного солнца, дабы почувствовать жуткий трепет.

Четвертое речение: *Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?*

Люди, читающие это речение, понимают его по-разному: некоторые люди приводят место это из Евангелия в качестве доказательства того, что Он — не Бог, что Он — человек. Ведь Он — жалуется, что Отец Небесный Его оставил.

Не оставил Его Отец Небесный, не оставил. Все это не так надо понимать, а иначе. А именно: в этом речении звучит давний разговор Бога Отца с Авраамом; последний тоже пожертвовал, было, своим сыном; но, однако, зачем — вот это нам непонятно, не понимаем мы этого, читая Ветхий завет. Но вот теперь, читая Новый завет, понимаем — разницу такую: почему и Сталин говорил так: «Я рядовых солдат не меняю на маршала». Понимаете, какой он подлец и лицемер, этот наш Друг и благодетель всех народов мира? Сволочь ужасная. А люди многие

так думают и говорят: вот, де, какой человек, — он даже сына своего пожертвовал во благо справедливости. Глупые, Господи, какие глупые русские люди!

Пятое речение: *Жажду.*

Господь висит на кресте, Он весь измучен: ведь жара была такая, что воздух горячий был, как в печке. И когда римский солдат, легионер дает ему губку, смоченную в уксусе, — я вижу это, даже во сне! — и думаю: какое издевательство! — неужели тогда в людях совсем, ведь совершенно не было ничего человеческого? Да; а все только одно звериное, дьявольское! — но так ли это? Нет, это совсем не так. Оказывается, — об этом говорит святитель Николай Сербский, — тогда уксус, винный уксус пили, употребляли его в жару в качестве напитка, благо утоляющего жажду. Это — во-первых. И, во-вторых, речение это — жажду! — говорит нам о вере христианской: уже скоро люди все во вселенной испытают ее — жажду любить Господа Иисуса Христа!

Шестое речение: *Отче! в руки Твои предаю дух Мой.*

Это речение представляется нам, людям, ценным, пожалуй, так же в связи с тем, кого любить, какого Бога? Восточно-китайско-индийского; они все молятся, как вы знаете, не Христу, а своим богам, которых на планете нашей много — легион, и все они настойчиво говорят, и даже убедительно говорят (да, конечно, убедительно, раз так много людей на земле, верующих богам всяким и разным), — они верят, что дух человеческий переселяется в животных, так что в новой жизни наш дух переселится, знаете, в кого? В кого только он не переселяется! И вот это речение, истинное речение Христа говорит нам о том, что дух Свой Господь Иисус Христос передал в руки Своего Отца, Отца Небесного. Так что буддисты, пифагорейцы, оккультисты и все те философы, которые баснословят о переселении душ умерших в других людей, или в животных, или в растения, или в звезды и минералы. — Братцы, пусть они отдыхают!

Седьмое речение: *Свершилось!*

Свершилось, но что именно: а, судари, что? А свершилось вот что. Все религии и верования на планете людей — это не серьезно. Да, не серьезно! Потому что Истина, это — Слово, Которое сотворило вселенную. И солнце. И луну. И звезды. И планету Земля, и все, что есть на ней, — это сотворило Слово. И когда говорят о том, что вселенная наша будто бы берет свое начало от Большого вселенского взрыва. Это, братцы, несерьезно. Это говорят ученые, которые далеки от Бога. Они — лучи, оторванные от Солнца. Аминь.

— Но тогда ничто еще не совершилось, что свершилось после Его смерти. А именно, что свершилось после Его смерти? Во-первых, Он воскрес; во-вторых, если бы Он умер и не воскрес, то

не было бы и Евангелия, но был бы один Ветхий завет, как единственно Богом данный закон, а Истина и Благодать — навсегда были бы утеряны; в-третьих, после Его смерти на планете людей свершится и то, наконец, что люди поймут: Он есть Слово, сотворившее вселенную; в-четвертых, относительно мамоны, что сказать: мамона — это есть осень всего человечества; в-пятых, люди еще и то поймут, что философия людей — это есть хождение со свечкой в полдень, когда светит солнце за тучами; и, наконец, в-шестых: Его проповеди — это не проповеди сумасшедшего человека, каким он казался тогда при жизни многим людям; нет, посеянная Им пшеница умерла, — и теперь она принесет урожай богатый.

— А именно? — спросил я, потому что мне казалось, он закончил свою речь, а мне всегда хочется, чтобы он говорил много, больше.

— Да, Сережа, свершилось еще многое. Человек уже теперь скоро скажет: нет рабству на земле! Идея свободы, равенства и братства — это не европейская идея, судари, это идея Христа, как и коммунизм в России — идея не Ленина, а Христа. Они ее просто украли у Него, у Господа. И еще: со смертью и воскресением Его, свершилось совершенно удивительное дело для Россиян: Его заповедь «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» — видна, товарищи, именно на россиянах, в России: русский народ был самый смиренный и кроткий, и Господь — вот поэтому! — одарил нас такой большой, огромной территорией. Одна шестая часть планеты, это вам что, судари, разве не осуществление Его заповеди практически?!

— Да-а, — мы удивились, слыша такое от профессора. — Вот это, действительно, здорово! И в этом нет никакой утопии?

— Какая может быть утопия, когда «очевидное-невероятное». Я хочу сказать, что для человека невозможно — для Бога все возможно. Но, кстати, об утопии? И она стала возможной; благо все такие философствования, к примеру, Кампанеллы — это, ведь, вся та же идея Христа, судари.

— Да? — опять спрашиваю я, удивленно.

— Да, Сережа, да. Рай на земле, это неправильное истолкование идеи Христа философами-утопистами.

— А вот, кстати, — говорю, — Свидетели Иеговы? Они ведь тоже философы-утописты, не так ли?

— Молодец, что догадался. Я так говорю потому, что они тоже впали в ересь, проповедуя везде и всюду на планете людей, — ведь у них размах именно такой, планетарный; но рай-то на земле — это, конечно, утопия.

— Рай только там, в царстве небесном?

— Только там. А земля — это место, где человек готовит себя для жизни иной в Царстве богов. Вот это и есть Его возглас с Креста: *Свершилось!*

Вот теперь мы все взорвались. Так, что нас, пожалуй, слышно было на небесах. И мы установили телепатический мост, соединяющий нашу палату Кашшипровского с Царством Небесным.

— Господи, — закричал я. — Я знаю, сколько ран на твоём теле.

— Сколько? — спрашивали у меня наши больные, сидевшие и на полу, и под столом. Спрашивали, потому что они думали, что я ничего не знаю. Нет, судари, я все знаю!

— Две раны на руках, две раны на ногах, одна в ребрах. Все пять ран, — кричал я громко, конечно, для того, чтобы быть услышанным на небе и на земле. — Все пять ран, братья и сестры, от черного железа и от еще более черного греха человеческого. Прободены руки, которые благословляли. Прободены ноги, которые шли и вели единым истинным путем. Прободены перси, изливавшие огонь небесной любви в охладевшие перси человеческие. Не так ли, Господи?

— Так, сын мой, — отвечал Господь, — так, моя радость.

И я теперь, конечно, еще громче закричал от радости, — и Бог откликнулся. Я, засияв, кричал:

— Сын Божий допустил, чтобы Ему железом пронзили руки ради греха многих рук — целого леса рук, которые убивали, крали, жгли, грабили, ставили сети, чинили насилие... Чтобы ему пронзили ноги ради греха многих ног — целого леса ног, которые ходили злыми путями: соблазняли невинность, угнетали правду, святых оскверняли, доброе топтали... И чтобы Тебе, Господи, пронзили перси ради многих окаменелых сердец — целой горы каменных сердец, в которых рождалась всякая злоба и всякое безбожие, и хульные помыслы, и скотские желания; в которых во все века ковались адские планы брата против брата, соседа против соседа, людей против Бога... Не так ли: подтверди это, Господи?

— Так, сын мой, так. Подтверждаю!

— Прободены руки Твои, Господи, чтобы все руки исцелились от грешных дел. Прободены ноги Твои, Господи, чтобы все ноги отвратились от грешных путей. Прободены перси Твои, Господи, чтобы все сердца омылись от грешных желаний и мыслей. Вот, Господи, это я говорю Тебе со слезами. Видишь, Господи, слезы мои?

— Вижу, сын мой, вижу!

И я говорю моим братьям и сестрам:

— Пять ран Иисусовых — пять источников Пречистой Крови, которой омыт род человеческий и освещена земля. Понимаете ли вы это, братья и сестры? Да, понимаете, но как? Слабо, так слабо, что даже вы не способны плакать, как плачу я, братья и сестры!

— У-у-у! — завывали мои братья и сестры, да так громко, что их тоже стало слышно на небесах, в Царстве Небесном.

— Слышим, слышим вас, больные из палаты Кашпировского, — отвечали нам святые из Царства Небесного. — Слушайте, братья и сестры, своего пастыря!

И я, когда услышал, что я есть пастырь в нашей больнице, закричал еще громче:

— Из этих пяти источников истекала кровь Праведников, вся, до последней капли. Чудотворец Господь, Который умножил хлебы и пятью хлебами насытил пять тысяч голодных, умножает непрестанно эту пречистую Кровь Свою и Ею кормит и поит на тысячи алтарей многие миллионы верных. Это — Святое Причастие, братья и сестры!

Шла Великая Пятница Великого поста, и я возгласил громко, так, что меня стало слышно везде, и в раю, и в аду:

— В Великую Пятницу, братья и сестры, припадем душой к Пресвятой Богородице у Креста, чтобы и вас, братья и сестры, омыла эта животворная Кровь из пяти ран Иисусовых. Чтобы очищенными и оживотворенными душами, братья и сестры, могли вы в Воскресение радостно воскликнуть с мироносицами: Христос Воскресе!

— Воистину Воскресе! — отвечали радостно мне те, кто вверху, и те, кто внизу, под нами — в темнице, лежащие на нарах, потому что они скандалили, и за это их связали мокрыми полотенцами.

— Сережа, когда нас развяжут?! — спрашивали они.

— Терпите, братья, — отвечал я таким скандалистам. — Христос терпел и нам велел!

4

И я говорю:

— Братья и сестры! Мост, соединяющий нашу больницу с Царством Небесным, еще станет более вам нужен, если вы на него станете твердо, и мысленно представите Путь Страстей. Путь, которым шел Господь под Крестом на Голгофу.

— Вижу Его, — закричал Кадяша. — Вижу дом, но чей он — не могу знать я.

— Чей это дом? — закричали мы громко, так, что нас услышали в Иерусалиме. Услышали и отвечали нам:

— Это дом Иакима и Анны, родителей Его матери. Думайте о Ней. Матери великой скорби.

— Но была ли она там, когда Господь шел под Крестом и спотыкался? — спросил я, — а, Господи?

— Была, сын мой, была. Я шел под Крестом, не как Господь и Царь царей, но точно раб всего человечества. Был Я униженный и оскорбленный! А ныне вы, все униженные и оскорбленные, несите крест свой: каждый как раб Мой, неси до своей Голгофы!

— Эй, — закричал Ванька Наш, — вы, там в Израиле! Что это за дворец я вижу?

— Это дворец Пилата. Здесь ступаем мы как по пеплу потухшего вулкана. Но огонь страсти и смрад неправды еще чувствуется. Здесь Учитель правды был судим и осужден. Здесь Образец невинности бичеван от беззаконников. Не было на Нем ни одного здорового места. Так здесь позаботились в ту ночь, предшествующую Его казни! И римские воины своими бичами только усугубляли эти раны на Его теле. Изучающим римское право и римские законы следовало бы прийти на это место, чтобы возгнушались они навеки этим бесчеловечным предательством.

Вот место, где Господь пал под тяжестью Креста. И как было не пасть? Тяжело было безмолвно перенести эту ночь, полную ложных обвинений, клеветы и лжесвидетельств, а тем паче — смрад оплевания и столько ран, сколько добрых дел он сотворил людям!..

— О Господи, — завопили мы, — если бы мы были там тогда! Мы бы, стоная и плача, подхватили Крест Твой и Тебя подняли бы мы на руки свои — и понесли!

— Понесли бы, россияне?

— Господи, да будь мы шакалы — клянемся Тебе! — и тогда бы понесли Крест Твой!

— И мы все, Господи, — завывали вверху и внизу под нами, в темнице. — все мы, Господи, клянемся: понесли бы Крест Твой!

Так кричали мы, россияне, мысленно проливая слезы на Его пути скорби, который превратился бы в реку нашего горя, если бы пролитые нами все слезы на русской земле воссоединились и взбурлили на ней!

— О, как я завидую тому еврею, — вопил Ванька Наш на всю вселенную, — которого счастливая «судьба» привела туда в тот день, чтобы взять Крест Господень и облегчить муки Тому, Кто пострадал за всех людей!

— Вот, — отозвались на наш плач там, в Иерусалиме, — мы здесь стоим, — перед домом святой Вероники. Из окна своего дома, — комментировал какой-то израильтянин, — она увидела ужасные проводы. Поруганный Лик Христа вызвал сожаление в ее девическом сердце. Оно не походило уже на лицо человека, а скорее на кусок полотна, загрязненного кровью, смешанной с плевками, потом и пылью. Сжалилась девушка: выбежала к Осужденному и чистым платком отерла Его лицо. Безмолвный страдалец не мог поблагодарить ее, но другим способом вознаградил Он эту услугу: на платке осталось изображение Лица Христа.

— У-у-у! — выла вся наша больница, которую, конечно, было слышно не только в Царстве Небесном, но и в аду. А корреспонденты, живя в Господнем Иерусалиме, продолжали волновать наши отзывчивые души: — Вот мы и на месте, где Богородица встретилась с Сыном. Ища Его здесь и там, вышла Она из одной боковой улицы и неожиданно оказалась с Ним лицом к лицу. Едва Его узнала — эту сплошную рану величиной с человека... Но этой Раной исцелился весь отравленный грехом род человеческий. Ни-

чего не сказал Он. Ничего и Она Ему не сказала. Но души их поняли и приветствовали друг друга. «Чадо Мое, — рыдала душа Матери, — весна Моя красная, как исчезла красота Твоя!..»

— Весна моя красная, — стонала и моя душа, — куда ты исчезла?..

И не договорил, дверь в палату открыл санитар ногой. Их было много, санитаров. Они схватили меня и стали вязать. Руки они мне на спине связали мокрым полотенцем — и повели в темницу.

ЖЕНИХ И НЕВЕСТА

Я думал, что они про меня забыли. Нет, пришли и молча, со мной не говоря ни слова, связали полотенцем руки мне и повели меня в темницу.

Странно: я, будучи наверху, думал, слыша, как кричат сумасшедшие, что это здесь, в темнице кричат, но здесь, оказывается, никого нету, — значит, это кричали под нами, на первом этаже.

Как скучно одному в темнице! Сперва не знаешь даже, что делать; ходишь туда-сюда, как зверь в клетке; каждый камешек, каждую щепочку поднимешь с пола и понюхаешь; куча мела осталась после ремонтников; на потолке горит электролампочка, сороковатная, не больше; и я подумал, хоть бы кого-нибудь привели еще сюда.

И — надо же! — слышу, ключ в замке ворочается; именно ворочается, как будто живой; это они — санитары! — привели человека; я так ему обрадовался, что говорю:

— Мерзавцы! Помогите, братец, мне.

— Били?

— Били, сволочи. Тебя как звать?

— Зови меня — Белозубый. Меня все так зовут.

— А я Серега; меня здесь прозвали Писателем.

— Да?

— Да. Как, бишь, тебя зовут?

— Белозубый.

— А почему?

Он разинул рот и показал свои белые зубы.

— Тебя за что сюда поместили? — спросил я.

— За Машуру. Старуху так в деревне зовут. Она — моя невеста.

— Старуха?

— Она, знаешь, как пьет? Как молодая. Месяц, представь такое, пьет, а потом остановится; как конь на скаку. И она ни грамма больше в рот. Село у нас большое; так она, представь, всех больных старух обслуживает. Слов она не бросает на ветер. Если сказала: надо это сделать, то уж «я скорее сдохну, говорит, чем обману старуху больную». Понимаешь? Я, говорит, как маршал Жуков, воюю за родное Отечество. Такая она, браток, кроткая.

— Кроткая? Пьяницы не бывают кроткими; это все равно, что про сумасшедшего человека сказать: он кроткий. Но спрашивается, почему же он сошел с ума?

— Согласен. А маршал Жуков — он, как ты думаешь, человек какой?

— Самодур.

— Нет, про него я слышал, говорят, что был он человек очень кроткий.

— Пусть говорят, язык без костей, может все сказать. Он, — я тоже это слышал от мужиков, которые побывали на войне, — пленных немцев клал на землю батальонами, Белозубый, и приказывал их танками давить. Вот он был какой, кроткий!

— Вот это, браток, похоже на правду. Но, правда здесь такая. Маршал про людей говорил так: «Люди не ангелы. Русские солдаты были не ангелы. Но, а фашисты, уж точно были не ангелы. Они уничтожили не десятки, не сотни, русских городов! А сколько они уничтожили сел, поселков и деревень? И что, им это надо все простить? Это Божий суд, товарищи!» — И ты, пожалуй, раз попал в сумасшедший дом из-за бабы-пьяницы, то уж не думай так, что она кроткая?.. Понял?

— Я и сам это уже понял.

— А как ты, говоришь, из-за нее попал?

— Мы смотрели телевизор. Знаешь, есть кинофильм «Царь»? Смотрел?

— Нет; не смотрел я, браток... Ничего фильм?

— Кому как, а мне он не понравился. Между прочим, и в этом фильме Царя делают кротким.

— Кротким? — удивился я. — Царь не может быть кротким.

— Ну, да. Правда он, этот кроткий царь, когда видит, когда народ, при выходе его из царских палат, падает на колени, — кричит: «Бунтовщики!» Потому что этому царю везде мерещатся бунтовщики. И он всех велит казнить, будь ты верный ему человек или неверный. А по-моему, это о чем-то говорит.

— Конечно. Это говорит о том, что царь такой — сумасшедший человек. Таких царей на Руси у нас было много. Возьми хоть бы и царя Петра Великого. Он ведь, тоже был сумасшедший?

— Да, конечно, Петр Первый был сумасшедший человек. Столько казнить людей! Но, друг, есть и такие люди, которым цари сумасшедшие по мысли, нравятся. Я так думаю. Но таких людей я называю собаками. Благо они, собаки-то, своему хозяину служат верно.

— Пример?

— Малюта Скуратов, Лаврентий Берия... Да таких преданных всегда было много.

— А Сталина, как ты считаешь, — спрашиваю я, дыша на руки, все еще ноющие, — сумасшедший?

— Конечно, сумасшедший. Загубить столько невинных людей! И за что, а, — почему он столько загубил людей?!

— Гордыня была у него такая. Мания величия. А народ наш кроткий; и, пожалуй, чересчур уж кроткий.

— Да, пожалуй, чересчур. Но это нас Бог так воспитывает.

— Да не Бог, — говорю, — а сатана нас воспитывает. Мы так далеко отошли от Бога, что встали давно мы на широкий путь. Это сатана нас на такой путь ставит.

— Ой, друг, не вспоминай сатану. А то сейчас сюда он явится. Ты не знаешь, сколько щас время? — спрашивает он, глядя на руку; вероятно, у него часы были на руке; но санитары, конечно, сняли. — Но, — говорит, — черт с ними; зато они у меня не нашли очень нужную нам вещь.

— Наркотик?

— Как ты догадался?

— Ты почему пугаешь дни и ночи? Это, друг, наркотики.

— Да, браток, как я попьешь их месячишко, пожалуй, и ты будешь путать дни и ночи. Сейчас одиннадцать ночи, говоришь?

— Ну, да, — говорю, — пожалуй, так. А чего ты такой встревоженный?

— Сейчас увидишь, браток. — И, сказав так, он закричал: — Вон она, Машура! Здравствуй, невеста!

Она, представьте такое, отвечает:

— Здравствуй, жених. А это кто? — спросила она про меня. — Что за человек; он в Бога верует?

— Этого я не знаю; ты сама у него спроси.

Но я не стал дожидаться ее вопросов. Я вскочил и, подбежав к куче мела, схватил мелок; и стал я чертить там, в темном нашем подвале, круг с крестами. Белозубый: ха-ха-ха! Но мне было не до смеха; у меня, чувствую, волосы на голове поднялись дыбом; и я — я пополз; ползком-ползком; потом я вскочил — и бегом по кругу с крестами, начерченными мной, знаете, почему? Потому что в голове у меня всегда мысль такая присутствует: если к нам на землю прилетели существа потусторонние — инопланетяне, то надо, братья и сестры, перекрестить и лоб, и все пространство. Это, знаете, как у Гоголя; а у него все, что написано, это не сказка. Нет, это все было! Словом, всегда готовый к защите от пришельцев, я, схватив кусок мела, очертил круг (такая черта — от чёрта спасение!) и наставил много крестов, чтобы стать для них недоступным. Истинный Бог, не вру я. Они меня так преследовали, что я думал: сейчас, сейчас они меня достанут! Его невеста предлагала мне сдать, говоря: «Все равно ты будешь в аду! Но если ты сейчас, кум, добровольно согласишься, то я тебе гарантирую местечко в аду тепленькое».

— Вот тебе, кум! — показал я кулак. — Хотя, — захохотал я, — если перепрыгните черту, пожалуй, я еще подумаю.

Они стали прыгать через нее, через черту с крестами; но — гляжу — она и он (жених и невеста!) заорали благим матом. Почему? Потому что никакая потусторонняя сила не может одолеть крест Господень.

Они начали применять еще разные хитрости. Вдруг, смотрю, появилась баба-яга на метле и избушка на курьих ножках. А я что должен делать? Ну, конечно, надо идти туда, в избушку; благо баба-яга говорит ласковым голосом:

— Я тебя, кум, зажарю на сковороде в горячей печи — как в геенне огненной — и съем. Благо, кум, грехов у тебя много. Но если я тебя съем, то и все грехи твои съем. И ты снова будешь безгрешный.

— Если съешь, — отвечал я. — Но ты сначала съешь, а потом хвались.

— Смышленный, блин, попался! — сказала она жениху. — Ты что, посоветуешь, а, Белозубый?

И она говорит коту: «Выцарапай глаза ему!»

— Не говори так, — сказал Белозубый.

— Почему? — сказала баба-яга.

— Потому; или ты не видишь, какой он? Он так наподдаст ему, что только ты и увидишь его, кота своего!

— А я ему дам ветчинки.

— Зачем? — говорит ей жених. — Он сожрет ее, — это ей говорит жених про меня, — еще и спасибо тебе скажет; благо им, больным сумасшествием, ветчину не дают в больнице.

Но я подумал: «Вот бы на обед, действительно, дали нам на Пасху ветчины. Вот тогда, пожалуй, подумал бы, как и кому продать свою душу».

Гляжу: я в избушке; но она стала вдруг просторная, как Зимний дворец в Санкт-Петербурге, представьте такое!

Я, однако, выбежал из этого дворца голографического; как вдруг, чувствую, кто-то трется о мою ногу. Кто? Кот. Да какой он здоровый; не меньше, чем кот Фагот у Булгакова.

— Чего тебе, а, котяра? — спросил я.

— Ветчинки бы, Серега, покушать, — кот мне отвечал человеческим голосом.

Гляжу, а ветчина вот лежит, рядом. Я говорю ему:

— Да вот же она? Бери и ешь!

— Нельзя.

— Почему?

— Потому что она, Серега, отравленная; но если человек ее возьмет в руки и перекрестит с молитвой «Отче Наш», то она снова делается съедобной.

— Я, — говорю, — могу это сделать. — И, перекрестив ее, прочитал молитву «Отче Наш». И подаю ему: — На, ешь!

— Нет, сначала ты съешь кусочек сам.

— Зачем?

— Так надо, Серега.

Хитрый какой, однако; но он, стало быть, это слышал наш разговор про то, как у царя Ивана Грозного, и у Петра Великого, и у нашего Иосифа Виссарионовича Сталина были такие вот люди, специально они для того, чтобы попробовать все кушанья.

Я попробовал и говорю:

— Вот, как видишь, я живой.

— погоди, — говорит, — через некоторое время мы посмотрим, будешь ли ты живой.

— Что, — говорю, — мы тут год будем ждать?

— Может, и так.

— Нет, — говорю, — я не могу так долго ждать.

— Почему?

А я и отвечать не знаю что. Что надо говорить в таком случае?

— Ешь, — говорю, — кушай, мой миленький.

— Ой, какой ты ласковый. Я ведь тут сколько времени стою, но не видал я давно человека такого ласкового. Слушай, милый, — он тоже ласково говорит, — я тебе за доброту твою, радость моя, дам совет хороший. Беги ты отсюда скорей. Но! На выходе еще раз перекрестись у ворот; они такие тяжелые, что их ты не сможешь один отворить. Ты сделай вот как. На проходной там, радость моя, увидишь человека, похожего на собаку. Голова у него такая, как у собаки. Но ты не думай про него плохо. Он, хоть и похож на собаку, но человек хороший. Если ты и ему дашь покушать, — на-ка вот, отдашь ему, это пусть хоть и взятка, но когда она от доброго человека, как ты, это уже и не взятка.

— Понял, мой хороший, — сказал я.

И бегом побежал к проходной; там, увидев собаку, похожую на человека, или человека, похожего на собаку, — благо такая похожест в жизни всегда есть, — я дал ему ветчинки и говорю:

— Ты, дружок, не подумай, что она отравлена? Вот гляди! — И я ее, ветчину эту, всю съел. Гляжу, остался кусочек грамм на пийсят. — Прости, — говорю, — мой милый. Я так увлекся, что всю ее и слопал, подлец.

— Ничего, — говорит он, — и за это спасибо. Я сколько работаю у бабы-яги на проходной, никогда я не видел человека такого, чтобы он говорил ласково.

— Открой мне, радость моя, ворота.

— Да я и рад бы, мой хороший, тебе открыть. Но они без масла не открываются.

— А где масло?

Он посмотрел направо-налево: никого рядом нету? И говорит:

— Вон, видишь, бочка? В ней масло.

— Конопляное?

— Да. А почему ты знаешь?

— А я чувствую: запах такой, как от конопляника.

— Надо же, — говорит, — какой у тебя чуткий нос. Прямо, как у собаки на границе. Ты где служил?

— На границе.

— Ясно. Вот, ты того масла подлей под пяточки воротам. И ты легко сам откроешь их. Но! Когда ты выйдешь из ворот, на те-

бя набросится баба-яга, говоря: «А за наркотики душу свою ты отдашь мне?» — «Да, скажи ей, я отдаю, бабушка». И она тебе даст таблетку, и ты ее съешь, но у тебя закружится голова. Ничего. Это даже хорошо. Тебе станет очень хорошо! И ты жди теперь, когда запоет петух.

— Ку-ка-реку-у! — запел петух.

Я проснулся. Голова у меня болит. Потому что он, Белозубый, сумел как-то пронести наркотик. Мы наглотались этой дури. Так наглотались, что когда пришли за нами санитары, мы орали в два голоса: «Валенки, валенки: не подшиты, стареньки».

ПАСХАЛЬНЫЙ УЖИН

1

Белозубый. Он интересный человек. Представьте такое: он пробыл в нашей палате только две недели, но перезнакомился со всеми людьми в больнице, выяснив: и как звать, и кем работал, и есть ли дома нянька или собака. Даже наш профессор Казанский ему дал свои координаты. Белозубый, по выходе из больницы, сразу поехал к его жене Елене Веньяминовне. Она, увидав его золотые зубы, так сразу и растаяла. Ей лет тридцать, потому что она вышла за профессора, когда он был в самой громкой своей славе, думая, ну вот теперь-то она поживет, как в раю; она никак не думала, что профессор может сойти с ума.

— Проходите, — сказала она; но когда Белозубый проходил, он случайно коснулся ее молодой груди, про себя думая: «Она молодая и я тоже не старый!» — Вы от мужа?

— Да. Александр Исаевич передает вам большой привет.

— Спасибо, — и она пригласила Белозубого в свои шикарные апартаменты. Пять или шесть комнат он насчитал, когда она водила по шикарным своим апартаментам, показывая: то какие-то паруса корабельные на море и на суше, то Китай с великой своей китайской стеной, то Англию с битлами, среди которых она красуется, то в Африке с тиграми и львами.

— Ой, Боже мой, — сказал Белозубый. — Вы самодостаточная женщина!

— Самодостаточная? — удивилась она!

— Конечно, — сказал Белозубый. — Мне ваш муж про вас говорил, что вы самодостаточная женщина.

— Да, — удивилась она. — А почему он так говорил?

— Мы беседовали с ним о науках. И я у него спросил, как он считает: МГУ — это хороший университет? Он сказал: да, это самодостаточный университет. Так говорит, и считает, и моя супруга Елена Веньяминовна. А почему, спросил я. А потому что ответил он, моя супруга очень самодостаточная женщина.

— Он так сказал?

— Да, Елена Веньяминовна.

— Тогда, — сказала она, — поедemте к моей подруге в гости. Она стала звонить своей подруге по телефону, что у нее в гостях ученый, большой ученый. А та ей отвечала, чтобы она немедленно привезла его, Белозубого, к ней.

Они взяли такси и поехали к ее подруге.

— Вот он, — представила Елена Веньяминовна Белозубого, — этот ученый.

— Здравствуйте, — поклонился ей Белозубый. — Я рад с вами познакомиться. Он взял ее руку и поцеловал.

— Проходите, — сказала она. — У меня гости, но пусть это вас не беспокоит. А звать меня Елена Васильевна.

Они прошли в еще более шикарные апартаменты, чем у Елены Веньяминовны. Так что Белозубый подумал: «Вот это, действительно, можно будет познакомиться!» И он стал знакомиться.

— Я Виктор, — представился он.

— А как ваше отчество? — спросила Елена Васильевна.

— Я еще совсем молодой человек. Елена Васильевна, можно вас на минуточку.

И он пошел на кухню. «Надо же, подумала про него Елена Васильевна, он все уже знает: и где у нас кухня, и где туалет».

Она вышла к нему в коридор, и он ей говорит:

— Елена Васильевна, у меня сегодня день рождения, и нельзя ли нам что-нибудь сообразить?

— Но ведь это же денег стоит? — сказала Елена Васильевна.

— Вы о деньгах не беспокойтесь, — сказал ей Виктор, улыбаясь. Ведь вы же знаете, что я бизнесмен. Для меня деньги не играют никакой роли. У вас под домом — ресторан. Шеф-повар, — он ей снова улыбнулся, — мой друг. Сейчас я ему позвоню, и он пришлет нам все, что мы пожелаем.

— Но это будет стоить больших денег. Вы видели, сколько здесь гостей?

— Да, я посчитал. Десять человек.

Надо же: он уже посчитал сколько человек! Он тут же стал звонить своему другу шеф-повару. И буквально прошло каких-нибудь минут пять-семь, как уже в дверь позвонили. Она пошла открывать дверь — а там уже стояли официанты с подносами.

— Мы выполняем заказ Виктора.

Они прошли в комнату и сервировали стол. Официанты удалились, а все гости, видя такое шикарное угощение, стали садиться за стол, чтобы отпраздновать день рождения Виктора. А Виктор не садился, он начал прочищать горло, говоря:

— С вашего позволения я вам спою свой любимый романс. «Дай Бог» — на слова Евгения Евтушенко, а музыку написал Раймонд Паулс.

— Когда он закончил петь, в комнате стояла такая тишина, что можно было подумать — человек родился.

— Гениально! — сказал Анатолий Тимофеевич, профессор, доктор биологический наук. Да они и все тут были не простые люди, а ученые, со степенями.

А наш именинник, видя, какое он произвел впечатление, достал свой дипломат, который он поставил под стол и, вынув из него рукопись, сказал:

— Господа, я вижу, что вы люди здесь все знаменитые и очень талантливые. Поэтому, позвольте мне прочитатъ вам небольшой рассказ. Страшно хочется узнать ваше мнение.

2. Легенда о трех лучах

Белый, голубой и красный лучи сияли однажды вместе с остальными лучами солнечными. Но до времени захода солнца эти три так привязались к определенному месту на земле, что не успели вернуться домой вместе с остальными и оказались отрезанными от солнца. Когда же солнце зашло, они испуганно переглядывались, видя стену мрака и слыша из-за горы пред-
речение солнца:

— Забудьте посылаю на вас, да будете неизвестны друг другу. И стало так. Лучи скрылись в земле и забыли друг о друге.

* * *

Летели дни, летели ночи, а остальные солнечные лучи с интересом вглядывались в землю, не отыщут ли троих забывчивых братьев своих, но не находили их. Да вот как-то утром посмотрели они и обнаружили, что белый, голубой и красный лучи стали политическими лозунгами: белый назвался — Свобода, голубой — Равенство, а красный — Братство. И они друг друга не узнавали, вот ведь что интересно!

При этом Свобода, товарищи, ненавидела Равенство: так же, как Равенство ненавидело Братство.

И случилось так, что Свобода подсыпала яду в мед, предложив его выпить Равенству, а тот вкусил и дал Братству. Оба они пали замертво. Тем временем Свобода полила маслом царский дворец и подожгла его. Когда же ее уличили и стали преследовать, она, смятенная, забежала в то помещение, где уже лежали два мертвеца, и сгорела вместе с ними, ей Господи так.

Проходили дни, проходили ночи, а остальные солнечные лучи с интересом вглядывались в землю, не увидят ли, что случилось с троими забывчивыми братьями их, но не видели их. Да вот как-то утром посмотрели и обнаружили, что Свобода, Равенство и Братство опять вместе: они опять живут в Париже, но не узнают друг друга.

Да, они друг друга не узнали. И ненавидела Свобода Равенство так, как Русское братство ненавидит Свободу Франции. И случилось так, что червь изгрыз всю сердцевину лозунга Равенства, тогда и Свобода засохла в Париже, и почему-то в России опять не стало Братства, ей Господи так.

Бежали дни, скользили ночи, а остальные солнечные лучи с интересом вглядывались в землю: не увидят ли, что далее происходит с тремя забывчивыми братьями их, но не находили их. Да вот как-то утром посмотрели и обнаружили их, что белый, голубой и красный лучи опять красуются на земле: белый — опять Свобода в Париже; голубой — опять Равенство в Германии, а красный — опять Братство в России.

И они друг друга не узнавали. И ненавидела Французская Свобода Равенство Германии, так же как Русское Братство Французскую Свободу. Однажды Свобода обвилась вокруг Равенства и задушила его, а Русское Братство бросилось на них и растерзало. И упали они все трое замертво на дорогу, и множество колес прошло по ним, растерев их в пыль.

Щебетали дни, базили ночи, а остальные солнечные лучи с интересом вглядывались в землю, не увидят ли, что далее происходит с тремя забывчивыми братьями их, но не находили их. Да вот как-то утром посмотрели и обнаружили, что белый, голубой и красный лучи опять красуются на земле: белый — опять Свобода в Париже; голубой — Равенство в Германии, а красный — Братство в России.

И они, конечно, друг друга не узнавали. И ненавидела Французская Свобода Равенство Немецкое, так же как Русское Братство ненавидело их обоих. И случилось так, что Равенство завоевало всю Европу, и стало говорить устами Гитлера: Германия превыше всего, но Русское Братство, так успешно воевало с фашистами, и бравым маршем прошло по Европе, ей Господи так.

Спешно проносились дни, спешно проносились ночи, а остальные солнечные лучи с интересом вглядывались в землю, не увидят ли, что далее происходит с тремя забывчивыми братьями, но не находили их. Да вот как-то утром посмотрели и обнаружили, что белый, голубой и красный лучи опять красуются вместе на земле: белый — Свобода в Париже, голубой — Равенство в Германии, а красный — Братство в России.

И они друг друга не узнавали, вот ведь что интересно!

Мораль: нельзя отрывать от солнца, а тем более — от Солнца с большой буквы.

3

Первый отреагировал на читку легенды профессор Анатолий Тимофеевич:

— Эта ваша миниатюра, Виктор, та еще штучка. И вот почему я говорю так. Тут религией пахнет.

— Почему? — удивился Виктор. — Почему религией?

— Вот теперь вы меня послушайте. Как это ужасно для Бога — стать человеком, облечься в человеческое тело и сойти жить среди людей, чтобы их учить, направлять и спасать.

— Анатолий Тимофеевич, да разве я об этом писал, как вы говорите, миниатюру?

— Послушайте меня. Вы все поймете после, когда я предложу представить себя гусеницей или пауком, или змеей. Вот представьте, что вам кто-то говорит: нужно, чтобы ты человек, стал гусеницей, облечься в тело гусеницы и пошел жить среди гусениц, чтобы их учить, направлять и спасать или: нужно, чтобы ты, человек, стал пауком, облечься в тело паука и пошел жить среди пауков, чтобы их учить, направлять и спасать. Или: нужно, чтобы ты, человек, стал змеей, облечься в тело змеи и пошел жить среди змей, чтобы их учить, направлять и спасать. Представьте, что вам надлежит отказаться от человеческого облика, покинуть родных и друзей, оставить библиотеки, пение и музыку, выйти из своего хорошо построенного, украшенного и освещенного дома и поползти, как гусеница, среди других гусениц по траве или начать пресмыкаться, как змея, среди других змей в пыли, или начать плести свои сети для мух, как паук, среди других пауков. И еще раз представьте, что вы станете гусеницей, от которой все люди отворачиваются как от мерзости; или станете змеей, от которой все люди и все животные отворачиваются с ужасом; или станете пауком, которого метлой, как нечистоту, выметают из помещения. А при всем этом, представьте, что вы остаетесь с человеческим сознанием, То есть и в виде гусеницы мыслите и чувствуете совершенно как человек; и в виде змеи мыслите и чувствуете совершенно как человек; и в виде паука мыслите и чувствуете совершенно как человек. Не правда ли, уже от самой мысли о такой ужасной метаморфозе у вас кровь стынет в жилах? Ибо потерять человеческое сознание и стать гусеницей, и жить среди гусениц с сознанием гусеницы — это еще куда ни шло; и потерять человеческое сознание и стать змеей, и жить среди змей с сознанием змеи — это еще куда ни шло; и потерять человеческое сознание и стать пауком, и жить среди пауков с сознанием паука — это еще куда ни шло. Но остаться при полном и чистом человеческом сознании, при человеческих мыслях, чувствах и желаниях, а быть гусеницей, змеей или пауком и жить среди гусениц, змей или пауков — от этого действительно у человека стынет кровь в жилах. Пожалуй, вечная смерть значительно лучше, нежели такое? Разве что лишь необъяснимая любовь (безумие, сказали бы все люди на земле) к гусеницам, змеям и паукам могла бы вызвать у какого-нибудь человека желание стать гусеницей или змеей, или пауком, чтобы их непосредственно — как равный среди равных, как пресмыкающийся среди пресмыкающихся, как гад среди гадов, — учить, направлять и спасать. Погибнуть в сражении за родину или броситься в огонь за своего друга — неизмеримо меньшая жертва

по сравнению с такой ужасной метаморфозой; нет, это даже не жертва, а лишь удовлетворение самолюбия, по сравнению с такой ужасной метаморфозой.

Но все же такая ужасная метаморфоза — ужас меньше, в сравнении с тем ужасом, когда Бог становится человеком, чтобы людей учить, направлять и спасать. Ведь в Своем величии Бог несравнимо выше по отношению к человеку — к такому, каков он сейчас, попавшему в сети закона, — нежели человек по отношению к гусенице, змее и пауку. Поэтому апостольская проповедь о Боге, явленном во плоти, была «для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие». Естественно, потому что люди в своем униженном положении инстинктивно чувствуют непреодолимое расстояние между ними и Богом. Человек значительно ближе и родственнее гусенице, змее и пауку, нежели Бог человеку. Наибольшую часть своей жизни человек проживает так же, как и гусеница, змея, паук: питаясь, пугаясь, сражаясь и размножаясь. Поэтому нисхождение человека до уровня гусеницы, змеи или паука было бы несравнимо меньше, нежели нисхождение Бога до уровня человека. Ведь гусеницы, змеи, пауки — дети этого мира, как и человек, — живут под теми же законами, что и человек; приходят и проходят так же, как и человек. А Бог — не от мира сего; Бог не живет по законам; и Бог не приходит и проходит так, как дети этого мира и как весь мир.

Поэтому мы и говорим, что этическая проблема воплощения Бога труднее, чем метафизическая. Метафизическая проблема — это лишь вопрос о возможности, а именно: может ли Бог стать человеком? Почему же нет? Что невозможно для Бога? Если желает Бог может стать и деревом, и камнем, и пчелой, и ягненком. Если желает, Бог может стать и человеком. Если желает! Здесь появляется проблема этическая. Желает ли Бог стать человеком? Бог может пожелать умалиться до человека, низойти до человека при наличии у Него двух свойств, неизмеримо более сильных по сравнению с человеком, а именно: если Он любит человека больше, чем сам себя человек может любить, и если милость Его и храбрость Его превосходят милость и храбрость человека. Если же у Бога нет этих свойств, тогда Он не станет умалиться до человека, нисходить до человека. Но из Священного Писания очевидно, что Бог имеет эти свойства в полной мере. Человеколюбие Божие — главный мотив всего Нового Завета; человеколюбие Божие — основная опора апостольской проповеди; человеколюбие Божие или Бог как Человеколюбец — предмет воспевания во всех церковных книгах, в Минеях, во всей псалмах и молитвах. Самый безграмотный человек, который из богослужения ничего не запоминает, так или иначе, запомнит многократно повторяемые слова: Бог Человеколюбец. И во-вторых, как из Нового Завета, так и из всей истории Церкви — и ветхозаветной, по отношению ко всем народам на земле, и новозаветной, — очевидно, что Божия милость и Божия храбрость не превзойдены и недостижимы для человека, что

даже самая большая милость и самая большая храбрость человека на земле — не более, чем тень Божией милости и Божией храбрости. Собственно, в сфере закона никто не может называться ни милостивым, ни храбрым. Бог милостив до нисхождения в гусеницу; Бог храбр до самопожертвования на кресте.

И вот теперь начался разговор такой шумный, что наверняка его было слышно на небесах — в Царстве Небесном и наверняка там говорили так:

— Вот наконец-то и на земле поняли, что Бог мог и хотел стать человеком, облечься в человеческую плоть и оказаться среди людей, чтобы их учить, направлять и спасать!

— Да неужели моя легенда так проняла вас, Анатолий?

— Тимофеич — я!

— Простите мне мое амикошонство.

— Ничего. Я хоть и почти втрое вас старше, но говорю вам, Виктор, что ваша легенда потрясла меня.

— И меня потрясла, — сказал Евгений Петрович, тоже профессор и тоже доктор наук.

— И меня потрясла, — сказал Николай Иванович, тоже профессор и тоже доктор наук.

— И меня потрясла, — сказал Иван Николаевич, тоже профессор и тоже доктор наук.

И теперь ему, Виктору, стало видно, что он решительно всех потряс в этом доме.

— Свобода, Равенство и Братство, — стали они говорить шумно, — это самое подлое дело! Это и есть то, что называется посягательство на Бога.

— Кстати, — сказал Анатолий Тимофеевич, — вы знаете, что теперь в мире идет будто бы кризис. Я говорю «будто бы», потому что кризис — это греческое слово и означает *суд*. В Священном Писании это слово употреблено много раз. Так, Псалмопевец говорит: *Потому не устоят нечестивые на суде* (Пс. 1,5). В другом месте: *Милость и суд буду петь Тебе, Господи* (Пс.100,1). Сам Спаситель сказал, что *Отец... весь суд отдал Сыну* (Ин. 5,22); опять: *Ныне суд миру сему* (Ин.12,31). Апостол Петр пишет: *Время начаться суду с дома Божия* (1 Пет. 4,17). Заменяю слово *суд* словом *кризис* и читаю: потому не устоят нечестивые в кризисе. Милость и кризис пою. От Господа кризис каждому. Теперь кризис этому свету. Время да начнется кризис от дома Божия.

До теперешнего времени европейские народы употребляли слово *суд* вместо слова *кризис*, когда их постигало какое-нибудь несчастье. Сейчас новое слово заменено старым, понятное — непонятным. Когда была засуха, говорили: «Суд Божий!» Война или мор — «Суд Божий»; наводнение — «Суд Божий»; землетрясение, саранча и другие беды — опять «Суд Божий». Это значит: кризис от засухи, кризис от наводнения, от войны, от мора и т.д. И теперешнее финансово-экономическое неблагополучие

народ понимает как суд Божий, не говоря «суд», но «кризис». Чтобы беда была увеличена непониманием. Когда говорилось разумное слово *суд*, известна была и причина, по которой пришла беда. Известен был и Судья, допустивший беду; наконец, известна была и цель допущения беды. Как только стало употребляться слово *кризис* — никто не может объяснить, ни почему, ни от кого, ни для чего. Этим только и отличается нынешний кризис от кризиса, происходящего от засухи, наводнения, войны, мора, саранчи или других напастей.

— А какова причина нынешнего кризиса? — спросил Виктор.

— Ты спрашиваешь меня о причине настоящего кризиса или теперешнего суда Божия? Причина всегда одна и та же — самодостаточность этого мира или, иначе говоря, богоотступничество людей. Грех богоотступничества породил этот кризис, и Бог допустил его, чтобы люди опомнились, и вернулись к Нему... Современным грехам — современный и кризис. И действительно, Бог использовал современные средства, ударив по современным людям: ударив по банкам, по биржам, по финансам, по валюте. Это называется: Он опрокинул столы менял по целому свету, как некогда в Иерусалимском храме. Произвел небывалую панику среди финансовых воротил. Поднимаются, борются, волнуются, пугаются. А разговоров-то, разговоров-то сколько, вокруг этого пресловутого кризиса. А все это — чтобы только гордые головы европейских и американских мудрецов пробудились, опомнились. Лишенные материальной обеспеченности больше думали бы о своих душах, признали бы свои беззакония и поклонились бы Богу Всевышнему, Богу Живому.

Долго ли будет продолжаться кризис? Пока не переменится дух людской, пока гордые виновники этого кризиса не преклонятся перед Всемогущим, пока люди не догадаются перевести непонятное слово *кризис* на свой язык и со вздохом и покаянием не воскликнут: «Суд Божий!»

Говори и ты, Виктор, «Суд Божий» вместо *кризиса*, и все тебе будет ясно.

4

После Анатолия Тимофеевича говорил Евгений Петрович. Он сказал слово о свободе. Он начал так.

«Ты, Виктор, молодец. Ты ударила точно, как курица по зерну. Конечно, разве может быть свобода — там, где в жизни управляет закон? Никак. Потому что закон есть большой противник свободы.

Начну с детей. Могут ли дети быть свободны от своих родителей? Никак. Виктор, если дитя свободно от своих родителей, то кто есть этот ребенок? Хулиган.

Виктор, видел ли ты солдат на войне, когда они, услышав голос своего командира, который с наганом в руке кричит: “Вперед, все на фашистов!” и целое войско солдат поднимается и бежит на фашистов. А почему? Да потому, что нет свободы у солдата, как, впрочем, и у офицеров, и у генералов, и даже у самого маршала Жукова. Ведь он тоже был не свободен, он подчинялся Верховному Главнокомандующему — товарищу Сталину.

Бригадир в колхозе говорит колхозникам: “Завтра все на свеклу!” И завтра все колхозники идут на свеклу. Но почему все? Да потому, что практически у всех колхозников нет ее, свободы, о которой им на колхозном собрании говорит председатель колхоза с трибуны: “Товарищи! Наше государство — самое свободное в мире”. И ему верят, потому что попробуй только ему, председателю, сказать: “Я что-то сомневаюсь, что наше государство — самое свободное в мире”. Он такой устроит нагоняй человеку такому, у которого язык так говорит о государстве, что он, де, сомневается. И уже после этого всё, человек перестанет сомневаться в том, что наше государство — самое свободное в мире!

Но слово — оно, действительно свободно; оно может вылететь, и его не поймаешь. Почему? Да потому, что оно свободно.

Вот почему я говорю, что человеческому уму остается не понятно: как это Слово может быть Богом? Конечно, именно потому человеческому уму это не понятно, что про всех людей на земле можно сказать: они лгут, когда говорят, что будто бы они верят в то, что Слово — Бог. Чтобы верить в это, надо быть настолько свободным, что человек, читая Евангелие, должен сам рассуждать... свободно. Но, спрашивается, кто может из верующих людей рассуждать свободно? Священник? Он тоже не свободен, скажем, хотя бы и от владыки.

И вот почему, господа, я, читая Маркса — о том, что все еврейские женщины самодостаточны, поставил на той странице галочку. Потому что никто из людей не может быть самодостаточным, да, да, кроме Бога, Который пошел на крест как раз именно потому, что Он свободный настолько — практически, господа, даже от мыслей о свободе — именно, именно потому, что Он пришел на землю, ведь, для того, чтобы сделать всех людей свободными. Аминь».

(Окончание в сл. номере)

Евгений СТЕПАНОВ

/ Москва /



* * *

ты не стала богиней
моей грешной души
я уехал в румынию
как кирилл ковальджи

а в румынии кони и
хороводы цыган
обсуждают бегонии
что сказал им каштан

а в румынии девушки
и покраше тебя
и зеленые денежки
я швыряю шутя

* * *

Леночке Зейферт

год ускакал как зеленый кузнечик
век-волкодав превратился в щенка
я понимаю что хвастаться нечем
я понимаю что жизнь коротка

но вспоминаю что было со мною
пять тысяч лет или больше назад
и говорю с вековой сосною
точно мичуринец или юннат

и говорю с тем далеким мальчишкой
 что не родился на свете пока
 и точно зэк говорю перед «вышкой»
 все перемелется будет мука

Я бы хотел

я бы хотел писать стихи как Леонид Губанов
 захлебываться в словах
 тонуть в метафорах
 радоваться буйству красок

но я так не умею

я бы хотел писать стихи как Борис Слуцкий
 чеканить слова как шаг
 приравнивать их к штыку
 вбивать точно гвозди

но я так не умею

я бы хотел писать стихи как мой лучший друг
 Юра Милорава

нарушать синтаксис
 сдвигать смыслы
 заставляя слово звучать по-новому

но я так не умею

мне остается писать так как умею я сам

Памяти Миши и Татьяны

отгорели ушли отлюбили
 у(при)вела путеводная нить
 по какой современной мобиле
 мне товарищи вам позвонить

там наверное солнце и розы
 там наверное тишь благодать
 а про здешние метаморфозы
 я теперь предпочел бы молчать

помолчим пообщаемся молча
хоть земные слова хороши
но милей электронная почта
электронная почта души

Спой мне песню

неужель пролетела задаром
эта жизнь что была хороша
спой мне песню сережа захаров
чтоб моя отдышалась душа

спой мне песню про степи и поле
про славянско-хазарскую русь
про хмельное как воля раздолье
от которого не отрекусь

спой мне песню захаров сережа
про судьбу-королеву свою
что корежила не искорежила
я неслышно тебе подпою

спой мне песню про зону баланду
про чугунного времени кладь
о тебе с пониманьем балладу
я хотел бы мой друг написать



Виктор САНЧУК

/ Нью-Йорк /

Эх бы нам — вдоль реки...

Был у меня лет десять назад в Москве знакомец, родом из страны Аджария, где надо полагать, множество мудрых людей проживает (даром, что севший вскорости, кажется, за какие-то полубандитские делишки, чем, впрочем, в то время едва ли не все постсоветское народонаселение не брезговало).

В каком-то разговоре угостил он меня такой, запомнившейся с тех пор фразой: «Неплохой ты, Витек, парень, г... только из тебя еще не отжато. Отжимать, отжимать надо...».

Сейчас мне это вспомнилось, потому что поймал вдруг себя на искушении: двинуть, — в смысле, прямо вот тут, сидя за компьютерной клавиатурой, — куда-нибудь в сторону мерзавой литературы, этого самого, по словам поэта, «всего прочего»; начать пласти что-нибудь про долгую путь-дорогу в ночи, баранку, мокрый асфальт, свет фар встречных машин, шорох шин, и, стало быть, — многозначительные, наплывающие сюжетобразующие воспоминания. Но — надобно отжимать! Хотя действительно про дорогу, уже не в виде планетарных обобщений, а в части собственного на ней пути сказать когда-нибудь все-таки придется.

Молодым человеком мне в 1978-м году посчастливилось попасть на север Дальнего Востока и несколько месяцев прожить с партиями геологов в горных районах верховий рек Охоты и Юдомы (север Хабаровского края и Якутия). Впечатления, произведенные тем миром на девятнадцатилетнего советско-московского недоросля, в общем-то, случайно и непонятно как туда занесенного, — искренне полагаю, что не обошлось без Промысла свыше), — остались для меня одними из самых сильных на всю произошедшую в дальнейшем жизнь. А, может быть, в значительной степени ее, дальнейшую жизнь, и сформировавшими.

Я родился и вырос в Москве. Можно вспомнить и представить себе — всю тухлятину семидесятых годков XX века в России, в ее к тому же эпицентре, именно — в голове — столице СССР, с которой, как известно, все и начинает гнить... Распространяться об том не

буду, так как она (тухлятина) и в памяти моих сверстников достаточно свежа (вот ведь — грустный каламбур получился), да и в многочисленных литературных и мемуарных опусах — памятниках эпохи прописана.

Но исторические ситуации и бытовая среда — одно дело. Есть же, кроме эпохальных, поколенческих и прочих, социумом обусловленных обстоятельств, еще и просто биологические законы, которым подчиняется всякий, родившийся на Земле. И даже еще, — ежели кто верит, — и вневременные, метафизические, так сказать, привязки.

Я был в ту пору страстно, что называется, всей душой, то есть абсолютно, а к тому же и взаимно и счастливо влюблен. В Москве незадолго перед тем у меня родилась очаровательная дочка. Обозовалась, как сказал о том Маяковский — «маленькая, да семья».

Но тут-то и возникло известное противоречие между открытым, вечным и прекрасным миром в сознании, который, на мой взгляд, просто не может не ощущать, не приветствовать своей жизнью и не желать объять собой едва взрослеющий полноценный мужчина, — и той самой упомянутой подпорченностью московского социума в его рутинной, беспросветной повседневности.

И вот моей семейственности, то есть тому, что в принципе, в здоровой ситуации призвано быть как это — «спасительной гаванью», «убежищем в окружающем океане жизненных катаклизмов и невзгод» — «ячейкой», короче, «общества», суждено было теперь превращаться именно в такую «ячейку», но — о, ужас! — именно данного общества-социума. Это-то, наверно, и было основным побудительным мотивом моего побега на Дальний Восток (что, впрочем, внешне было обставлено необходимостью заработка средств на содержание как раз того самого семейства).

В те времена в горах хребтов Черского и Верхоянского проводились только первые геологические съемки, иными словами, до этого — вообще никто толком не знал, что там, в земле, внутри есть, ну, разве что лишь так — приблизительно, исходя из общих предположений. Да и первую-то географическую съемку — то есть обыкновенную, хоть какую обычную карту, тоже сделали всего за несколько лет до того. Фактически это оставалось тогда одним из немногих, ну, может, наряду еще с Амазонской сельвой и парой других каких мест на планете, действительных белых пятен.

Но здесь, говоря о гео- а, стало быть — и картографии, нельзя не упомянуть следующего. Советская власть, как известно, довольно активно на протяжении своей недолгой истории занималась исследованиями и потугами освоения огромной территории страны, в том числе слабо заселенных и неизведанных областей севера и востока Евразии.

Как поведали мне еще в начале моей взрослой жизни некие причастные ко всем этим географическим-геологическим тайнствам друзья, русская, а позже советская картография, еще с дав-

них, до всяких даже аэрокосмических времен (съемки местности) традиционно была очень высоко класса и отличалась большой точностью и достоверностью.

При этом, однако, вся картография СССР занималась и побочным — намеренно дезинформационным делом. То есть выпускала (и запускала в широкое пользование — в продажу, например) специально искаженные карты и планы. Изначально, наверное, эти подделки, в духе ранне-советской шпиономании предназначались для дезориентации страшных внешних врагов в случае их вторжения на родимую нашу землю.

К моменту моей юности подобная хитроумность в деле защиты рубежей и содержимого обширной страны от внешних агрессоров смысла уже никакого не имела, в первую очередь потому, что, вследствие повсеместно развившейся аэро- и космической фотосъемки всей поверхности планеты, во всем мире уже издавались и были распространены отличные карты любых масштабов в том числе и данной территории.

И сплошь и рядом, — опять-таки по многочисленным рассказам очевидцев, — доходило до курьезов, когда при въезде на территорию СССР иностранных граждан, у них изымались и страшно секретились карты этой самой территории, бывшие (находившиеся) в закордонье просто в обычной продаже. Но налаженная советская секретно-промышленность продолжала работать, штамповать бесконечные оттиски «дезы», выкидывая ее в широкую внутреннюю продажу — в пользование лохам-туристам и прочим гражданам (всегдашним потенциальным, понятное дело, врагам внутренним).

И на всех схемах, картах и планах местности, доступных для обывателя в советское время, все действительные масштабы, расстояния, углы и прочие параметры физической реальности не то, чтобы были упразднены, но были заведомо искажены, изменено было само взаимоотношение между всеми ними! Но умиляет и прямо-таки восторгает автора данных строк не сам этот факт, а та гениальная простота технологии, с которой было воплощено сие дезинформационное дело!

Представь себе, это же очень непросто — всю-всю видимую (не только же ведь тобой, но и, что называется, объективно) окружающую действительность так исказить и запутать, чтоб с одной стороны, на плане изобразилась бы полная туфта, с другой же — при взгляде на нее и при ее сравнении с торчащей реальностью, она бы для не слишком искушенного пользователя казалась вполне даже приемлемым правдоподобием.

Но выход, причем, по-моему, — повторяю, — в своем роде гениальный, был найден!

Точный, привязанный к верным координатам план каждого отдельного участка земной поверхности, то есть та самая начальная топографическая карта в определенном масштабе ее соотношения с реальными рельефом и объектами, переносился на спе-

циальный резиновый коврик. В дальнейшем эта резиновая плоскость (с нанесенным изображением) растягивалась под неким углом в одну или несколько сторон. Сам «угол искажения» фиксировался и его коэффициент специальным, надо думать, образом зашифровывался. А такое вот, получившееся новое, перекособоченное изображение вновь перетискивалось на бумагу и типографски тиражировалось.

При этом, как ты понимаешь, все действительные объекты-то на такой схеме сохранялись! Даже их имена, вместе с самим фактом существования. Даже относительно верное местоположение каждого в отдельности внутри общей системы. Только вот все эти соотношенности, взаимосвязи и сомасштабности были полностью искажены и нарушены на тот самый, засекреченный градус-коэффициент! Поэтому какая-нибудь дорога, протяженностью, скажем, пять километров (в реальности), на такой карте оказывалась ну, не то, чтобы уж двадцатикилометровой, но, скажем, семи, а иная — напротив того из стокилометровой ужималась... если не в двадцать, то в там — шестьдесят восемь... То же и река какая — начинала течь не на северо-запад, а на северо-северо-запад... Вроде измененье не очень в глаза бросающееся, но не зная того (засекреченного?) коэффициента, ты всей реальной картины, ни в жисть не восстановишь!

Так вот. В позднесоветскую и пост- (якобы-) советскую эпохи этот метод мышления и взаимодействия с миром получил весьма широкое распространение. Уж, не знаю, что было первичным, — сам ли этот тип картографирования действительности повлиял на сознание многих моих современников (как и еще их пращуров), да, наверное, и мое собственное, или — напротив того — общий их (наш) подсознательный или сознательный принцип взаимоотношения с реальностью выпестовал и породил такой тип, как называлось это в школьных учебниках литературы — «отображения действительности».

Может, когда-нибудь попытаемся развить и поисследовать эту тему. Сейчас же для нас важно, что он никак не годился для какой бы то ни было реальной деятельности и ориентации в настоящем мире. Это даже в буквальном смысле слова очевидно.

Поэтому как раз тем симпатичным ребятам, о которых собираюсь тут поведать, советское гос-руководство и непосредственное геологическое начальство просто вынуждено было выдавать настоящие и, как сказано, очень неплохие топографические карты. А еще — обеспечивать минимально необходимыми походными аксессуарами. Давать даже в руки оружие! (Без которого, ну, никак нельзя в тех диких местах.) Да и отправлять этих искателей приключений и чистого воздуха дорогостоящим авиатранспортом — за свой же, государственный, счет почти на другую сторону глобуса. Ведь оно, руководство, само было в первую очередь заинтересовано в успехе того землеисследовательского дела, которым ребятки занимались (золотишко там, нефть-уран разные...).

Не стану тут, конечно, врать себе и додумывать, будто выше-названные обстоятельства — приобщенности к действительной реальности в уходе от мнимой и искаженной — мной тогда сознательно формулировались. А все ж таки приятно сейчас полагать, что, возможно, подсознательно и они, а, может быть, в первую очередь — они повлияли на тот юношеский выбор.

И вот ежегодно весной несколько десятков профессиональных геологов и геофизиков отправлялись туда в составе изыскательских партий, с приданными им для подсобных работ случайными «бичами» — на время завербовавшимися беглецами, кто, как я — от социально-бытовых проблем, кто от чего посерьезней.

Из Москвы в Хабаровск всех вез «главный» самолет «Аэрофлота» Ил-62, флагманский рейс №1, — как с гордостью передавалось попутчиками друг другу. На ужин в салоне лайнера в течение шестичасового полета давали даже основной предмет гастрономического вождения рядового гражданина — черную икру! Из Хабаровска же, подрастеряв там, понятно, часть не слишком организованных беглецов-подсобников, но, набрав на их места новых, уже тамошних, городских бездельников, — всех снова сажали в самолет. Уже небольшой, старенький, с пропеллерами — «Ли», мне лично знакомый к тому времени лишь по уже давней советской литературе.

Почему-то запомнилось: странно и смешно было, что вместо привычных круглых иллюминаторов у него по фюзеляжу — вполне регулярные прямоугольные окна. Этот самолет летел еще два-три часа и приземлялся в городе Охотске.

Город — действительно — на краю мира. Впрочем, край — не совсем даже верное слово, потому что подразумевает под собой нечто резкое, обрывистое, явное, а тут... просто вялое прекращение всего, что ли...

Серо-белесое, не то, чтобы даже неприветливое, а скорее — просто какое-то никакое — море рядом. Будто бы сама земная твердь, уставшая наконец здесь от своего бесконечного самостояния под небом, сделавшись ко всему безразличной, равнодушно в него, в это море, сползает. А море, в свою очередь, столь же равнодушно и механически замыкает ее в полусне своими нешумными бесцветными волнами. Серые бревенчатые избы и бараки. Такие же деревянные, скрипучие и щелястые мостовые главных улиц. Среди обычной непролазной грязюки прочих. Довольно-таки агрессивно слоняющиеся по тем и другим огромные своры бездомных одичавших собак. Забегая вперед: когда, спустя несколько долгих, нескончаемых месяцев, по завершении сезонных работ всех бичей (за исключением, впрочем, одного, утонувшего при переходе разлившегося горного ручья) руководство везло назад и вновь расположило здесь, а при этом не успело доставить ребятам заработанные ими деньги, то есть оставило их на пару недель без пищи и, что называется, средств к существованию, — то пару из таких полудиких отловили и съели. И, надо заметить, как-то это не казалось в той ситуации чем-то из ряда вон выбивающимся. Но и

то сказать, при том, что на еду средств не было, вся толпа человек в пятьдесят, запыленная в несколько бараков, была, помню, постоянно в те две недели вусмерть пьяна (после полугодового-то «сухого закона» в горах!) Ну, и со всеми легко представимыми здесь нюансами межчеловеческого общения, так что — что уж тут до защиты прав несчастных животных...

Помню: ржавые разлагающиеся меж упомянутыми бараками останки каких-то стародавних вездеходов и другой брошенной техники, производства, похоже, и вообще тех времен, когда никакой техники совсем еще под солнцем производиться было бы не должно.

Однако говорят, были в городке и такси. А так как сам городок — главный перевалочный пункт бичевого народа на пути из горно-приисковых, золотиносных, мест «на большую землю» и обратно, то имела хождение следующая байка: катятся оба два этих именующихся в городе таксомотора по такой вот главной деревянной улице на очень медленной скорости следом за идущим посередине вразвалку работягой — бичом, возвращающимся с прииска.

В одной машине, стало быть, его шляпа лежит, в другой — чемоданчик с деньгами. После заработка положено было такому парню, ставшему на время советским богачом, сразу лететь в противоположный конец необъятной империи куда-нибудь на юга, в Сочи, и там все это несметное богатство в количестве тысяч десяти, обеспеченных достоянием республики рублей, прогуливать.

Обо всем этом, впрочем, спел в те же времена бессмертный Высоцкий в песне «Про Вачу» — она как раз, примерно, в том районе (ну, плюс-минус тысячу километров) течет. Еще говорили, что в салоне авиалайнера такому крезу обязательно нужно было пить водку из носика большого металлического чайника, на бок которого должен быть наклеен двадцатипятирублевый билет. Сам такого не видел.

Зато видел, и запечатлелось в памяти нечто, вовсе из другого (если б, скажем, кино снимать), — видеоряда: летное поле, выложенное специальными металлическими, дырявыми такими, похожими на перфокарту, лентами. Их положили там еще аж во времена Второй мировой войны американцы, готовясь вместе с русскими к затяжным боевым действиям в войне против Японии и для доставки в СССР оборудования по Ленд-лизу.

Так эта конструкция тогда, то есть спустя годика тридцать три после Мировой войны — еще основным аэродромом и оставалась. Не знаю сейчас — сохранилось ли... Но вот запомнилось. Думаю, потому, что сейчас именно несколько рифмуется с моим сегодняшним днем. Как, помню, учили на университетском филфаке, с которого, кстати, и смогался тогда, в 78-ом на Дальний Восток, — существует (в фольклоре, например) понятие рифмы смыслов. А тут скажем так: пространственно-временная рифма. С другого же берега — пролива Беринга...

Собственно, с того самого железно-ленточного охотского аэродрома взлетало еще одно полетно-транспортное средство — вертолет Ми-8.

Он вез всю ораву еще часа три, километров за триста на северо-запад, уже непосредственно в горы (впрочем, — не шибко высокие). Там была устроена некая «база»: несколько десятков маленьких бревенчатых домиков на двух человек каждый, все еще утравивших, когда прилетели, в непроходимых сугробах.

Последнее не то, чтобы изумило, — в школе-то все учились: понятно, что на север летим... А все ж таки глаза вдруг резануло. Вылетали-то туда, помню, в районе Дня победы, то есть почти в середине мая, когда в Подмосковье-то нашем уже всю травку зеленеет, солнышко блестит. А тут...

С пару недель, пока снег не сошел, пожили там. Ежеутренне, после ночной метели, раскапываясь большими лопатами. Мельком знакомясь друг с другом. Геологическое начальство тем временем, надо думать, планы свои рабочие составляло, маршруты разрабатывало, да ко всем приглядывалось, разбивая и укомплектовывая человеческий материал по маленьким группкам — отрядам.

И вот, наконец, начинался «полевой сезон». Им называется период года, в течение которого климатические условия позволяют в тех краях людям хоть что бы то ни было копытить. То недолгое время, примерно с половины мая, когда вечные огромные, я бы сказал — космические какие-то — снега вдруг куда-то деваются, даже не то, чтобы тают, а просто, наверное, испаряются, и в течение буквально нескольких дней, без всяких там весен-оттепелей, устанавливается великолепное зеленое лето.

Тогда несколько маленьких поршневых вертолетов Ми-4, прилетевших уже на местный земляной аэродромчик, то есть просто — относительно ровную площадку посередине гор, позабирали все эти отрядики (как правило, один, редко — два геолога с двумя, тремя рабочими в придачу) и раскидали вместе с их палатками, ружьишками и прочим нехитрым скарбом в разные районы в радиусе 100–150 км, каковые им и надлежало обхаживать, обмерять и разглядывать. После чего — записывать все увиденное и замеренное в специальные журналы и пометать на картах.

И вот тут-то все, наконец, открылось. Перводанное, вообще еще ни кем не тронутое великолепие земного космоса: каньоны, водопады в горах; прозрачные озера, которые, оказывается, в жаркую, но короткую летнюю пору успевают оттаять только на пару метров от поверхности, так как внутри — вечная мерзлота, и вот сверху, с горы, видна под голубым стеклом воды эта вечная глыба — бело-ледяная озерная суть... лоси, мирно выбирающиеся на наледи, чтобы спастись от нежданной июльской жары и вообще-то не частых здесь (горы же) комаров... грибы, которые, если вдруг поесть захотел, вовсе не надо «ходить собирать», — просто выйди из палатки и нарви сколько нужно роскошных подосиновиков, растущих, уже даже не как грибы, а, скорее — как трава... тьмы и тьмы лососевых рыбин, идущих ранней осенью из океана

на нерест в верховья рек, — их столько, что из-под их серых спин в абсолютно буквальном смысле просто не видно воды, будто бревна на сплаве... Но при этом — полное безлюдье — на пятьсот, тысячу километров окрест...

Притом же ведь не то, чтобы эти места вдруг в одночасье опустели, они всегда такими нетронутыми были, с самого, можно сказать, первоначала... Один только раз за полгода на берегу горной реки вдруг встретился олений караван эвенов — несколько смешных и трогательных маленьких людей — мужчин и женщин с кульками-детюшками, привязанными к бокам таких же небольших животных — идут и идут себе куда-то в вечность. Будто старинные знакомые, поздоровались с нами, тремя геологами, стоявшими маленьким лагерком у них на пути, «цзяйку, однако, попали» (предложить редко встречаемому человеку все, чем располагаешь сам — это свято!), попрощались — до следующего свидания — когда? лет, может, через восемьсот... — да и пошли себе дальше...

И побежали дни со всеми названными и неназванными изобильнейшими летними прелестями — лесами, зверями, птицами. В июне — даже еще с белыми ночами.

Продолжается эта благодать примерно до начала октября, когда, вслед за «первым звонком» — неожиданной мимолетной снежной метелькой среди жаркого, слегка только, может быть, пожелтевшего полдня — все столь же внезапно вновь «вдруг и навечно» застывает, стекленеет, становится до боли белым, и возвращается царство космического холода. А там и небесная чернота спускается.

Но (возвращаясь к началу): в мешанине тогдашних чувств и мыслей я со всем жаром девятнадцатилетнего сердца (да и вообще — здорового организма) столь же страстно, как пожирал великолепие приоткрывшегося мне на Дальнем Востоке истинного мироздания, не мог другой частью своих души и тела не стремиться к упомянутой возлюбленной, к той, «на все времена вечной и единственной», матери к тому же моего детеныша, которая осталась где-то далеко, «на материке», «в России», в ином, короче говоря, мире.

Тосковал ужасно. Особенно первый, второй месяц... Очень хотелось вернуться. Но куда вернуться, когда только безлюдные горы и тайга на несколько сот, если не тысяч км вокруг. А все равно, залезши в старый казенный спальник внутри большой солдатской палатки, или сидя в ночи у красного костра на берегу какого-то безымянного ручья, я, тем не менее, все рассматривала начальниковские зеленые топографические карты. Даром что на них, — ни на «сотке», ни на «двухсотке», ни на «пятисотке», ни даже на гораздо меньших масштабов, а, стало быть — больших площадей, — вовсе не наблюдалось никаких характерных значочков, принятых для обозначения строений человеческого жилья. Всерьез прикидывал, — теперь, за давностью лет, отчего бы уж не признаться тем, затерявшимся в глубинах времен и памяти моим тогдашним сотоварищам из числа подельников-попутчиков? — подумывал, как бы встать... — как вот, встану сейчас тихо, возьму в той палатке с

ящика для образцов ижевскую, двенадцатого калибра, охотничью одностволочку (забирать карабин, или допотопную — в ведении Коли геофизика — тяжеленную трехлинейку было бы, конечно, уж совсем впаду), ссыплю в рюкзак десятка два тяжелых картонных цилиндриков, насую туда же самой необходимой одежки, да часть общих запасов еды, и все-таки отправлюсь по тем картам посредством компаса в общем направлении — запад-запад-юго-запад. Аки какой зверь на запах течки. Вот и повод будет проверить на практике школьные знания, закрепить, так сказать, материал, столь тогда еще недавних для меня, уроков географии (а, кстати, — сейчас вдруг в голову пришло, — всяческой и литературы тоже: см. невольно процитированного Дж. Лондона...).

Редкие, доставлявшиеся (в ту, доинтернетовскую, доимейльную и домобильнотелефонную эру) вертолетом письма, — раз в две, три недели, — писанные от (обожаемой) руки, пышущие жаром юной влюбленности, молящие о немедленной встрече и полном слиянии, — только, понятно, распаяли, просто-таки до головокружения мutilи сознание. И лишь усугубляли приступы неимоверной тоски.

Что бы было со мной (пользуя слова другого, не менее любимого мной в те времена, да и по сей день, американского писателя) если бы и впрямь я пошел тогда по *той* дороге?

Даже персонажи многократно серьезней, да и получше и материально, и морально экипированные, бесследно терялись на этих просторах на протяжении веков их освоения, так никуда и не дойдя. Так что с величайшей степенью вероятности можно предположить, что не было бы, в том числе, и данного текста.

Но уж конечно, не сие провидческое откровение предостерегло меня тогда от рокового шага. Смею думать, и не страх. Не боязнь пропасть.

Вообще-то я человек отнюдь не смелый, не храбрец, что называется (вот и Аглая, почти как тот друган из Аджарии, случилось, порой приговаривала: «хороший ты парень, Витек, жаль только трусоват малость...»). Но, — заметил, — бывают у людей моменты и ситуации, когда страх не то, чтобы отступает. Его словно бы вытесняют из сознания другие, гораздо более крутые эмоции: словно некий адреналин, или как это все формулируется, замещает его молекулы или куда-то вовне выдавливает, меняет химию. Тогда — вроде как — уже не до страха... Короче говоря: есть более сильные инстинкты.

И уж, — к себе применимо, — наверняка — не чувство долга и ответственности, не вся эта вязь обязательств, — вязкие обстоятельства, — перед общаком тех же сотоварищей — выше ли ниже стоящих — или чем-то и кем-то еще, — (все комплексы, коих я, похоже, — спасибо советской власти, долго мастеровившей человека новой формации! — в принципе напрочь лишен.). Нет! Там тогда была некий новый импульс, случилось обстоятельство уже другого порядка. Подготовленное, наверное, и всем предыдущим течением времен и варением собственных всех этих молекул — инстинктов и помыслов в них. А тем не менее объявившееся вдруг, вроде как аб-

солютно нежданно в проснувшемся внезапно мозгу. Словно круглая физиономия ганишника, подпираемая созвездиями погон, которая, помню, образовалась в окошке какой-то черной «Волги», за рулем которой спал себе после выпитой ночью литры. (И «Волга», в относительном, колеблемом утренним ветерком, равновесии, держалась уже лишь двумя левыми колесами, торчала своей номенклатурной задней частью из левого же кювета бетонки). Это мне уже в другой (третьей... четвертой...) жизни, выпившему с местными ребятами где-то в Подмосковной Истре, захотелось немедленно во что бы то ни стало поболтать с Аглаей, а она жила тогда в Лианозово, ну и отправился... Вот тогда, кстати, как бывает — задним числом, и впрямь сделалось зело страшновато. С тех пор, кстати, никогда ни глотка не пью, садясь за руль (хоть и весьма редко не делаю этого, из-за него вылезая).

Так вот: на Дальнем Востоке.

Еще по прибытии на ту заснеженную базу, в маленьком домике мы оказались на узких соседних нарах вдвоем с геофизиком Колей. Уже не вспомню, подсадили ли меня к нему на пустующее место, или мы сами по пути познакомились... Этот симпатичный, интеллигентный и какой-то вот именно «московский», не без тонкости, а при этом и вполне тверденький, — походный, — паренек был всего-то лет на восемь-девять старше меня. Что, собственно, и дает мне сейчас, спустя почти тридцать лет, возможность говорить о нем в таком, несколько панибратском тоне.

Ибо тогда, когда наша с ним разница в возрасте составляла почти половину моей собственной на тот момент жизни, он, вестимо, представлялся мне (и был) много старше, я бы даже дерзнула произнести — старее. Был, короче, взрослым серьезным мужчиной. К тому же — уже независимо от возрастной разницы — многоопытным — в тех горах — профи. Не то, что я — дилетант в квадрате (по жизни).

Специфика Колиной работы и положения в данной геологической партии заключались в том, что он был единственным, приданным ей по штату, геофизиком. То есть, все прочие были чистыми, по старинке, так сказать, — геологами. Из них и формировались, как уже упомянул, разбрасываемые по необъятным просторам «отряды».

Такие дяди (и несколько амазонистых тетя, — тип исключительно, кстати, мне симпатичный) обосновывались на каком-то, предписанном им старшими товарищами, месте. Разбивали там палаточный лагерь. И дальше в сопровождение работяг бродили по окрестным горам и распадкам, обстукивая их классическими горными молотками на длинных ручках (как запечатлено то на многих открытках, сигаретных пачках, марках и спичечных этикетках той и предшествующих эпох). Собирали отколотые образцы, внимательно, с пониманием их рассматривали и кидали в большой рюкзак, который и таскали за ними рабочие.

Тут не могу не отвлекаться на еще одну, забавную, по-моему, байку. У профессиональных геологов, как, конечно, и во всех иных производственных, социальных и прочих человеческих структурах и «стратах» существует своя определенная иерархия. Кажется, на данном, полевом уровне она была такой (сверху вниз): начальник партии; начальник отряда; инженер; старший техник; техник; младший техник. Ну, и потом уже — временные рабочие, вроде меня, имевшие, собственно, к геологии отношение только, как сказано, в качестве тягловой силы и бытовых подсобников.

Так вот, как со смехом рассказывал Коля, в наш сезон один из молодых геологов, такой же, как он сам, обаятельный парнишка в очках был с большим скандалом разжалован то ли из инженеров в техники, то ли из техников — в уже совсем какие-то младшие, за одну веселую проделку.

Оказывается, еще в один из предыдущих сезонов, пойдя в маршрут, он, ради смеха, разбросал кое-где по горам привезенные им с собой из отпускного — все на те же юга — вояжа, из Крыма там или с Кавказа — несколько образцов тамошних пород. «Чертовых пальцев» всяких, или я уж не знаю там чего, — но очень специфических их, геологических камешков.

И вот новый геолог (с молотком), пошедший то ли сразу следом за ним, то ли уже на следующий год — тем же маршрутом, стал все эти кусочки пород по пути обнаруживать.

А суть в том, что пород этих в данной геологической области быть просто в принципе не могло! А места-то нехоженые, необитаемые, ничему там случайному взяться просто неоткуда... Понимаешь, — хохоча, пояснял мне Коля, — это бы означало полный переворот в геологии! Ну, как если бы вдруг оказалось, что Ленинград на самом деле не на Балтийском море стоит, а, например, на Белом, или даже — Красном каком. Или — что сила тяжести направлена не к центру земли, а куда-нибудь вверх, или вбок — сикось-накось... То есть, вся наука, со всеми ее базовыми установками и физическими реалиями — насмарку! Просто геологическая картина и история планеты другая!...

Тут, конечно, не то, чтобы даже звон, а взрыв во всем геологическом мире назревать стал. Юный исследователь вовремя струхнул и покаялся в невинной шутке коллегам-сотоварищам и начальству, уже готовившему, надо полагать, громоподобный доклад на ближайшем каком геологическом симпозиуме. Отделался вот — разжалованием в чине.

Но, возвращаясь к геофизику Николаю, сам он отнюдь не таскал по тем горам молоток и рюкзак для камней, а подвернувшиеся минералы если и рассматривал, то только на предмет их, — действительно порой изумительной, — красоты и — соответственно — ценности для домашней коллекции.

Его орудиями производства были физические приборы — гравиметр, магнитометр и радиометр, — три небольшие замысловатые конструкции, фиксирующие — соответственно — степень гравитации, магнитное поле и радиационный фон в каждом отдельном

месте. Замерив их значения в массе точек (если память мне не врет, — на каждом сотом шаге маршрута), их тоже надлежало занести в специальный журнал, чтоб позже по этим данным так же составить соответствующую карту. А так как, — насколько я, диетант, понял, — все залегающие в земле породы обладают разными физическими свойствами и параметрами, то они, соответственно, на все эти величины — каждая по-своему — влияют и их корректируют. Таким образом, в дальнейшем по вариациям этих значений можно с очень большой степенью достоверности констатировать залегание на глубине там-то и там-то вполне определенных пород.

Тут, правда, еще необходимо заметить, что вообще в геологии, как в исследовании, так сказать, тела земли — различаются несколько стадий что ли, уровней узнавания. Существует, как я уже написал, так называемая, съемка — это вроде как внешнее обследование и фиксация (на карте) всего, непосредственно, при поверхностном взгляде, увиденного.

Ну, вроде как первичный приемный врач-терапевт человеческого тело осматривает: руки-ноги на месте, кости правильно растут. Там, здесь пощупает, постукает — все ли ребра, пальцы какие в соответствие с нормой расположены, нет ли каких венозных вздутий, явных нарывов...

Следующая стадия — разведка. Это уже более углубленное, но, как правило, и более целенаправленное исследование. На этом этапе в организм уже поглубже проникнуть пытаются, выяснить, а что там-то, внутри и именно с этими органами происходит. Тут доктор как раз и берет в руки разные свои слуховые трубки и стетоскопы. Чтоб потом направить — одного к отоларингологу — у него, похоже, аденоиды обнаружили; другого — на флюорографию, — там хрипы в легких...

И вот говорю же: вся партия наша в тех и тогда местах занималась еще только съемкой. До разработки, кстати, тех районов, думаю, дело и вообще не скоро дойдет, может, через несколько десятков лет, а, может, сто. Там, впрочем, внутри, конечно, всего богато. Ну, золото и так старатели подчищают. А вот, — специально для иностранных спецслужб говорю (ежели предположить, что они об том сами еще не знают) — урана полно. Радиометр на маршрутах всю дорогу так и трещал, и стрелка зашкаливала...

Но возить-то, тащить отеть куда бы то ни было возможные полезные ископаемые — себе дороже. Не рентабельно. Проще — вон — газовую трубу вдоль железки из уже разработанных ареалов протянуть, да и качать бабки.

Но это я отвлекся. Воспарил. Возомнил себе себя каким великим политологом-экономистом.

А суть же в том, что Колина геофизика была в тех условиях не то чтобы вовсе еще не актуальна, но, как я понимаю, имела для общих тогдашних исследований некое лишь прикладное — от случая к случаю — значение. Или, вернее бы сказать: на всякий слу-

чай, на будущее... Или, в качестве общего подтверждения данными своих измерений тому, что обычные геологи со своими молотками и так разужнали.

Потому и не положено было Николаю никакого собственного отряда, как другим его коллегам. А вертолетили его периодически то в один район тайги, то в другой, то в придачу к одному «лагерю» (в гости вроде как), то к другому. А зато и подчинялся он лишь напрямую одному только начальнику партии. Положен же ему по штату был всего один рабочий. Чтоб там по бытовухе подсобить (которая, впрочем, составляет в тех условиях едва ли не 90% всей жизнедеятельности, — надо же на каждом новом становище, в голых горах или лесу дремучем заново обжиться, палатку разбить, припасы схоронить, от зверья обезопаситься и т. д.). Ну, и слегка чтоб с приборами помочь — то есть, вместе с Колей таскать их, а еще и непременное в маршруте ружьишко. И — желательно в цифрах слегка разбираться, чтоб при необходимости самому правильно показания со всех этих ...обметров снять и записать их куда надо.

Излишне говорить, что меня-то на это место и определили. Принимая, в частности, во внимание мое, как говаривал один знакомый, образование выше среднего (или не начатое высшее). И то сказать — до ста и впрямь считать умею, а больше там и не требовалось.

За считанные часы Николай посвятил меня в нехитрое дело снятия показаний с тех приборов и правильной записи их в «полевые журналы». Позже я и карты какие-то составлял. Втянулся, короче. И вообще к походной горно-таежной жизни оказался весьма предрасположен. Ну и задружили мы с Николаем. Стал я его рабочим — помощником. Так и излазили — в дальнейшем — вдвоем массу тамошних плато и взгорий, речных русел, распадков и прочих — кому романтических прелестей, кому — вполне даже реалистически-бытовых, рабочих объектов. Но в любом случае, — повторяю, — исполненных фантастической девственной красоты и полной безлюдности.

Уж не знаю, при этом, сколько в сумме за те несколько месяцев километров — вверх-вниз — нашагали, помню только, что ежедневный наш рабочий маршрут был в среднем 10-12 км. Я нес нетяжелый рюкзак с запасной, на случай, внезапного похолодания или дождя, одежкой, чифирбачком для привала, и минимальными припасами, а также ружье, патроны к нему и небольшой, болтающийся у меня под мышкой, радиометр. Коля — гравиметр — по тем временам прибор довольно крупный и навесистый, но тоже — вполне подъемный, главное неудобство которого заключалось в том, что чтобы правильно снять с него показание гравитации в каждой данной точке, его надо было всякий раз установить на подвижной треноге строго перпендикулярно к поверхности земли. А при том, что рельеф все время скакал (горы же!), то это требовало определенного навыка, который, впрочем, Коля за годы своей уже многосезонной работы, виртуозно освоил.

Сверившись с намеченным маршрутом по имевшимся у нас аэрокосмическим фоткам и тем самым, недавно сделанным, топографическим картам, мы чапали «вперед и вверх». Шли друг за другом. Молча. Автоматически считая шаги. На каждом сотом останавливались. Коля лихим жестом ковбоя, срывающего с плеча винчестер, скидывал свой прибор, молниеносно отглаживал верный уровень его треног и, заглянув в специальный глазок, говорил мне цифры показаний. Я же, замерив, тем временем, своим — радиационный фон места, записывал в журнал свои и его данные. Вся операция занимала считанные секунды.

И мы шли дальше. Раз в час останавливались на перекурчик. А часа через четыре маршрута устраивали привал: быстро соорудили небольшой костер. Навык его разведения в любую погоду из всегда, даже в практически «голых» горах, имеющих средств обогрева — волею жизненной необходимости — очень быстро. Кипятили крепкий чай. Курили и болтали. Потом снова шагали несколько часов.

В дальнейшем, уже по возвращении в лагерь, все точки пройденного маршрута с их цифровыми значениями наносились красными и синими чернилами на новую карту.

Тогда можно было наглядно увидеть, каких, порой довольно-таки причудливых форм, петель и стрелок мы — аки татуировок по коже земли — понавывисывали ногами за этот день.

Но любопытнее всего было не это, а то, что когда, — уже на следующем этапе, — из тех же числовых точек выстраивался на большом листе график, где линии и зигзаги нашего маршрута начинали теперь выражать не пройденный нами по поверхности путь, а перепады силы тяжести и — соответственно — относительную вероятность залегания чего-то там, под нами, в планетарной толще, — то вся карта сразу будто бы поворачивалась.

Она меняла на 90 градусов пространственную ориентацию, вроде как становилась на попа, и оказывалась не картинкой горизонтальной поверхности, а планом некоего тектонического среза, определенной там, внутри Земли, ситуации. А, — раз наличествует в мире само понятие геологической истории, — то, стало быть, являлась и изображением постепенной, постоянной серьезной, тамошной землеродной жизни! Как-то это все сближало. Освежало. Приобщало. И... — чудны дела Твои, Господи!

Короче говоря, я, по всегдашнему, должно быть, своему обыкновению, вполне всерьез и быстро заразился от старшего товарища всем этим земледведческим походным энтузиазмом.

Так и вообще мы, сталкиваясь с людьми чем-то увлеченными, целеустремленными, часто заражаемся их делом. Тем более, если они умеют красиво и стройно его преподнести, рассказать, ввести тебя в суть вопросов.

Подобным образом один из сегодняшних моих друзей умеет рассказывать о нюансах законов разных штатов США, юридических казусах, судебных заседаниях и прочих мультках юриспруденции. Начнет говорить, заслушаешься: стихи просто.

А другого, — пардон! — гинеколога, я недавно услышал в машине по русскому радио Нью-Йорка. Он так излагал какие-то та-мошные проблемы и всю эту анатомию, что как-то из башки абсолютно отъехали любые ненужные ассоциации и всякие глупости, осталась только эта его «песнь профессионала», стройная, строгая и красивая, как все, что исходит от действительного профи.

В случае же с Николаем, в русле данного рассказа, мне-то и вообще было 19 лет. То есть, и сознание было еще абсолютно распахнуто для восприятия всего нового. Свободного места было в нем еще полным-полно, да и времени на то, чтобы вобрать и воплотить любое из этих «новшеств» — казалось, — хренова туча, целая жизнь! Но, думаю, не только это там и тогда сблизило, а в дальнейшем объединяло нас с Николаем.

В первый же день на той горной базе, как только ввалился со своим, выданным под расписку со склада, брезентовым армейским спальником в заваленный снегом домишко, где на одних из двух деревянных нар возлежал бородатый Коля, то с первых же брошенных друг другу обще-ознакомительных фраз, а более, как обычно, вскользь проскочивших словечек, каких-нибудь междометий, их интонации, стало ясно: мы, — не то, чтобы уж совсем — как это, — «одной крови», но некие такие — «социально-близкие».

И действительно, как сразу, конечно, выяснилось, не только оба были урожденными москвичами, то есть теми, кто в разношерстных социальных общностях именуется емким словом «земляки», но даже и в районах Москвы жили по соседству. Знали, пивали и ориентировались в одних и тех же шаманах и пивнухах, — на улице Строителей... у Киевского вокзала... в яме на Столешниках..., навещали те же самые гастрономы и кинотеатры.

Но и более того: вообще принадлежали если не к одному (тут еще все-таки возрастная разница сказывалась), но к очень близким кругам жизни. Сейчас уже достоверно не помню, но наверняка какие-то и общие знакомые были из обширной и разветвленной московской тусовки (самого такого слова тогда, впрочем, еще не было в нашем «великом и могучем»). Вспоминали одни и те же анекдоты. Одни и те же книжки читали. Последнее, впрочем, не удивительно, при той скудости, а одновременно с тем — централизации советской полиграфической продукции, вследствие которых любая, впрямь достойная внимания и уважения публикация, сразу становилась общекультурным и общесоюзным событием. Слушали те же магнитофонные записи и пробивающиеся сквозь треск глушилок радиоголоса.

Соответственно, и взгляды — на жизнь, на отношения там всякие были схожими. То же — и на политику (хотя тут, понятно, при тоталитарном характере тогдашней государственной системы особых вариантов не было: можно было быть или строго «за», что в нашем понимании было автоматически равнозначно кретинизму, или определенно «против», — о том, что и «протест» сам по себе никак не исключал кретинизма можно было (легче было) не задумываться).

Ну, и в конце концов: оба же оказались в одной этой заснеженной избушке на краю Земли...

Гитара оказалась тут же. И ее-то Коля, оказывается, с собой возил. Тоже некий показатель, признак ментальной общности, свойскости что ли, в те времена.

Бренчал он на ней, используя вечные пять-шесть простейших аккордов, так же бездарно, как и я сам. Но суть была не в этом.

Гитара (наличие ее в компании, — а редко какая компания тех времен обходилась без) еще, конечно, и способствовала налаживанию контакта, знакомству, общению, откровению, вхождению, короче, в отношения и продолжению их.

Вот и мы, познакомившись, а потом и сработавшись с Николаем, с первого дня до самого до возвращения в конце сезона то бренчали друг другу в свободное время знакомые песни:

— Дай-ка, дай! А эту вот знаешь?..

Эх бы нам — вдоль реки, —
Он был тоже не слаб, —
Чтобы им — не с руки,
А собакам — не с лап!..

Что, вестимо, и развлекало в горно-таежной глуши и провоцировало всякие разговоры, то тащили ее с собой к костру новых или старых знакомых, по мере того, как за время работ прибывались то к одному, то к другому походному лагерю. Там, впрочем, как правило оказывалась своя.

Наступил уже август. Да, судя по яркости северных звезд по ночам, были уже начальные числа августа. Лето, кажется, немного остывало. Прибавилось рыб в речках-ручьях. Голоса несчастных птиц, в основном глухарей, в распадах и приозерных долинах как-то отяжелели, налились. Так же, как и загустевшая зелень на крайне, впрочем, редких лиственных деревцах, как невысокие травы. Вся природа вокруг вообще словно бы слегка заматерела. При этом, несколько одомашнилась, что ли. И сразу — как будто чуть разленилась. Одновременно и во всех отрядах, которые все реже, будто бы все менее охотно, стали скакать на своих вертолетиках с места на место, обжившиеся в палатках работяги начали все интенсивнее придаваться сушке над жестяными печками бесчисленных жирных грибов.

Для этого устраивалась какая-то хитрая конструкция из натянутых меж брезентовыми боковинами проволочек и свисающих нитей с гирляндами резаных подосиновиков и белых. Случалось, запах, вследствие данной процедуры, стоял в этих палатках такой, что зайти, откинув брезентовый полог, туда из свежего рассветного утра требовало большой самоотверженности.

Ходили на рыбалку. Нерест лососевых еще не наступил, о нем, как об основном событии сезона, в вожденном предвкушении лишь рассказывалось с подмигиванием и прицокиванием бывалы-

ми бичами — первогодкам, вроде меня. Но хватало и других рыбьих пород. Хариус. Его ловили специально привезенными и припасенными спиннингами и удочками, постоянно жарили, солили, коптили (холодным или горячим способом), для чего, помню, соорудили специальные чумы с порой хитро подведенными дымоходами, дабы дым оказывался соответствующей температуры.

Дичь постреливали.

Глядя на такой хозяйственно-бытовой, с уклоном в гастрономию, энтузиазм подчиненной рабсилы и — обратно пропорционально тому — ее же наступившее безразличие, если не сварливое неудовольствие, в отношении дальних походов, — геологи и сами, похоже, стали меньше рваться на свои минералогические подвиги и поднимать братву в атаки на безответные каменные кручи. Будто тоже, а!... — махнули рукой на все эти горнозалегающие руды и тектонические проблемы, и также ринулись в перманентное костровое чревоугодие, да пищезаготовки на зиму.

Раздобрели, да разохотились как-то и голоса в рации, когда в положенные 7 утра Коля выходил на связь с прочими «номерами» и начальством. Даже, может быть, голос этого самого начальства — некоего нач. партии Горохова — из железного ящика стал не таким хамски-требовательным, и деланно-нетерпимым (сегодня бы сказали «совковым»), как чудилось мне прежде.

Но и тут наш с Николаем «отдельный летучий отряд» оказался вроде как на особом положении. В отличие от геологов, которые что-то там абстрактное выискивали, руководясь в основном лишь собственными представлениями и геологическими идеями, а потому обладали и широкими возможностями самим намечать себе цели и время своих походов, мы, — пардон! — Коля (и я при нем), «геофизики», будучи переброшенными вертолетом на каждый очередной плацдарм, должны были четко отшагать со своими бебехами определенные маршруты по конкретной карте.

И свободу в вариантах пешешествий и вообще времяпрепровождения имели гораздо меньшую. Помню, впрочем, нас это, странным образом, нисколько не огорчало и не уязвляло.

В очередную выкидушку нас послали вчетвером. Кроме Николая, в придачу с его верным санчо — мной, с нами отправился еще один геолог, довольно занудный и вредный дядя, — такие там тоже случались, — с тоже приданным ему постоянным рабочим. Надо там было что-то комплексное геолого-геофизическое разведать. Может, соответствие между двумя этими типами землеисследования соблюсти, так вот чтоб на дело ходили по тем же самым маршрутам...

Мы так и стояли несколько дней одним маленьким лагерьком в две большие палатки. Быт, конечно, в смысле костра там, пропитания и проч. — вели общий. То есть, мы с тем, другим рабочим, матерым таким «человеком трудной судьбы», бичом, оказавшимся моим тезкой Витей, вроде как дежурили попеременно.

Намеченную для нас работу сделали быстро. Все отшагали, замерили, и с ленцой ждали теперь, куда нас еще запровалят. Указаний все не поступало. Вертолет не летел. Сачковали, короче.

В принципе, этот наш с Колей очередной вылет на некий, намеченный начальством, «участок» ни чем бы не отличался от прочих, уже бывших до него и случившихся позже. Прилетели, палатку разбили, бревнышек нарубили — нары сложили, костер развели, в палатке — печку, так как ночами там, даже в июле-августе, жарко редко бывает...

Но была пара обстоятельств, которые этот, очередной наш во-аж, все-таки выделяли из числа других. Во-первых, сразу, лишь вертолет, едва коснувшись колесиками прибитой ветром от его винтов травы, распахнул дверцу, и оттуда, так же сгибаясь от ветра и гула, высыпались мы со своим нехитрым скарбом, — в глаза бросилось черное круглое пятно прямо посередине зеленой лужайки. (А, может, оно еще даже сверху, из иллюминатора, видно стало, пока садились).

— В позапрошлом сезоне отряд Зенькина тут стоял, — бросил Коля, — посмотри, может следи от их нар где остались, тогда рубить не придется, и кольшечки от палаток...

И то, и другое действительно нашлось. Удивительно же для меня сейчас, когда записываю это, не то, как резко тогда ударило в глаза выжженное за два года до того место земли — след от кострища, так и не затянувшийся за долгое время зеленью. Вообще, даже не «игра» или «законы» (а, может, законы (правила) игры?) природы и/или того, чему сама она подчиняется (если так), когда столь причудливо растягивает или сжимает по собственному усмотрению время. Когда, — надо же! — два года тому какие-то люди, зачем-то наведавшиеся сюда, как-то по-своему тут тусовались, жгли несколько дней костер... Два года! Сколько всего напроисходило в мире! Может, целые страны исчезли или наоборот — новые образовались. Наверняка. Куча людей поумирало. Еще больше — народилось. А здесь все так же, будто этот Зенькин с сотоварищи только полчаса тому назад встал, вещички собрал, да отсюда снялся, — вон, даже рогатинки для поперечной — над костром — палки, чтоб котелок вешать, так из земли и торчат. (И она, палка, сама рядом валяется, тоже идти срезать не надо). Но, — говорю, — даже и не это сегодня самое для меня любопытное.

Но почему именно сегодня мне это так ясно помнится? 30 лет прошло. Масса событий (и мира, и собственной жизни), дел, обстоятельств, людей, наконец, вместе с их лицами, а, часто — каюсь! — именами и судьбами канули в забвение, как файлы, раз и навсегда стертые из памяти компьютера, как те, позабытые страны (как, кстати, эта страна, когда еще и не думал никто ни о каких компьютерах...). А этот вот момент запечатлелся. Ярko так, четко, будто само то черное пятно на лужайке.

И второе, уже менее претендующее на глобальные философские обобщения, но много более существенное для именно данного рассказа.

В вертолете же, когда подлетали, Коля сказал: — Рядом с Нефедовскими стоять будем. Они в десяти километрах.

При том, что вся партия обследовала один большой участок примерно в квадрате 500 на 500 км, а в составе ее было, наверное, отрядиков 10-15, которые, как сказано, периодически перебазировались с места на место, то случалось порой, что стоянка одного оказывалась в относительной близости от другого.

Тогда, если время, работа и климатические условия позволяли, ходили друг к другу «в гости». Но и то сказать: хочется же иной раз какого-то разнообразия в социально постоянно замкнутом и довольно-таки рутинном мире одних и тех же твоих попугачиков. Не все же одни и те же анекдоты жевать, радио слушать, затрепанные книжки (если прихватили с собой) читать, монотонно брэнчать на гитарке набившие оскомину глупости, да предаваться размышлениям о вечном над вечерним костром, а к тому же день изо дня видеть рядом одни и те же, до боли знакомые, лица, даже при том, что, — как в нашем с Колей случае, — отношения наладились прекрасные и дружеские... Все ж-таки мы животные социальные! Нам разнообразия в общении подавай! — новизны.

Нефедовские действительно, оказалось, стояли недалеко. Километрах в одиннадцати от нашей стоянки — вниз по руслу высохшей реки.

У них был большой отряд. Кажется, даже два, соединенные в один. Видать, особо обильное залегание чего-то в том месте разведывали. И примечательно, что командовала, по крайней мере, одним из них, а, может, и всем объединением, тетка. (Так называлась тогда она мне, восемнадцатилетнему, а на самом деле — привлекательная, даже очень, женщина лет тридцати была).

Я сказал, оружие разномастное, хоть какое, но было у всех и приходилось из расчета как минимум штука на каждую душу. В первую очередь, конечно, это касалось собственно геологов, комсостава, — у них, понятное дело, нарезное: карабинчики 40-50х гг. выпуска — Дегтярева. Винтовка даже у кого-то вполне Мосинская, довоенная трехлинейка болталась. Да и пистолеты — тоже немалодые «Т», помню, мелькали, — это уже так, — у ребят, кто попожилистей, ибо действительно толку от подобных пукалок в тех горах-лесах никакого.

Вообще, я тогда там впервые, как и со много чем прочим, так близко свиделся со всяким стреляющими приспособлениями. И хоть самому не очень случилось их по прямому назначению их применить (кроме одного, кажется, раза, когда пошел вместе с Николаем на охоту, да и то, слава Богу, неудачно), но в некоторых аспектах их действия — более наглядно, умоглядно, да и по разъяснениям бывалых людей, — слегка разобрался.

Так, впервые, например, узнал об «эффекте останавливающего действия». Наряду с дальнобойностью, калибром, скоростью пули, оказывается, присутствует в огнестрельном деле и такой существенный фактор. И вот, например, у винтовки или там АКМ

дальнобойность, убойная сила и другие важные и полезные вещи очень большие и распрекрасные.

А останавливающее действие у их пуль хреновое. Потому, что калибр маленький, а летит пуля очень быстро, и все ей на пути встречающееся насквозь прошивает. А потом дальше летит.

Другое дело — жакан из 12 или даже 16 калибра гладкоствольного ружья. «Ну, ты представь, — пояснял мне кто-то, может, даже и тот самый наставник — Николай, — одно дело тебя спицей, например, насвось проткнули, и дальше пошли, ну, и ты соответственно тоже, пока завалишься, еще вполне можешь дальше куда, крича, побежать, не сразу, короче, очоуришься. Совсем другое — просто сковородкой по баде ка-ак дали! или хоть — поленом под дых... Может вконец и не загнешься, но стопарнешься точно! Это — останавливающее действие и есть.

Лось, скажем, после того, как его из винтаря подстрелили, еще с пробитым сердцем километров десять пробегать может, бывали случаи... А ежели ему крупным калибром, пусть и не с очень большой скоростью и вовсе не дальнобойно, но пол бока вырвало, или хоть — в лоб оглоушило, то особо далеко не убежишь...»

И еще, к слову, рассказывали: «А вот в том (позапрошлом, третьего года...) сезоне Манякин сам-один недалеко прям от Охотска в маршрут пошел, вдоль морского берега, а на обратном пути, — а осень ранняя была, — глядь: на берегу медведь: присел на месте отлива, и выкинутую рыбешку подцепляет.

Ну, он, Манякин тот, — а у него как раз трехлинеечка с собой и патронов — хоть ж... ешь, — решил: дай-ка перед корешами на базе повыпендрюсь, — шкуру медвежью и мяса с собой притащу.

Ну и лупанул с пригорка по топтыгину. Тот, развернулся, и, понятию — за ним, Манякиным...

Так наш-то так все десять километров до дома от того медведя и сматывался. Несколько десятков метров отбежит, обернется, стрельнет, и опять рысью...

Ну, убил в конце концов... Уже у самого города... Потом в том медведе одиннадцать пуль насчитали.

Потому, что медведя из винтовки или карабина если стрелять, то обязательно в череп попасть надо, желательно в глаз, иначе ему — все по барабану, как слону дробина. А череп у него ма-а-ленький! Сама башка здоровенная, — но шерсть и жир сплошные. А черепушка — с большой кулак, а мозгов в нем — и совсем пустяк. Поди — попади. Поэтому по правилам, эвены вон, например, они на медведя если ходят, так и вообще желательно вдвоем: один с карабином, другой с гладкоствольной...»

Вот такие разговоры.

Стал я, впрочем, все это тут припоминать и пересказывать, собравшись только заметить не очень даже существенную, но любопытную и милую, как мне теперь кажется, деталь, всплывшую в памяти при упоминании названной амазонки: у той дамы был Наган!

Она его, не слишком, впрочем, даже кокетничая, а вполне естественно в тех условиях, носила в кожаной кобуре на бедре. Не пижонила. А все же, — ну, куда ж от них денешься! — от постоянных мусоринок в мозгах — ассоциаций, напластований культуры-литературы! — рифмовалась же, небось, сразу с той, окуджавовской «комсомольской богиней».

Ну, и Бог же с ним. И с ней. И с ним. Забыл даже, как ее звали. Забыл, кстати, и как положено было к ней в той среде обращаться. По имени — вроде как слишком фамильярно со стороны рабочего персонала. По имени-отчеству — тоже странно в тех условиях, где, кстати, многие работяги были много старше не только меня салобона, но и ее самое.

Память пестрит и вспыхивает. Всегда отвлекая от основного направления, по которому движешься. Неожиданными — по сторонам — блестками. Чаще, впрочем, оказывающимися клочком сигаретной фольги или еще какой дрянью, чем хотя бы даже никелем упавшего десятицентовика.

Перенасыщенный раствор со вдруг абсолютно не предсказуемо кристаллизующимися и всплывающими из темных глубин прошлого моментами и ассоциациями.

Еще: так вспыхивают в башке цветные пятна, когда, засыпая, закрываешь глаза, после дня, проведенного в Лувре или Метрополитен-музее. Нет! — лучше: кидает тебе блеску река лунной ночью в июле.

Вернусь все же к главному. К той реке. (К своей!). Но — тогда — безо всяких блесков на воде. Сказал: была высохшая. Сухое русло. *(Вновь ошметки: «я бродил по улицам темным, как по руслам высохших рек» — впрочем, запомнить, вернуться).

Конечно, совсем сухим оно быть не могло (тогда бы и лагерь свой на берегу не разбили), да и вообще не бывает там, в горах так. В глубине, внутри, под завалами камней обязательно какой ни на есть ручеек мозжит. Сочится. Если верхние камни разобрать, слегка отодвинуть, то всегда и воды набрать можно. А после обильного дождя или схода вдруг снежной лавинки с вершины, так и вовсе такое русло враз заполняется бурлящим потоком. Такая перемена может случиться в течение буквально нескольких часов, если не минут. Упомянул, что в сезон моей бытности в той партии один бич-работяга так и утонул.

Утром они вышли в маршрут — была отличная сухая погода. Потом полил ливень. При возвращении стали переходить в том же месте. Там неслась уже бурная горная река. Его и смыло.

Итак, русло реки.

В своих сапогах я ступаю на молчание серо-желтые, порой подернутые зеленым мхом, вечно здесь лежащие, отшлифованные водой и временем камни.

Пройдя шагов тридцать, оборачиваюсь. Вижу, как — со спины — Николай, уже удалившись своей знакомой деловитой поход-

кой на столько же в противоположную от меня сторону, к палатке, скрывается под упдающим за ним зеленым пологом.

Я все шагаю по гладким камням, будто по цементным плитам мостовой какого-то пустого города. Так же на городском тротуаре порой, играя сами с собой, начинаем зачем-то следить, чтобы например не наступить на черточки стыков между плитами и приноравливаем свой шаг к их равномерному появлению под ногой.

Здесь, впрочем, это имеет реальный смысл — чтобы точно попасть на каждый очередной плоский камень, а не угодить, промагнувшись, в прогал между ними. Но особого пристального внимания не требует. Можно и вообще под ноги не смотреть. И правильной даже не смотреть. Иди себе по наитию, не циклись. Так, кстати, — позже узнал, — учат правильных автоводителей: смотреть, ведя машину, надо строго вдаль, даже поверх ближайших объектов перед тобой, а не под нос себе, тогда — боковым зрением — и все, что под носом лучше замечается.

И вот, когда две зеленоватые палатки «моих» уже давно скрылись за поворотами пройденного пути за спиной, — незачем даже и оборачиваться, чтобы удостовериться в этом, — что-то словно бы щелкает во мне, как если бы взвелся вдруг курок того ружьяца, что болтается сейчас за плечом.

Как передать это чувство? Прикинь: серо-сине-зеленые горы в отдалении, ближе... Безмолвные ряды лиственниц вдоль берегов этого длиннющего, раскатившегося передо мной каменного языка. Стволы довольно тонкие, а весь лес не слишком частый — не как густой ворс на какой-нибудь перевернутой — вверх щетиной — сапожной или одежной щетке, каким бы представился он в равнинном таежном краю, а скорее — как элегантные разреженные длинные зубья на расческе для волос некой прелестницы перед зеркалом.

И само это русло. Оно, будто живое — даром, что без воды, а может, еще даже от того и живее, — движется и вьется передо мной по мере моих шагов по нему.

Легкое, молчащее до всеяности небо с редкими облачками надо всем этим. Точно я в каком-то объеме. Вот именно — внутри. Чего? Мироздания? Здания мира? Большо-о-ой такой комнаты.

И еще: одиночество. Но не, — знаешь, такое: одиночество-одиночество, горькое, типа «ой! один, совсем один!», и себя очень жажко. А совсем наоборот даже: полностью умиротворенное, и даже — не совсем одиночество вроде. И совсем уже вроде — и не одиночество! Скорее — такая блаженная растворенность в этом объеме.

Нешумный ветер прошел по верхним лапам лиственниц. Тоже — будто живой. Будто и впрямь — *прошел!* Я почти расслышал и понял все эти его на ходу мне слова.

В тех краях, поживя, — ну, не несколько дней, конечно, но — несколько буквально месяцев, быстро вступаешь во вполне близкие, нормальные такие отношения с — как это называется — ок-

ружающей природой. Со всем естественным — не вокруг тебя, а с тобой внутри — миром. И быстро, кстати, довольно понимаешь, что ты и не одинок тут вовсе.

Пройдя уже километров шесть, я вижу меж лиственничных веток и стволов слева маленькие, бесшумные, но неожиданно яркие красные вспышки. Они резко обращают на себя внимание на общем фоне монотонного строгого темно-зеленого колорита.

Небольшие лоскутки красной материи развешаны с более-менее равными промежутками между редкими в этом месте стволами на тонких веревках метрах в полутора от земли.

Останавливаюсь. Оправляю, подернув плечами, рюкзачок за спиной и ружьецо за плечом, словно давая тем себе время подумать, сойти ли с маршрута, шагнуть с привычных уже мне камней сухого русла на невысокий берег. На эту опушку — не опушку, площадочку, короче, покрытую травой с невысокими лиственницами, словно кем-то специально выбранную. Вернее — ну, конечно: специально выбранную. Да и кем — понятно.

И конечно: сойти и, так сказать, посетить!

Написал уже на этих страницах про безлюдность, полную незаселенность тамошних мест. Это так, да не так. Пообжившись, как сказано, в том краю, начав, его хоть чуть-чуть уже чувствовать, начинаешь замечать и встречать постоянные следы, приметы живущего там славного оленьего народа. А что следы эти, да и весь быт его такие не явные, не навязчиво-настырные, что ли, не бросающиеся, короче, сразу в глаза, так ведь люди те со своими тихими оленями — кочевые, да и немногочисленны.

А еще, надо думать, достаточно аккуратные. Ведь эти невысокие горы, стланик по склонам, лиственницы в распадках — их дом. А дома у себя желательно зря не мусорить и за собой убирать.

Но не раз с Николаем уже встречали эдакие палаты — настилы, устроенные между деревьев, явно, конечно, рукотворного происхождения. Небольшие. На высоте метров двух, двух с половиной. На них — кости животных. Медведя, как пояснил Николай. Зачем? То ли забыл тогда его порасспрашивать, то ли теперь уже запамятовал. (Но не лезть же сейчас в какие-нибудь справочники, путеводители по этнографии да шаманизму, чтоб достоверно «прояснить смысл» «и правдоподобно это все описать».)

Пусть даже ошибусь где, и что-то уже, за давностью лет, перепутаю. Все одно, оно — тысячекратно достоверней, знаю, будет любого фикшн. Да и нон-фикшн, тем паче.)

Попадались в иных местах и, — на такую же высоту примерно поднятые и привязанные к стволам, — эдакие словно бы большие коконы, спеленутые всякой то ли мешковиной, то ли шкурами.

Это тела умерших. Так традиционно хоронят своих покойников эвены.

Но все это, говорю же, встретишь не часто. Поэтому и мне сейчас, то есть там — в том своем походе, — глупо бы было — «не зайти в гости» на это недавнее человеечье становище.

Действительно — деревянный (а какой же еще?) навес-настил такой где-то чуть в отдалении присутствует. Никаких мертвых. Тут, понятно, не кладбище. Другое что-то.

Изжелта выбеленный, с трещинками, ломкий уже такой (на вид) череп животного на невысокой лиственнице. Медведя, как я понимаю. Действительно — небольшой совсем, если представить себе его живую башку.

И эти ветхие красные доскутки на веревках. Слегка колышутся бесшумно под легким ветром.

Постояв промеж всего этого... Нет, не так: присев на край опушки, спиной ко всему этому — ноги уже на камнях русла, аккуратно здесь — перепад высоты такой, что позволяет — как в кресле, — я вдыхаю запах лиственниц. Молчу (конечно). Вижу сероголубые кручи совсем недалеко. Облака. Верхушки лиственниц чуть покачиваются. То ли слышу, то ли краем глаза замечаю, чувствую, в общем, — сзади в полчетверти эдак, — неспешно пролетает, едва поднимая серые крылья, птица. Причем, мне представляется — кукушка. Откуда — здесь? Сейчас?

Вдруг — шум небольшой каменной осыпи с ближней горы. Обычное дело. Планета, надо понимать, дышит. О чем я тогда там думаю?

Наверное, о ней, о ней же... М-да...Прям, как в анекдоте...

Встав, — (вновь зачем-то оправить лямки почти пустого рюкзака и ремень ружья, встряхнуться), — чапаю дальше.

.....

Еще через несколько километров мне сначала будто мерещатся, а потом — нет, и впрямь! — слышны голоса. Подхожу уже к лагерю Нефедовских.

У них и впрямь шумно. И как-то — насыщенно-суетно, я бы сказал.

Народу полно: шутка ли, два больших отряда в один объединили! Причем, командиром одного — сам Нефедов, второго — эта его симпатичнейшая, с Наганом на боку, супруга. А, да, вспомнил: Галя ее зовут.

Еще даже геолог один молодой зачем-то к ним в этот отрядище втиснутый, вольный стрелок такой — не иначе, уж, ну очень что-то важное в окрестностях разведали. Впрочем, мне-то...

Работяг полно. Палаток пять-шесть, наверное наразбивали. И живут, похоже, все со всеми душа в душу. Но шум, гам, как положено в большом благополучном семействе. Опять-таки: грибы, рыбины, птичины... Какое-то промышленное производство прям развели. О! — не семейство, ферма скорее!

Нефедов — крупный с добродушным большим лицом и голубыми глазами, — симпатичнейший дядька лет тридцати, — я с ним уже знаком слегка, — ходит таким патриархом слегка вальяжным, очень благообразным.

Меня радушно приветствуют. Не потому, впрочем, что именно — меня, просто, говорил уже — закон тайга...

Только прибалудному геологу, — Андреем его зовут, — чувствую сразу, почему-то я не совсем по нутру. Да и не почему-то, а понимаю почему: ему годика двадцать три — двадцать четыре. Видать, после института сразу, — и понятно, кстати, тогда, что он, безотрядный, тут околачивается, — типа, стажуруется еще, небось. И меня, стало быть, не на много и старше. А я же не поймешь еще вовсе в каком статусе: вроде, не комсостав, но и не совсем, чтоб рабочий. Не обычный рядовой боец. То есть никому, кроме Николая, не подчиняющийся. А теперь, тут, значит, в отсутствии того Коли, и вовсе — никому. И ему, Андрею названному, в том числе.

Тем я нарушаю привычную и потребную ему для нормального самосознания иерархию. И его в ней выбранную и выверенную позицию.

И как это обычно бывает (ну, подергайся, побесись мальчика, глядишь стерпится...) и он у меня — соответственно — прилива дружеских чувств не вызывает.

Да и вообще: тип такой — высокий и в меру поджарый, светлые волосы, стрижен коротко, джинсы, — ну, не джинсы в действительном американском смысле слова, — это тогда еще страшный дефицит и большая роскошь в СССР была, — но типа того, и даже в определенном смысле покруче: настоящий какой-то спедовочный, но вполне по фигуре, их аналог. Куртка такая же — походно-боевая, но фасонистая (тоже, помню, на базе, с импровизированного склада выдавали — отличная брезентуха!). Сапоги. Чуть ли не платок шейный. Ну, ковбой, одним словом, на Диком Западе. Из какой-нибудь «Великолепной семерки», редко в те времена, а все ж таки в иных столичных кинотеатрах порой доступной. Но и в очках, кстати. Обожаю вестерны! Что-то ковбоев в очках никак припомнить не могу.

А, впрочем, парень, как парень... Чего агрессию, пусть даже и ответную, гнать... Кстати именно он меня, Андрей этот, спасибо ему! и окликнул вовремя — смотреть, как оленя режут.

Да, забыл сказать: при отряде том Нефедовском сейчас эвен Вася — лет сорока, невысокий, щупленький, — обычного их сложения, с обветренным морщинистым лицом, в старом, как часто они носят, пиджачке. С ним сын — парнишка лет шестнадцати. И выглядит так же. Вот — специально привели крупного оленя. Нефедову и его жене в подарок.

У нее, Галины, день рождения. А у них же, постоянных геологов, тех, кто здесь из года в год, — связи, знакомства уже давние со многими звенами. Ну, стало быть, и Нефедов, или эта Галя им что-то каждый раз «с большой земли» нужно привозит: лекарства, может, какие, или по мелкой технике что. Тогда же, при развитом социализме, все по стране — в страшном дефиците, тем более в таких, действительно самых дальних краях.

После всеобщих — со всеми — рукопожиманий, похлопываний, быстрых расспросов, — сразу, конечно, к костру: чайку!

И он благоухающий, обжигающий — из — ой, б.! — (еле в за-
глубевших пальцах удержал) — вмиг нагревающейся большой, ко-
гда-то белой, но с закопченным дном и боками алюминиевой
кружки...

Где ходили, кто что видел в последние дни на этих горах, в ле-
сах да урочищах. Новости. Что в других отрядах...

А у Криккера, — слышали? — рабочий на маршруте оправить-
ся пошел, — эдак за сопочку завернул, и нос к носу — с топтыги-
ным! Как назад, к привальному костру примчался, не помнит да-
же. Пошли потом глянуть на то место. А там свеженьким так и бла-
гоухает и окатышей — как из пулемета — тропинка целая: мишка,
значит, — со страху — в одну сторону, усераясь, а этот, Женька, —
ну, Жека... да знаешь ты, вместе летели, рябоватый такой... — так
он, короче, в другую. И тоже, говорит, облегчился...

Вообще, считается: медведи — трусоватые создания. От лю-
дей стараются, как правило, прочь убежать. Ну, конечно, не под-
раненный, если, не разбуженный зимой, не оголодавший и злой
спросонья. Или, если не раздражили его уж слишком, как в том
рассказе про «шнайпера». Ну, и не когда — мамаша при пестунах...
Тут уж, извини.

Самой, кстати, опасной почему-то считается встреча с соха-
тым, — лосем. Причем, ужасней даже, чем медленно склонивши-
мися и прицелившимися в тебя прочнейшими и острыми рогами,
он работает копытами.

Но вообще-то никакой зверь, опять-таки — не пораненный, не
при детенышах и т. п., первым на человека обычно не нападает.
Наоборот, заслышав голоса или иные человечески звуки, старается
куда подальше в чащу мотануть. Поэтому, — на базе еще, зам-
начальника партии по технике безопасности инструктировал, —
если уж с кем столкнулись неожиданно, то первым делом кричи-
те, — как можно резче, громче и визгливее. Впрочем, не беспокой-
тесь, оно само получится. И очень не любит никто из зверья разных
металлических звуков. Это совсем для них чуждое. Так что хорошо,
например, затвором карабина или ружья щелкнуть. Топором по
камню какому-нибудь хлобыстнуть. А вот стрелять — ни в коем
случае не рекомендуется (опять-таки см. тот рассказ). Это уж в са-
мой крайней, безвыходной и последней ситуации.

Подходит к костру Серега. С ним вместе мы не летели, он еще
в предыдущий, первый заброс из Охотска прибыл. Еще в апреле.
Но на базе слегка корешились. Немного приבלатненный такой, не-
высокий, но крепкий, и матерый какой-то, — видно — как сейчас
бы сказали: конкретный пацан. Лет за тридцать немного. Но дер-
жится таким вечным подростком, живчиком. Тоже москвич. С Та-
ганки. Работяга, но тоже вроде — на особом положении. Не как я,
при Николае — геофизике, а в принципе как-то так — сам по себе.
Он, вместе со своим закадычным дружкой Толиком (сейчас в дру-
гом отряде, и вообще, как мне кто-то сказал, их вместе в один от-
ряд стараются не определять) в этой партии чуть ли не восьмой се-

зон. Работают, — и он, и Толик в Москве таксистами (в 3-ем, что ли парке). С осени — по раннюю весну. А лишь оттепель наметится, сразу в экспедиционную контору. И сюда. Вот только, — говорит Серега, — и его, и кореша Толика что-то уже начальство, то, таксопаркое в Москве, щемить стало. Типа: что за летуны такие, — устравиваетесь, увольняетесь... Работайте, как положено! Как все! И по законам такого не положено, чтоб в трудовой книжке больше места для записей не оставалось! Не примем, если уйдете, назад уже!

Но тут, в партии, их все уже знают. И Серега знает всех. И применяют его лишь на специальных всяких важных и эксклюзивных, что называется, работах. В маршрут — кирпичи эти таскать — не гоняют. А вот ходит он в иных местах золотишко лотком мыть.

Работка, кстати, чудовая! Даром, что «эксклюзивная» и овеванная романтикой из все тех же детских книжек.

Пошел с ним один раз. Стоишь по колена в ледяном ручье, хоть и в сапогах резиновых непромокаемых, а там, внутри, в теплых носках, а все равно — холодища — жуть, течением тебя все время снести нарывает, а ты еще в том же обжигающем холоде руки беспрестанно полощешь. А у меня-то пальцы с детства еще и обморожены были (во дворе в снежки когда-то заигрался), так что я через пол-минуты взвыл и из ручья того опрометью выскочил. Романтику ту навсегда — как смыло. А он — нет, стоит же ж себе, намывает чего-то...

Потом целый коробок показывал. Не знаю, для каких уж целей, нужд, реализаций его начальник на те мероприятия порой посылал. Может, по партийной, в смысле — экспедиционно-научной части, может...

Серега, свойски хлопнув по плечу, обстоятельно присаживается на удобный чурбачок, тоже кружку берет.

Анекдоты. Вспоминают по кругу, друг друга порой перебивая. Старые. Про Хрущева-Брежнева. Про русского, немца, еврея и француза. Про забастовку проституток. Про армян и грузин (рассказывать надо с характерным кавказским смаком и акцентом, более всего, как правило, похожим на, как я позже сообразил, специфический акцент азербайджанцев. Но в нашей многонациональной советской общности, — какая разница...)

Комсостав к костру подходит. Нефедов. Галя та.

— Присаживайся, присаживайся, начальник! И, — Галина Пална, — наше вам с уважением: чайку? А чо, Галинапална, завтра тоже в маршрут не полезем?

Потом, кажется, — разгулявшись, видать, на собственном дне рождения (хоть алкоголя, как уже говорил, все эти месяцы — нигде ни капли), но так — эмоционально расслабившись и воодушевившись, Галина Павловна, уступив просьбам кого-то особо настырного, под благосклонную улыбку понимающего мужа — Нефедова, достает из кобуры свой Наган и разрешает желающим сдвигать по выстрелу в прищандоренную к стволу фанерку.

Но это все так — затравка. Лишь потом — главное, ради чего, собственно, я и был направлен к этим нашим соседям.

— Ладно, хватит ля-ля травить! Лапник, лапник ломать... Вася эвен сказал... Надо, значит... Да какая тебе х. — разница, зачем... Оленя он на нем чикать будет...

Быстро навалив метрах в двадцати от кострища грудку свеженаломанных листовничных зеленых ветвей на пустой полянке, ребята расходятся.

Остаемся поблизости только я и ковбой этот Андрей.

Вася вместе с парнишкой сыном, подойдя к пахучей горке, быстро разбирают ее, растягивают лапник в стороны и разравнивают его, превратив грудку в подобие зеленого ковра.

Отойдя в лесок, где, как я уже — от костра — краем глаза видел, неспешно и неслышно порой двигалась меж дальних листовничек серо-коричневая живая тушка, Вася выводит оленя. Олень идет покорно, чуть наклонив рога и кося большим овальным глазом. Звеня боталом на шее. И еще — с такими же красными, как те, на реке, матерчатыми лоскутками вокруг нее.

Вася словно бы что-то шепчет животному на ухо. Снимает колокольчик. Олень шевелит мягкими губами.

Плавню заведя олешка на середину листовничного ковра, некрупный Вася как-то очень умело и сподручно обнимает животное и то ли, играючи, валит, то ли почти любовно укладывает его на ветки. Быстро распределяет, раздвигает его передние подрагивающие слегка мохнатые ноги, оголяя, — я вижу из-под Васиных умелых рук, — светлое брюшко и грудь.

Не блестит, но промелькивает в его правом кулачке небольшой серый нож.

(Почему-то звены, — успеваю подумать я, — затачивают свои ножи всегда лишь с одной стороны: то есть, все длинное лезвие лишь с одного боку «на скос», как короткое жало столярной стамески. Такая манера. Может, металл берегут, — а так стачивается дольше?..)

На светлой груди оленя вспыхивает алая черта. Олень кричит, и, — видимо разрез на сердце очень глубокий, — через секунду из расширяющейся раны начинает бить пульсирующим фонтанчиком кровь. Но тут же Вася как-то столь же молниеносно переворачивает под собой животное со вскинувшейся оскаленной мордой и тут же втыкает свой нож куда-то глубоко — в основание черепа.

Олень дергает несколько раз ногами и затихает.

Вся операция произошла буквально в несколько секунд.

Интересно бы родиться оленем. Никаких тебе размышлений о бытии, о всяких смыслах жизни и смерти, ни памяти, ни надежд... И хищных бед от тебя, вроде, никаких никому... Тем более — если бы и смерть вот такая, вряд ли даже что почувствовать успеешь. Воистину: «...легкой смерти надо бы просить...» Хотя, — что мы знаем о том... О том, например, что думает — не думает олень. Хватит умничать!

Потом Вася на пару с сынишкой освежевывают тушу. Быстро просовывают между шкурой и телом кулаки в сделанный длинный — от шеи до паха — разрез, и сильными толчками — там, внутри — отделяют одно от другого.

Позже, уже разрезав брюхо, эвены молниеносно вытаскивают из недвижимой туши разные внутренности — органы, — в строго определенной, конечно, очевидной для них последовательности.

Крови много, но выступая, она тут же утекает в подостланный лапник, просачивается меж хвои и веток, и, таким образом, и в дужу не собирается, и, надо полагать, до земли не дотекает. Почему-то это, — кровь на земле, — считается очень неправильным. Сулящим в дальнейшем всякие беды оленьим людям.

Порой, отрезав и достав какой-то кусочек, и Вася, и подросток тут же лихо забрасывают его себе в рот. Иногда даже — столь же быстро и мельком отец с сыном делают предлагающий жест — один другому — видимо, попалось нечто наиболее лакомое.

Меня все это никак не удивляет. Наставник Коля, — за время долгих наших с ним разговоров у вечерних костров, — успел и об этом мне рассказать. «Здесьние жители — эвены, как и другие северные народы — эвенки, чукчи... едят сырое мясо. Знаешь, интересно так смотреть бывает: завалят лося или оленя, и тут же, что повкусней... С непривычки странно. Многие наши морды воротят: вот, мол, эти... Но у жителей тут нет никаких витаминов! Ни овощей, ни фруктов, только вот — летом иногда — лук дикий... Ничего, к чему южане привыкли, не растет! Только это вот — то, что в свежей крови, во всяких белках зверушек. Иначе бы весь народ просто вымер. А эти наши козлы, сами-то когда в таких-то условиях... Солженицына почитай... А, что говорить...»

Меня не удивляет и когда Вася, отвлекшись вдруг от сосредоточенного занятия, поднимает лицо, на котором, — я вижу, — словно вмиг увеличилось количество морщин, что, — так же мгновенно соображаю я, — означает добрую улыбку, и протягивает мне небольшую шершавую ладонь с ало-бордовым кусочком. Часть только что вынутого сердца.

Хотя — нет, удивляет, но не тем, что это вообще происходит, и даже не тем, что он протягивает это мне. А как-то вот тем, почему он сейчас именно меня выбрал. Словно на большом эстрадном представлении, или на общей лекции в ВУЗе — клоун со сцены или профессор с кафедры вдруг указывает, выкликает именно тебя из всего множества присутствующих, и в первый момент берет некая оторопь: почему именно тебя, из всех! и в изумлении машинально оглядываешься: точно ли? Чем удостоился?

Неважно при этом, что здесь, кроме него самого, Васи, и его сына, сосредоточенно склонившегося над той же тушей, нас сейчас только двое, а Андрей и стоит в паре метров левее, и Васина рука протянута определенно мне, так что ошибиться невозможно.

Я беру тепловатый скользкий кусочек и, секунду он трепещет в моей руке, будто, — но нет, конечно! — так просто, причудилось, — что-то в нем еще бьется.

Я кладу в рот, разжевываю. Почему-то, полуприкрыв глаза, пытаюсь не то, чтобы даже понять вкус, но как-то сосредоточиться... Глотаю. Чувствую, — (но, может, сейчас уже додумываю?) — как это маленькое тепло вошло в меня, разлилось...

Чуть не вырывается изнутри идиотское «спасибо». Но нечто, — я почти, кстати, ощутил тогда его, это «нечто», уберегает в тот момент от глупых слов.

А вкус... Живой. Вкус жизни, я бы сказал, если бы такое словосочетание не прозвучало столь же затертым и пустым, как слово благодарности в той ситуации. (С тех пор, кстати, — каюсь, грешен! — люблю сырое мясо. Иногда. А, может, тоже сейчас придумал. Про «с тех пор». Может, и всегда любил. Забыл просто.)

Потом мы сидим вокруг костра. Всем колхозом. И Вася с сыночком.

Неизменный чай. Жарится, варится, вертится на упругих оструганных ветках, превращенных в шампуры, олениatina.

Справляется Галинин день рождения.

Многие, кстати, части зарезанного оленя — остатки печени, легкие, кажется, глаза, то, что не было сразу поглощено Васей и его сыном (и вот — мной!) непосредственно при разделке, теперь измельчено, нарублено эвенами в этакую красную кашу и парит в большой эмалированной миске. Теперь уже все, конечно, приправлено солью, перцем, деликатесным, припасенным на особые случаи (с собой же таскать приходится!) репчатый луком, какими-то специями из маленьких коробочек и баночек, которые тоже возят с собой запасливые Нефедов с Галей.

Вид — вполне ресторанный. А что сырое, так разве не заказываем мы иной раз в том же ресторане бифштекс с кровью?

Желающие пробуют по кругу большой алюминиевой ложкой. Их, впрочем, немного.

— А этому, — подает голос Андрей и кивает на меня, — Вася вон вообще живое сердце дал.

Странно: мне в его голосе, кроме, конечно, раздражившего указательного «этому» (тем более, что, вроде, уже знакомилась, жмыхались), — слышится некая словно бы двойственная интонация. Слово бы: и обиды-зависти какая, что вот, мол, — «ему, а не мне!» — но при этом все-таки и скрытое внутреннее облегчение, что вот именно — не мне, а ему («такую-то гадость!»). А следствием данного интонационного сплава, — еще и презрение, брезгливое высокомерие, с каким, надо полагать, и говорят те, упоминавшиеся Николаем, наши козлы — об «этих всех...»

Смешно, что я в тот момент внутри себя почти ликую от его голоса, фраз, интонаций. Будто все это, как сейчас бы умные люди сказали, вербализует, удостоверяет и — как это? — делает означаемым, о! — то, что я действительно оказался сейчас среди «этих», а не в рядах «тех». А от вспыхнувшего осознания последнего факта мне и совсем радостно.

— Как «живое»? — хитро улыбается добродушный Нефедов, — раз Вася «дал», значит, уже не живое. — И тут же ко мне: — ну, и как? Не помер?

Я, деланно улыбнувшись, киваю на передаваемую из рук в руки белую миску. Которую, — замечаю, — Андрей, кстати, едва она доходит до него, брезгливо передает следующему.

Нефедов тем временем, пропустив мой кивок, уже обращается к Васе, мирно притулившемуся ровно напротив него, «через костер», который слегка сейчас притих под сковородой, кастрюлей, шампурами: — Вася! Ты за что же так паренька, нашего гостя любил?

— А, зачем говоришь однако, нацальник! Пустое какае, — морщит лицо сквозь дым костра Вася.

Позже, когда свежепожаренные и проваренные куски разобраны прожорливым народом (и то сказать, вряд ли есть мясо нежнее и вкуснее правильно приготовленной оленины), костер разгорается с новой силой под очередными набросанными ветками.

Приходится даже отодвинуться. Жар.

Красные искры взмывают в причудливых пируэтах. Устремляются, кажется, к яркому еще солнцу на Западе, но, выскочив из области тени, совместившись с ярким пятном его диска в момент превращаются на этом фоне в белесые кусочки пепла. Однако попробуй — схвати такую легкую пушинку! Враз даже свои загрубевшие пальцы до водырей обожжешь.

Позже мне напихивают в рюкзак несколько деликатеснейших кусков туши «для наших», специально любезно выбранных (в подарок же посылают). Килограммов десять. Немного, если учесть, сколько еще осталось (северный олень — небольшое, вроде, животное, а вот же!): разобрал те самые речные камни у берега, и сделал еще углубление, так что вот она — впрямь тут, никуда не делась, ледяная водица — подкаменная кровь реки! — туда, в этот импровизированный холодильник упрятали остальное.

Я, просунув руки под лямки, надеваю рюкзак. Не очень тяжелый.

— Эдек, эдек, эдек луце... — приговаривает Вася, помогая мне справиться с ним и подтягивая сзади ремешки.

Прощаюсь с Нефедовскими. Интересно, что Андрей, — мы в тот момент наедине, — пожимает мне руку как-то особенно крепко и дружески. Вроде, искренне. Или так показалось? Хлопает на прощание по плечу.

Я вновь ступаю на сухие камни.

Теперь!

Мне нужно рассказать... Мне нужно, наконец, назвать то, за чем, собственно, я и взялся однажды, все, здесь уже понаговоренное, излагать. К чему вел-то все...

Неоднократно в течение нескольких лет я пытался приступить к этим запискам.

Ха! — да что там «записки», «годики»!

Наверное, рассказать *это*, сформулировать, вер-ба-ли-зо-вать... «озвучить»! — я впервые так остро захотел еще тогда, 30, нет, сейчас вот уже ровно 31 год назад, когда осенью (поздний октябрь, или

уже даже начало ноября было) вышел из самолета в московском «Домодедово», и в глаза ударило, просто-таки резануло невообразимым колоритом, палитрой последней листвы. От темно-зеленого еще — к желтому, ярко-красному, бордовому, коричневому и охре... Там-то ведь, в только что покинутых горах, уже опять лежал сплошняком белый снег. А и до этого, почти для меня полгода в мире преваляровало только два цвета: зеленый чуть посветлей — лиственницы в распадках и долинках, и — совсем темный — так называемый, стланик — карликовый кедр на склонах... А тут!..

Но вот: и опять ухожу...

Да, я впервые подумал тогда сказать. Ей.

Не сказал. Не смог? Испугался? Даже, может быть, застенялся как-то? Счел лишним, проходным и ненужным? Или слов не было?

Собственно, их и сейчас не больно-то... И снова боюсь? Нет. Да! — можно сказать, боюсь. Потому, что знаю, все равно их не хватит. Или они — не те. И боюсь, что сейчас вот напишу-таки, а получится смешно, потому, что если не найду нужных слов (а не найду, потому что их нет), то сказанное не передаст, не дотянет до действительного. До реальности?

А тогда же ведь — вроде как ничего и не было. А ведь действительно, если говорить словами, то ничего и не было, не случилось. И, значит, — не было ни-че-го.

Просто я пошел со своим ружьишкой и рюкзаком за плечами, теперь уже увесистым, но для меня, совсем еще тогда молодого, не слишком тяжелым. Назад. К нашим палаткам.

Теперь вверх по той же каменистой реке.

Стало вечереть.

Голоса людей из покинутого лагеря, слышные мне какое-то время довольно четко, стали вскоре словно бы прерываться, наступая сзади редкими приливами затухающих волн. Потом и вовсе прекратились. Уплыли в область какого-то уже вечного прошлого за моей спиной. Подумалось еще: как же быстро, как эдак вот враз оно наступает...

Я миновал ту опушку-площадку с медвежьим черепом и красными лоскутками на веревках. На этот раз она была справа. Но даже не стал останавливаться. Просто махнул зачем-то рукой знакомому месту и сам усмехнулся такому своему ребячеству: До свидания!

Я вообще не останавливался. Просто шел и шел. Равномерно перешагивал с камня на камень.

Солнце стало садиться. Приходил и уходил несильный ветер. Лес и горы вдали молчали.

Хотя поблизости от меня, то совсем рядом, то чуть в отдалении что-то порой шевелилось, похрустывало, казалось, вспархивало. Словно бы весь этот окружающий меня и доступный мне мир начинал уже потихоньку дремать, но по временам все-таки еще вдруг вздрагивал, вскидывался, чтобы пробормотать в полусне: Я здесь! Здесь... И вновь затихал.

Я все шел. Мне было легко. Удивительно легко и свободно. Как еще никогда прежде.

Даже этот рюкзак, хоть конечно немного тяготил, но и в нем ведь была эта — своя, приятная ноша: благой дар сотоварищам...

Я шел и шел.

И вдруг понял, что могу идти так всегда.

Действительно всегда. Просто идти и идти. Я никуда не хочу возвращаться.

Никогда, никуда.

И в принципе: смешные эти «меня»... «я»...

Вот именно, — разве что, только «в кавычках»...

Потому, что этого самого «меня» не то, чтобы вдруг не стало, но, напротив того, почувствовалось, причудилось, но как-то очень уж явно: словно бы стал в тот момент (не смейся! — предупреждал ведь...), будто бы сделался всем. Вообще — всем.

И этими, начавшими как раз появляться редкими звездами. И всеми молчащими травами и камнями внизу. И самим их молчанием, которое, таким образом, и с этого момента, уже вовсе не молчание. И следом от птицы в окружающем остывающем воздухе. И этой птицей. И этим воздухом, плавающим между стенами гор. И горами, И тем, что за ними — далеко-далеко. И всем тем, что я уже знал на тогда еще недалгом своем веку. И всем, что узнаю и увижу (если суждено будет) еще когда-нибудь. А если нет, если сейчас вот прямо тут — все! стоп! — больше нет ничего! — и не суждено больше, то — тем, что остановило, стопарнуло, этим тем, что больше ничего не судило и не судит мне, тем, что и есть это самое «ничего»...

И — да! — мне хотелось только идти и идти. Будто вечно растворяться в этом всем. И быть им. Не возвращаться.

И я не то, чтобы забыл о ней, о своей той, далекой единственной и возлюбленной, более того, она даже ни на секунду не переставала для меня быть таковой. Но, — и мысль об этом как будто даже вдруг испугала самой своей непривычностью, — мне вовсе не необходимо возвращаться и к ней! И, собственно... Ведь она — тоже теперь в этом всем... А, значит, во мне. И со мной. Уже навсегда.

Говорю «как будто бы испугала», потому, что я тут же осознал, что, на самом-то деле, меня и испугать всерьез ничего больше не может.

Еще издали, после очередного поворота каменного русла, вдали замерцал костер. Уже нашего лагеря.

Меня даже... Нет, не то, чтобы огорчило. Но будто бы — уже это одно — что-то несъишно, но навязчиво чуть-чуть нарушило внутри, в таком вселенском — мне. Вторглось.

Поначалу я не прислушивался к досадному нарушению, к сбою внутри. Так в первые моменты начавшегося тихого раздражения или боли мы стараемся не обращать на них внимания, до поры врем себе, что их вроде как нет. Вроде как — не обращаем внимания, а, значит, их и нет.

Но нет! Подойдя ближе, я различил силуэт Николая на фоне яркого костра в почти уже наступившей темноте. И не знаю, что первое: увидел или понял, что в руках у него ружье.

— Ко-о-ля! — закричал я, чтобы предупредить его. Ведь ясно, он хочет выстрелить в воздух, чтобы дать знак мне, идущему, и чтобы я потом так же — выстрелом — отозвался ему. А вот этого я точно: ужас как испугался! Но страхом, понятно, совсем другим.

Ведь вся эта стрельба сразу и уже окончательно порушит, убьет мое чудесное состояние. Вновь соберет из блаженного рассеяния в глупое, грубое, полное пустых желаний, мыслей и слов целое, в некоего, опять определенного меня — по фамилии, имени-отчеству...

Так те звери боятся железного лязга.

Но состояние, конечно, тут же порушилось уже и от этого моего испуга. И оклика. Все. Ушло. Исчезло. Улетучилось.

Но... И подойдя уже близко, я увидел, как над костром на фоне темного неба поднимаются яркие искры. Мечутся. Уходят к ночным звездочкам. Но в завихрениях воздуха так порой прыгают, что кажется — наоборот — это звезды сыплются вниз, сюда, в траву и камни, на едва уже различимые груды гор и черные сгустки леса вокруг.



Борис ЮДИН

/ Нью-Йорк /

* * *

Тысячу строк ни о чём,
Звуков цветной хорал
Я б никогда не прочёл,
Если бы не написал.

Букв суховатый ритм,
Иронии хлороформ,
Таинство точных рифм,
Мистика твёрдых форм.

Звёздная плоть — в окне.
Ночь и стакан недопит...
Пусть словоблудие мне
Кто-нибудь да простит.

* * *

Стояло лето редкостной красы,
Стоял закат конём золотогривым,
И даже электронные часы
Стояли специально для счастливых.

И всё же, непонятно почему
Качались звёзды тихо и ритмично,
И наша жизнь упрямо шла к тому,
Что было неизбежно и привычно.

Привычно ветер тучам хмурил бровь,
И небосвод был свеж, упруг и сводчат.
И птичьи трели, словно горлом кровь,
Втекали в таинство цветочных почек.

Ветвились липы, в облака стремясь,
 При виде пчёл тычинки возбуждались.
 И мы с тобой тогда вступили в связь,
 Чтоб превратиться в зреющую завязь.

* * *

На опушках — кипрея султанчики.
 Это значит, что время ушло
 В парашютный десант одуванчиков,
 В тополиные НЛО.

Тёплый ветер созвездья качает
 И задерживает восход,
 Чтоб романтикам снился ночами
 Неизведанный завтрашний год.

Утренняя зарисовка

Облака в сусальной позолоте,
 Врёт скворец, что он служитель муз,
 И упорно ходит в белом дхоти
 Возле дома пожилой индус.

Он не видит, что росисты дали,
 Что газонная трава мокра,
 Шлёпая ладонями сандалий
 По асфальту нашего двора.

А земля, как прежде, закруглённа,
 Вишну с Шивой — в сущности одно,
 И поёт скворец на ветке клёна,
 Что любить и сладко и смешно.

* * *

Чист небосвод, сочнее светотени,
 Стройнее угловатых яблонь стать,
 И на ветвях такое белопенье,
 Что хочется скворцом защебетать.

Как хорошо болтать о всяком вздоре,
 Смеяться, петь, смотреть девицам вслед...
 И кажется, что нет ни бед, ни хворей,
 И верится, что смерти больше нет.



Михаил ОКУНЬ

/ Аллен /

Уже хорошо!

От автора

В пятом номере «Невы» за 2004 год прочитал байку о себе Константина Мелихана¹:

48. ОКУНЬ

Я сказал поэту Михаилу Окуню:

— У Ильи Фоянкова есть такая фраза: «Тарту дорог как город утрат».

Миша говорит:

— Блестяще!

Я говорю:

— Это палиндром. Справа налево читается так же.

Миша ответил:

— Ну, это легко придумать.

Что ж, палиндром Фоянкова помню, а вот сам факт такого разговора стёрся из памяти. Но раз Костя утверждает... А другая байка оказалась совсем родной:

47. БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

6 июня 1999 года великая русская поэтесса, Мандельштам в юбке, Белла Ахатовна Ахмадулина вышла из метро «Канал Грибоедова» и вместе со своим мужем Мессерером двинулась к Малому залу филармонии им. Глинки, где должна была проходить церемония вручения литературных премий «Северная Пальмира». Ахмадулина была в белом платье и белой же шляпке с вуалью.

¹ Константин Мелихан. «Падающие звезды». «Нева» №№4,5-2004.

Какая-то старуха на Невском с корзиной ландышей крикнула им:

— Счастья вам, счастья!

На что Ахмадулина ответила:

— Но если это свадьба, то я жениху не завидую.

Эту историю Мелихану рассказал я. Так уж получилось, что шел плотную за «звездной парой», и Белла Ахатовна, обернувшись, обратила свою реплику ко мне. Против истины Костя, однако, несколько погрешил: ну, не могла Ахмадулина ехать на метро, — вышли мы из автобуса для участников мероприятия под названием «Всемирный конгресс поэтов», проводившегося в юбилейный пушкинский год. Да и направлялись не в филармонию на вручение, а по более прозаическому делу в другое место: на обед в ресторан «Невский», что на углу Невского и Марата.

Но дело, конечно, не в этом. Публикация в «Неве» подвигла меня собрать свои байки о писателях (впрочем, не только о них), расплывённые по разным изданиям и черновым тетрадям, добавив к ним засевшие в памяти, в один «короб». Его содержимое и предлагаю вниманию читателей.

Уже хорошо!

1990 год. Был в Москве в гостях у писателя Славы Пьецуха. Показал только что вышедшую поэтическую книжку — хоть и под одной обложкой с четырьмя другими авторами («братская могила»), хоть и название без моего ведома изменили... Мама Славы начала читать с аннотации: «Родился в Ленинграде...» Взглянула на меня и с чувством сказала: «Уже хорошо!»

Десять «дринков»

Слава Пьецух выехал за границу, кажется, в Марсель — с издателем договор заключать. В первое же утро в гостинице пошел опохмеляться, заказал водку «Stolichnaya». Девушка за стойкой налила ему, как принято на Западе, один «дринк» (двадцать грамм). Слава удивился и попросил добавить. Она добавила еще один «дринк». Слава огорчился и сказал: «Нет уж, сестра, ты налей мне, как положено!» Девушка русский язык навряд ли знала, но Славу поняла. Он выпил свои законные двести граммов и бодро начал трудовой день.

Если учесть, что Хемингуэй считался очень крепким пьяницей, так как мог за вечер выпить в баре аж восемь «дринков» и не валился с ног, то что тут можно добавить?

Галстук

Из-за границы Слава Пьецух привез два примерно одинаковых галстука, но один стоил раз в пять дороже другого. «В

чем тут дело?» — полюбопытствовал я. Слава со знанием дела объяснил: «Видишь эту бирку? — она указывает на то, что вещь очень модная». Действительно, к одному из галстуков впереди на видном месте была пришпандорена какая-то лейбла, которая будто сама напрашивалась, чтобы ее спорили. Позже, подвыпив, Слава признался: «Чуть прямо в магазине ее не срезал — спасибо, продавец остановил».

Серый костюм

Встретились со Славой Пьецухом в вестибюле ЦДА. Слава был в двубортном сером с отливом костюме. Внезапно в дверях появилась девушка с бледным лицом и широко раскрытыми черными глазами. Слава спрятался за меня. Когда девушка прошла, я с понимающим видом ухмыльнулся. Слава заметил это и сказал: «Нет, тут всё сложнее. Она когда видит меня в этом костюме, сразу в обморок падает. От восторга».

Раки

Слава приехал в Петербург, остановился на квартире знакомых у Кузнечного рынка. Вместе со мной в гости туда напросился молодой поэт Леша Ахматов — познакомиться со столичной знаменитостью.

Закуски оказалось совсем мало, и Ахматов вызвался сбегать в магазин. Вместо ординарной «Докторской» притащил с Кузнечного целлофановый пакет, полный живых раков. Славе это очень понравилось — любил он неординарные поступки. Видимо, это гениое — известно, что отец его выстроил в Подмосковье дом из бутылок (пустых, разумеется).

Когда подвыпили, Ахматов принялся читать свои стихи. Слава уставился в окно, на двор-колодец. Я тихо сказал Леше: «Не порти впечатления».

Попугай

Как-то раз затащил Славу Пьецуха во время его приезда в Ленинград на выступление в кафе «Сонеты» неподалеку от Невского. Кафе было молодежное, безалкогольное (шел 1986-й год), с «культурной программой», которую мы и были призваны осуществить. У входа стояла толпа, нас встретили, провели, как сквозь строй. Какая-то девушка схватила меня за руку, умоляюще попросила: «Возьмите меня с собой!» До сих пор жалею, что не сжал эту руку...

Слава с воодушевлением прочел один из своих лучших рассказов — «Попугай», имевший всегдашний успех на публичных чтениях. В ответ — молчание, полное отсутствие реакции. Трезвая молодежь ждала музыки, танцев, а главное, возможности втихаря разлить принесенное с собой.

Настала моя очередь выступать. Я встал, взял у Славы рукопись и объявил:

— Читаю рассказ «Попугай» еще раз!

Первый блин

Мосфильмовский режиссер Валя М. внешность имел вполне тевтонскую и любил, чтобы его называли Вальтером. Хотя в то же время утверждал, что состоит в дальнем родстве со Львом Толстым.

Валя долгое время был вторым режиссером на различных фильмах, но наконец ему дали снять свой фильм. Он оказался неудачным, хотя тема была актуальной — бывший воин-афганец не находит себя в мирной жизни и уходит в преступный мир. И даже лучший друг Вали Слава Пьецух на худсовете Мосфильма его не поддержал, заявив: «Не понимаю, как такой талантливый человек мог снять такой плохой фильм!»

Солонка

Через некоторое время после досадного провала Валя появился в Питере — опять же вторым режиссером, на этот раз фильма об адмирале Невельском — какие-то сцены балов нужно было доснять во дворцах. Пригласил в гостиницу «Россия». В компании была красивая местная девушка из тех, что всегда трутся около киногрупп.

Наутро Валя позвонил и нетвердым голосом сообщил, что ночь провел в милиции, а сейчас отпущен под подписку. Девушка оказалась несговорчивой и опытной — вызвала ближе к ночи милицию, показала разорванную блузку. «В общем, попытку изнасилования шьют. — Резюмировал Вальтер. — Давай встретимся, выпьем, а то денег совсем нет».

Посидели в незатейливом ресторанчике без специального названия (просто «Вечерний ресторан») на углу Некрасова и Литейного. Валя был в утрюмом настроении. Внезапно ожесточенно развинтил солонку, брезгливо отбросил в сторону колпачок с дырочками, полез за солью пальцами: «Не для того меня цивилизация десять тысяч лет пестовала, чтобы я не имел права руками соль брать!»

Девушка и чемодан водки

Однажды Валя М. отомстил Славе Пьецуху за двуличный отзыв о фильме на худсовете. Позвонил в Ленинград одной девушке, влюбленной в Славу, и сказал, что тот без нее просто погибает и хочет непременно видеть. Бросай всё и приезжай, человека спасать надо! Но и добавил при этом, что в Москве сейчас совсем обалдели с горбачевским «сухим законом», а у вас там в Питере, мол, полегче, недурно бы с собой захватить.

Влюбленная девушка с чемоданом водки явилась в Москву. А Слава Пьецух в этот период, во-первых, был в полной связке, во-вторых, ни под каким предлогом не мог вырваться из семьи, а в-третьих, выполнял какую-то сверхсрочную работу. То есть не нужны были ему ни девушка, ни водка, и Валя об этих трех пунктах прекрасно знал. И, таким образом, получил под свою опеку огорченную и не пристроенную в Москве девушку, а в свое распоряжение — чемодан ленинградской водки в придачу.

Художник

Как-то раз три дня подряд бражничали в Москве на квартире у одной милой женщины, редактора «Московского рабочего», и, кстати, внучки одного из ближайших соратников Сталина, — внешнее фамильное сходство прослеживалось весьма явно.

Дом был номенклатурный, располагался на площади Моссовета, вход от хвоста коня Юрия Долгорукого. Внизу, в подъезде, сидел вахтер, и по старой памяти спрашивал иногда, кто к кому идет.

На четвертый день, вывалившись с компанией на лестничную площадку, увидел на двери напротив начищенную медную табличку с витиеватыми буквами: «Художник Налбандян». Я опешил: тот самый! — Сталин, Брежнев... Перед глазами поплыла череда репродукций из старых «Огоньков». Наверное, подумалось, у заслуженного мастера официального портрета обязательно должны быть штуки типа тех, которые когда-то имелись у провинциальных фотографов: вставляешь физиономию в отверстие — и вот уже скачешь в черкеске на вороном коне по горам Кавказа с похищенной красоткой через седло. И я, и я страстно желаю быть запечатленным в строгом френче генералиссимуса или в белом парадном кителе маршала!

Несмотря на уговоры сопровождающих лиц, я позвонил в дверь раз, другой. Художник не открыл.

Как пишется стихи

Вышли с поэтом А. из квартиры, где он только что вдрызг разругался из-за пустяка со своей хорошей знакомой. «Зачем ты так?..» — спросил я. «А чего она?..» — ответил он. А потом что-то забормотал себе под нос. Я прислушался: «От обиды ли, от либидо...» «Уже оформляет» — понял я.

Неадекватная реакция

Поэт Т. звонит своей знакомой художнице:
— Аллочка, вроде бы я вчера у Сноховичей набедокурил? Матерился, опрокинул что-то? А то очень смутно...

— Да что ты, Миша, этим людям в общем-то повезло. Вот в прошлый раз, когда мы выпивали в мастерской у Гали и тебя попросили стихи почитать, ты так распалился, что дверь ногой вышиб и мольберт разнес в пух.

— Господи, и этого не помню!..

Повесив трубку, поэт Т. задумался: «Всего-то стихи почитать — и такая неадекватная реакция!»

Псевдоним

Комиссией по работе с молодыми литераторами при Ленинградской писательской организации руководил поэт Вольт Сулов. А вскоре на мероприятиях, проводимых этой комиссией, стала появляться молодая поэтесса Татьяна Вольтская. Юморист Андрей Мурай поинтересовался: «Это не отсюда ли такой псевдоним?» «Нет, — убежденно ответила поэтесса. — Нет!»

Эпиграмма

В подчинении у Вольта Сулова по ведомству молодых литераторов находился поэт Герман Гоппе — названия его должности не помню, но приходил он каждый день в Дом писателя, сидел в кабинете, курил, поругивал «молодых начинающих», строго уставив в них стекаянный глаз (был он инвалидом Великой Отечественной). А среди молодых своими дарованиями выделялись в то время две поэтессы, две Ирины — Знаменская и Моисеева. А талантливым людям, как известно, позволено несколько больше, чем остальным. Видимо, поэтому в молодежной литературской среде родилась следующая эпиграмма:

За двух Ирин, на радость всей Европе
Когда-нибудь получит Вольт по Гоппе.

Напряжёнка

О том, что работа с молодыми литераторами в те годы велась весьма интенсивно, свидетельствует частушка, приписываемая Вольту Сулову:

Ты не лезь с любовью, жёнка,
По постели не юли.
Тут такая напряжёнка —
Самого-то за...ли!

Поминки

Гоппе пьяниц недолюбливал, но сам выпить любил. Одним из его постоянных собутыльников был татарский поэт Риза Ха-

лид. Однажды Герман Борисович, находясь уже слегка под мухой, поднялся из писательского буфета в свой кабинет, сел за письменный стол и огорченно сказал: «Опять Риза как дереза!»

Уже неизлечимо больной, Гоппе снова захотел увидеть своих бывших подопечных, молодых (и уже не очень) литераторов. Решил устроить посиделки на дому. Приглашал так: «Приходи на мои поминки!»

Хвост редактора

Первая книга поэта Иры Знаменской выходила в «Совпесе» под редакцией писателя Николая Коняева. Когда книга уже вышла, один доброжелатель заметил в ней любопытную слитность: «коня его хвост». И обратил внимание Коняева на «Коняева хвост». Коля сначала немного напрягся, но потом взял себя в руки и сказал: «Так и было задумано».

Почитатель

Эту историю рассказал мне писатель Николай Шадрунов, ныне уже покойный. В Доме творчества «Малеевка», что под Москвой, он заметил какого-то писателя, стоявшего на четвереньках. При этом тот припал лбом к расколотой мемориальной доске, прислоненной к стенке — словно в молитвенном экстазе. «Какое поклонение, какая любовь! — подумал Коля. — Надо посмотреть, кому адресована эта доска и познакомиться с таким искренним почитателем таланта». Он хотел подойти поближе, но в этот момент писатель, всё так же на четвереньках, отправился к входу в дом. И Коля знакомиться с ним раздумал.

Спусксовая доза

— Налей-ка мне сегодня спусковую, — приняв некое важное решение, попросил писатель Б. в литературском буфете. Это означало, что ему требуется единоразово двести пятьдесят граммов водки — и после этого писатель уверенно уйдет в семи-восьмидневный тяжелый запой.

То есть ежели бы буфетчица Люда остановила свою ручку хотя бы на двухстах, не пропало бы целой недели для литературы. Но этого, увы, не произошло.

Писатель Б. выпил, коротко выдохнул, взгляд его, обычно напряженный, просветлел. Запой благополучно начался.

Не с нами...

В конце восьмидесятых годов в писательской среде Ленинграда стали нарастать раскольнические настроения. На высоких табуретах за стойкой литературского буфета сидят Илья

Фоняков и сын мансийского народа Юван Шесталов, желающий в числе некоторых других отделиться. Шесталов говорит:

— Вот — Пикуль на нашу новую организацию тысячу рублей прислал!

Фоняков, прищурившись, спрашивает:

— Тебе, что ли, прислал?

И всё же откололись. Палиндром Фонякова «И манси с нами» не стал пророческим.

Летописец

Писатель Константин Мелихан любит записывать за другими. Иногда спрашивает даже разрешение.

Однажды сидели в компании. У меня в разговоре вылетело: «Стоял, как впопанный...» Сам не знаю, почему. Костя тут же вежливо спрашивает:

— Можно записать?

— Пожалуйста! — говорю.

И теперь всё жду, когда этот «впопанный» где-нибудь всплывет.

Швейцарская революция

Хотя и сам сожалею, что многого не записывал, а теперь иногда лишь всплывает в памяти обрывками. Вот в армии сержант из Уфы Гена Афиногенов шипит мне в лицо: «Я тебя сгнию!..» Или у Финляндского мужик спрашивает: «Как добраться до улицы швейцарской революции?» Я поначалу, помнится, опешил (была ли в Швейцарии хоть какая-нибудь революция?). А потом заглянул к нему в бумажку: «ул. Ш. революции» и сообразил — он ищет Шоссе революции. Уже, слава Богу, нашей, отечественной.

Увольнительная

Молодая актриса Катька Р. была девицей весьма находчивой. Как-то раз она опоздала на похороны родственницы и пришла на кладбище в ранних сумерках. Пока нашла свежую могилу и скорбно постояла возле нее, стемнело. Ворота оказались уже закрытыми, и Катя, найдя подходящее место, стала перелезать через чугунную ограду.

От кладбищенской церкви поспешно отделилась старушка-служительница и, подскочив, запричитала:

— И что делают, молодежь! И не стыдно?!

Катька, скорчив подходящую мину, сдавленно просипела:

— Тихо, бабка! Тороплюсь я — у меня увольнительная только до первых петухов.

Старуха, крестясь, дунула обратно к храму.

Окладоискатель

Писатель Евгений Звягин внешностью и телосложением напоминает Бальзака. Первую тонкую книжку прозы выпустил поздно, в солидном уже возрасте. Называлась она «Окладоискатель». В литературных кругах ее окрестили «Окладоискатель». Но если говорить об авторе, то работал он, как и положено всякому уважающему себя писателю из андеграунда, оператором газовой котельной, с места на место не бегал, окладом вроде был доволен. Может быть, коллеги учуяли в названии книги нечто подсознательное?

Бацалёв

Московский писатель и редактор Володя Бацалёв однажды, едучи в командировку в Питер, ухитрился попасть в вытрезвитель сначала на Ленинградском вокзале в Москве, а потом по приезде — на Московском вокзале в Ленинграде. Персонал последнего, по отзывам Володи, оказался добрей, что делает честь нашему городу.

Была у Володи интересная теория, что голову в принципе мыть не надо — через некоторое время засаленная грязь сама скатывается с волос, и таким образом происходит полезное самоочищение. Не взять ли это на заметку различным разработчикам всё новых сортов шампуней?

Умер Володя скоропостижно, во время писательского пробега Москва — Петушки. В собственные Петушки отчалил...

Москва — Петушки

Не знаю, проводятся ли сейчас, в новое время, писательские пробеги (на электричке) по маршруту Венички Москва — Петушки. А в прежние времена были они регулярными, и каждый уважающий себя писатель-участник почитал своим святым долгом до Петушков, подобно Веничке, по известной причине не доехать. Так что в конечном пункте в итоге оказывались лишь примкнувшие к пробегу старушки, студенческая молодежь и плохие писатели.

Хотя пробеги, может быть, и проводятся. Ведь автор «Москвы — Петушков» не мог, думаю, и во сне увидеть, что его герою поставят памятник на Курском!

Вкус водки

В ЦДЛ на встрече москвичей с ленинградцами во второй перестроечный год поэт-метаметареалист Парщикова возмущался: «Почему в ленинградскую делегацию не включен ни один представитель питерского андеграунда?» Но позже, уже в гос-

тиничном номере, отведав привезенной нами водки, подобрел и сказал: «Совсем гайки закрутили — уже полгода водку в рот не брал! Даже вкус забылся». Кто-то из присутствовавших предложил создать совместными усилиями произведение под названием «Вкус водки». Действительно, есть роман советского классика «Вкус хлеба», на театрах шла пьеса «Вкус меда». «Вкус водки» с интересом читался бы людьми, его забывшими.

С помощью Бродского

Молодой поэт Е. переехал на жительство в Америку, разыскал адрес Бродского, послал ему свои стихи. Далее молва утверждает, что нобелевскому лауреату стихи Е. понравились и он пообещал ему всячески помогать. Писатель И., услышав эту историю, саркастически усмехнулся: «Ну чем Бродский может ему помочь? Стихи за него станет писать, что ли?»

Реклама-Шанс

Писатель Владимир Рекшан всегда чем-то недоволен, много сердится. И бросается из крайности в крайность. То бывало, когда писатель в подпитии, не отвяжешься от него, встретив где-нибудь на Невском у «Соломона», пока сто грамм не поставишь. То вдруг становится убежденным анонимным алкоголиком и в городской прессе печатно порицает своих бывших коллег по бутылке. При этом предпочитает дружить исключительно с американскими анонимными алкоголиками и, соответственно, бывать в США на их семинарах. То вспоминает о спортивном прошлом и едет прыгать через планку на ветеранские соревнования не куда-нибудь, а непременно в Венгрию. То срочно добирает рокерской славы, появляясь на сцене с актуальной песней «Гуд бай, империя!» и в трусах. В общем, разносторонняя личность. А с некоторых пор много пишет о Париже и, заметив, что арабы ведут себя там нагло, страшит Запад мусульманской угрозой.

...Если приглядеться, то название популярной питерской газеты объявлений «Реклама-Шанс» как-то переключается с фамилией писателя. Была бы реклама, а шанс, глядишь, появится.

Кто такой?

Одна знакомая девушка увидела в фойе на концерте группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова, и, робея, попросила у него автограф. В руках у нее была книга писателя Рекшана, легенды (каковой он, во всяком случае, сам себя считает) питерского рока, посвященная как раз теме рок-музыки. Причем с автографом автора. Ее-то она, за неимением ничего другого, и протянула Бутусову.

Тот нисколько не смутился наличием другой подписи и начертал на шмуцтитугле автограф. Девушка ликовала: одна книга — и с двумя автографами великих! А Бутусов, взглянув на обложку, спросил: «А кто такой Рекшан?»

Никак!

Когда поэтессу Надежду Михайловну Полякову (1923 — 2008) спрашивали о каком-нибудь человеке, имя которого на слуху (например, об известном думском политике): «Как Вы к нему относитесь?», она обычно отвечала: «Так же, как и он ко мне». И на недоумённый вопрос собеседника: «А как он к Вам?..» припечатывала: «Никак!»

Турнир

Однажды поэтессы Надежда Полякова и Нонна Слепакова затеяли поэтический турнир — обменивались эпиграммами. Кто победил — не знаю, но одна эпиграмма Слепаковой запомнилась:

Не суй свой инструмент,
Вятель бестолковый,
Под грозный монумент
Надежды Поляковой.

В Париж

Эту историю рассказала мне поэтесса Наталия Иосифовна Грудинина (1918 — 1999).

Как-то раз крестьянский поэт Михаил Сазонов пришел на прием к Александру Прокофьеву, возглавлявшему ленинградскую писательскую организацию, и попросил командировку в Париж: «Задумал я поэму о парижских коммунарах. Надо бы на месте ознакомиться».

Прокофьев вышел из-за письменного стола, приобнял гостя за плечи и, окая, сказал:

— Господь с тобой, Минька, какой Париж? Мы же тебя до соседней деревни-то отпустить не можем, чтобы ты по дороге не набрался, а тут — в Париж!..

Выстрел холостой

Грудинина вела различные литературные объединения. Люди в них приходили разные. Вот бледная, болезненного вида девушка читает сочувственно:

Плохо коммунистам —
Их никто не любит...

А вот крепкий ветеран бодро, без всякой задней мысли заканчивает стихотворение о революции:

И который год уж над Невой
 Всё гремит, гремит, гремит «Авроры»
 Выстрел холостой!

История одной дружбы

После участия в процессе Бродского в качестве общественного защитника Грудинину отлучили от работы с «литературной молодёжью» (отстранили от руководства ЛИТО, составления сборников молодых авторов и пр.). Хотя всё это не остановило ее от дальнейшего обивания разного рода начальственных порогов с просьбами отпустить «тунеядца» из ссылки.

Кстати, в «Записных книжках» Довлатова где-то сказано, что ее исключили из партии. Прочитав это, она пожалала плечами: «В партии я никогда не состояла».

Вот еще одна история, рассказанная мне Наталией Иосифовной.

Однажды вечером Бродский пришел к ней в гости. В разговоре Грудинина пожаловалась, что ее младшая дочь Нюся больна, но врачи с диагнозом затрудняются и поделать ничего не могут.

После ухода Бродского в тот же вечер на квартире Грудининой неожиданно пошли звонки от известных ленинградских медиков с предложением услуг. В итоге один из них взялся помочь и вылечил Нюсю (у нее оказалось какое-то сложное легочное заболевание).

Потом выяснилось, что это Бродский в тот же вечер, ничего не сказав Наталии Иосифовне, стал обзванивать медицинские светила города с просьбой о помощи.

Впоследствии, когда Бродский жил уже в США, они с Грудининой переписывались. Наталия Иосифовна говорила, что в своих письмах Иосиф словно пытается оправдать свой отъезд.

Письма эти вместе со всем своим архивом Грудинина продала Пушкинскому дому («Триста рублей дали — совсем неплохо!»), разрешив открыть архив только после ее смерти. Так что нынче письма Бродского Грудининой могут быть доступны. Наталия Иосифовна ненамного пережила своего «подзащитного».

Мемориальная тоска

Поэты Г. и А. — очень хитрые, предприимчивые ребята, хотя и благородство им не чуждо. Где-то присмотрели они однажды второстепенную медную доску Пушкину и свинтили ее со стены. Хотели сдать в металлолом как цветной металл, но замешкались. А тут подоспел юбилей Пушкина. Поэты Г. и А.

торжественно вернули доску государству, поклявшись на томи-
ке стихов юбиляра, что обнаружили ее на какой-то свалке. За
что удостоились благодарственной заметки в прессе.

Веник

К. — хороший писатель, хотя никто его не читал. Просто знают, что хороший, и всё тут. Выходила когда-то книжечка малым тиражом, но где ее найти? — не в Публичку же тащить-ся ради писателя К. На волне своей популярности писатель занял редакторскую синекуру в одном солидном издательстве. Там он в основном спал. А однажды собрался после работы в баньку и прихватил с собой дарёный лавровый веник (это не опечатка — не венки, а именно веник, — существуют наряду с березовыми, дубовыми, можжевельновыми и лавровые). На службе опять заснул, подложив подарок под голову. То есть вышло в буквальном смысле — «почил на лаврах».

История одного плагиата

Юная пятнадцатилетняя красавица из маленького уральского городка с мушкетерским названием Арамилль вдруг стала талантливой поэтессой. Ее стихи начала печатать местная районка, потом областная газета, потом их включили в коллективный сборник юных дарований Екатеринбургa. Встал вопрос о назначении для начинающей звезды губернаторской стипендии и выпуске ее первой книги. Но внезапно все рухнуло.

Причиной стало — и об этом я искренне сожалею — одно моё стихотворение. Его прочитал в подаренной мной книге екатеринбургский поэт Д. и вдруг вспомнил, что уже видел его в коллективном сборнике — под другой фамилией.

Всё оказалось очень просто. Красавица, которая по всем статьям уже была «мисс Арамилль», решила добрать по интеллектуальной части. С этой целью она взяла десятилетней давности подшивку московского журнала «Смена» и настригла оттуда понравившихся ей стихов разных авторов (собственных стихов у нее не было, увы, ни одного). И пошло-поехало. Девушка уже и сама была не рада произведенному эффекту, однако ее литературные кураторы требовали всё новых и новых творений для публикаций. Кончилось дело поездкой корреспондента областной молодежной газеты в Арамилль для встречи с «виновницей торжества» и разоблачительной статьей.

...Я никогда не был в Арамиле и вряд ли буду. Нашел этот город в «Атласе СССР» издания 1963 года — кружочек «менее 10 000 жителей» на реке Исеть (надеюсь, за протекшие годы город покрупнел). Представил себе его дома, мостовые, магазины, какой-нибудь одноэтажный ресторан — не иначе, как с названием «Исеть»... И, быть может, внезапное прозрение девушки и жела-

ние моментально, сразу же воспарить над всем этим. «Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны»¹. А потом, воспарить с помощью стихов, пусть и чужих, — отнюдь не худший способ. Да и, кроме того, лестно мне, что среди приглянувшихся красивой девушке стихов оказалось и моё.

Однофамилец

Поэт Олег Левитан раньше очень досадовал, что его всё время донимают вопросами по поводу знаменитых однофамильцев — художника и диктора. Даже стихотворение разъяснительное написал: в родстве, мол, не состою, сам по себе.

Съездил в Америку, пробыл три месяца, не прижился, вернулся. «Я, — пояснил он, — как инструмент — может быть, флейта, — который только на родине играть и может».

Интересный писатель

Московский прозаик Шавкута на встречу с молодыми литераторами пришел не в духе. Дело в том, что встречу назначили не вечером, как обычно, а утром, и прозаик не успел опохмелиться. А потому начал разговор с аудиторией следующей фразой: «Вы мне неинтересны — я сам себе интересен!»

Перемена ролей

Писательница Д. — человек неординарный. Во-первых, она бывшая профессиональная стриптизерша. Во-вторых, ее сексуальные наклонности выходят за рамки стандартных. Не подумайте, ничего «розового» тут нет (это, как раз, уже почти стандарт и есть). А имеется как раз «голубое». Еще во времена свободы газетных секс-объявлений Д. давала такие, например: «Стану ласковой сестрой для молодого гея...»

Для этих целей у писательницы-стриптизерши имеется большой набор фаллоимитаторов: различных размеров, на ремнях и без, повторяющих форму предмета и не повторяющих, всех цветов спектра (не усмехайся, читатель, — самому не довелось увидеть, всё со слов). Клиентура у писательницы, надо заметить, была весьма обширная.

Свои качества Д. с успехом использовала и во время гастролей за рубежом, где в большую моду вошли клубы с переменной ролей. Мужички там ходят в передничках и изображают послушных домохозяек, а властные дамы исполняют роль грозных супругов со всеми вытекающими для «домохозяек» последствиями. Гонорары за участие в подобных оргиях значительно превышают заработки стриптизерши средней руки.

¹ Из стихотворения О.Мандельштама «Я не слышал рассказов Оссиана...»

Перед последней полугодовой поездкой на гастроли в Японию писательница вдруг решила свою коллекцию раздарить интересующимся, желательно писателям. Непременным условием дарения она поставила «вставление» подарка принимающему его.

За короткий срок вся обширная коллекция разошлась по рукам.

Очень и очень жаль, что писательница Д. не пишет произведений на основе своего богатого опыта. Как читались бы ее вещи, проникнутые подлинным знанием предмета (подчеркиваю: «предмета» во всех смыслах) на фоне жалких потуг пожилых сочинителей эротики, знакомых с темой лишь понаслышке!

Жизнь пропета

Кто помнит писателя Аркашку Селезнёва? Огромные глаза за линзами очков, безудержное, судорожное пьянство, распродажа остатков библиотеки отца, профессора медицины. Почти все его рассказы заканчивались смертью какой-нибудь старушки, в основном старушки-матери. Вероятно, здесь оказал влияние тюремный фольклор — Аркашка успел посидеть по какому-то, с нынешней точки зрения, пустяковому поводу, характерному для представителя «золотой молодежи» семидесятых — фарца или валюта. Любил розыгрыши — как-то раз носился по Дому писателя с бумагой якобы из ЮАР о присуждении поэту Геннадью Григорьеву госпремии этой страны по литературе в три тысячи рандов.

Предметами гордости Аркашки были: его портрет работы художника Никиты Зверева, хранящийся на квартире у бывшей жены; толстый свитер, подаренный эмигрировавшим в Америку другом; умение готовить горчичный соус к селедке — делал это действительно замечательно. А с художественной богемой дружил крепко. Во времена нашего прикормывания (начало девяностых) жил на антресолях у вдовы художника Сысоева, так как был бездомен. Вдову называл «бабушка», хотя был постарше ее.

Приставал ко всем с чтением своих стихов, в голосе всегда дрожала слеза. Однажды в Доме актера прилепился с декламацией к подвыпившему Александру Володину, сильно старика растрогал. Сидело в Аркашке некое безумие — для одних отталкивающее, для других симпатичное.

Вот запомнившееся начало одного стихотворения (думаю, неопубликованного), с которым Аркашка обычно вылезал, не дожидаясь приглашения, на сцену во время различных литературных вечеров:

Когда-то, за макушкой лета,
В прощальном караване птиц,

Ты выяснишь, что жизнь пропета,
И нет уже знакомых лиц.

Потом был инсульт, еще один. Потом Селезнёв пропал куда-то...

Диссидент

Когда в начале 90-х годов я вел ЛИТО на заводе «Арсенал» им. Фрунзе у Финляндского вокзала, занятия регулярно посещал рабочий этого завода Борис Миркин. Маленького роста, плотный, в больших очках. Холост в свои почти пятьдесят, встречал его только с мамой-старушкой.

Боря писал длинные стихи (положа руку на сердце, графоманского толка) и от души радовался каждой публикации в заводской многотиражке.

Каково же было моё удивление, когда я узнал, что Боря был «отсидентом» — отсидевшим диссидентом, причем отсидевшим за стихи!

В 1980 году он написал стихотворение о Брежневе — в своем стиле. Мол, ты себе, Леонид Ильич, ежеквартально новую бляху на широкую грудь вешаешь, а магазины пустые, жрать нам нечего. И неосторожно прочел его товарищу по работе — а работал он тогда лаборантом в Военно-Медицинской академии. Товарищ исправно донес. Боре определили четыре (!) года.

Умер Брежнев, в затылок ему умерла еще парочка генсеков, а Боря всё сидел. Да не на высылках пребывал, как будущий нобелевский лауреат, а в лагере, от звонка до звонка.

Дело Миркина, в отличие от его знаменитого соотечественника, никакого резонанса у мировой общественности не получило. Отмотав срок, Боря устроился на завод, писал стихи о перестройке и бережно сохранял многотиражки со своими новыми публикациями.

Увлекательное чтение

Актер Сергей Филиппов был заядлым книгочеем и имел большую, хорошо подобранную библиотеку. Однажды, когда жена актера была в отъезде, они с поэтом Михаилом Дудиным выпивали у Филиппова на квартире, но деньги в самый ответственный момент кончились (Дудин еще не был лауреатом-депутатом, а «король вторых ролей» Филиппов у начальства в фаворитах никогда не ходил). Не долго думая, раздобыли они где-то тележку, погрузили на нее полное издание Большой Советской энциклопедии (томов под пятьдесят) и свезли его в какой-то «Букинист». А на вырученные средства замечательно продолжили вечер.

Когда вернулась жена Филиппова, она, увидев несколько оголенных полок, ахнула:

— Серёжа, а где же?!

— А-а, — замялся Филиппов, — ты о Большой Советской? Так я ее Мише Дудину дал почитать...

Избранное

На конференции молодых литераторов Северо-Запада в 1987 году критик Дмитрий Молдавский был в числе руководителей одного из поэтических семинаров. Работал он в то время на Ленфильме, был весьма влиятелен.

Во время обсуждений критик откровенно скучал, изредка бросая едкие реплики типа: «Им что верлибр, что верблюд». Но раз, услышав строки одной молодой поэтессы, оживился, заулыбался: «Это надо же!» Строки были следующие:

Лишь охальники да матюжники
Жрут чанахи и гадят в нужники.

Драчун

Однажды в разлив на Пестеля, именовавшемся в писательской среде «Звездочка» за территориальную близость к редакции журнала «Звезда», увидел, как поэт Володя Нестеровский пытается расплатиться за налитые ему сто грамм экземплярами собственной поэтической книжки, изданной за свой счет. Володя был весьма убедителен, однако разливальщица категорически отказывалась от такой формы натурального товарообмена. Видимо, с творчеством поэта она не была знакома.

И вообще поэт очень любил выпить, не брезгуя при этом никакими случайными компаниями. А поскольку его частенько в них поколачивали (а как же иначе? — мог он, к примеру, будучи отвергнутым с навязчивым чтением стихов, начать поносить сабутьельников), Володя уверенно заявлял: «Драться я умею!»

Старый шкаф

Когда я работал в Доме писателя литконсультантом, как-то раз начальство поручило разобрать старый стеной шкаф с бумагами (такая вот литературная консультация!)

Шереметевский особняк на улице Воинова был подарен правительством ленинградским писателям в незапамятные времена, а потому обширная ниша хранила многолетние залежи. Чего там только не было! — жалею, что ничего из этих вопиющих документов не догадался сохранить.

Помню, например, заявление писателя Валентина Пикуля о предоставлении ему квартиры — написанное, как и всё прочее, выходявшее из-под пера писателя, фиолетовыми чернилами и простой школьной вставочкой. На обычное заявление оно не было похоже — на нескольких страницах Пикуль образно расписывал тесноту своего жилища. Буквально так — он, мол, чтобы добраться до комнаты, вынужден переползть через огромный холм из рукописей в коридоре. Но, вероятно, неординарность документа на членов жилищной комиссии действия не возымела — судя по тому, что вскоре Пикуль переехал в Ригу.

А вот бумаженция иного рода — на машинке (второй экземпляр), без подписи. Докладная анонима о пьяном поведении в буфете молодого поэта С. Тот, завидев члена правления Виссариона Саянова, закричал ему: «Протри очки, товарищ Саянов! А то не видишь, как рабочих поэтов затирают!»

Нам года — не беда

В буфете Дома писателя поэт С., уже пожилой, узнав от кого-то, что бедолага за соседним столиком прискрёбся из Парижа на так называемый конгресс соотечественников, нетвердо подошел к нему и, грузно опершись обеими руками о край стола, заявил:

— Ваше высокопревосходительство, товарищ Мацкин! (фамилию поэт С. выбрал произвольно). Ставлю задачу. Требую немедленного принятия правительственной «молнии» следующего содержания. Пишите: «Париж. ВЧК. Полковнику Фурманову. Всех проститутток, блядей, белых офицеров и спекулянтов срочно расстрелять. Ульяновленин. Точка.»

Плюхнувшись за свой столик и несколько успокоившись, поэт С. проворчал по старой памяти:

— Будут знать, как затирать рабочего поэта!

По заветам Ильича

В школе перед первоклассниками выступала старая перечница, писательница С-ая, с «воспоминаниями об Ильиче». Долго жевала она манную кашу, почерпнутую из детских книжонок. Как вдруг в классе кто-то громко пукнул.

Вместо того, чтобы великодушно не обратить на это внимания и продолжать, большевичка оскорбилась (не за себя, полагаю, — за память о вожде) и строго спросила:

— Кто это сделал?!

Воцарилась, выражаясь литературным штампом, гробовая тишина.

— Кто это сделал?!!

Тишина стояла всё та же — попробуй, сознайся в таком деле.

— Пусть встанет тот, кто это сделал, если он не трус! — в лучших традициях продолжала психологическое давление старая карга. — Ну?!

Не встал никто.

— Не признаётесь, малодушничаете?

И тут С-ая выдала такое, от чего молодая учительница, до того мирно дремавшая на последней парте, чуть с нее не грохнулась:

— А вот Ильич бы признался!

Интеллектуальные люди

В Красной гостиной Дома писателя молодая начинающая критикесса делала обзор журнальной поэзии. И произнесла примерно такую фразу: «В стихах Кушнера чувствуется интеллигентность». Поэт Леонид Агеев проворчал со своего места:

— Мы тоже больше десяти книг прочитали!

Менталитет

«...Близок к общеевропейскому менталитету...» — прочитали в рекламном листке нового журнала, присланном к ним в редакцию.

По окончании трудового дня вышли на чёрную ноябрьскую улицу, зашли в кафе, выпили две бутылки коньяку под кофе. Затем зашли в разлив, взяли две бутылки водки, выпили под конфетку.

Вышли на черную ноябрьскую улицу — всё вокруг плышет.

— Как бы в менталитет не угодить, — через силу выдавил один из них.

Маяковский

Двое едут в троллейбусе. В запое, чувствуется, уже не первый день. Один — какого-то помешанного типа: он то безудержно смеется, то с причитаниями плачет. Второй за это угрожает ему мордобоем, после чего первый каждый раз прерывает свои спонтанные реакции и стереотипно бормочет мелким говорком:

— Всё-всё-всё-всё! Молчу! Слова не услышишь...

Через некоторое время картина в точности повторяется.

Так продолжается довольно долго. Однако при переезде Литейного моста придурковатый внезапно удивляет сочувствующую публику. На очередную порцию угроз вместо «всё-

всё-всё-всё» он, гордо вскинув голову и осмысленно блеснув взором, отчеканивает:

— Не смей! Я Маяковский! Я сейчас застрелюсь!

Оскоплённое лицо

На обсуждении ленинградской поэтической кассеты молодых поэтов авторы дружно сетовали, что их будущую нетленку сильно почикали редакторские ножницы. Ответное слово от издательства редактор Михаил К., сам баловавшийся как стихами, так и литературоведением, начал так:

— Конечно, негоже оскоплять творческое лицо автора...

Говно

Писатель-юморист Эдик Дворкин назвал одну из своих книжек «Говно» — для возбуждения, видимо, читательского интереса. Название книжки сильно повредило юмористу при вступлении в Союз писателей. Один из членов приемной комиссии, его приятель, так и сказал: «Лучше б ты ее на комиссию не представлял и вообще подальше засунул! А то С. говорит: «Пусть называет книги как хочет, но зачем же нам говно в союз принимать?! И так полно...»

Всё, однако, в конце концов обошлось, и Эдика со второго или третьего захода приняли. Так что дело не в названии.

Тот, кто пишет!

Автор С. был журналистом, а стал «культовым писателем». Даже нынче собственную передачу на ТВ ведет. Свой первый роман он выпустил под псевдонимом, зато герой его, бесстрашный и вездесущий репортер, носил подлинную фамилию автора. Мне довелось быть редактором этого романа в издательстве «Азбука».

По типу мышления С. — «пылесос». В его текстах объешься винегретом из разнообразной информации, которую, впрочем, добросовестному редактору необходимо строго проверять. Иначе, допустим, город в центре Англии, рядом с которым и речушки-то приличной километров на сто не отъщется, может оказаться крупным морским портом. В общем, для редакторов — бич божий.

Вскоре автор С. устал от моих придинок, и мы стали общаться посредством переписки на полях его рукописи. Однажды на мой недоуменный вопрос, с чего это его бойкий репортер вдруг начинает величать себя писателем, я получил вразумляющую отповедь: «Писатель — это тот, кто пишет!» И тут по поводу автора С. я словно прозрел и беспокоить его перестал. А будущее автора С. показало, что выбрал я правильную линию. Действительно — «тот, кто пишет».

Последний из даринцев

Питерский поэт Арсен Мирзаев пишет верлибры, а как литературовед занимается творчеством Хлебникова и Айги. По национальности Арсен даринец — есть такая немногочисленная народность на Кавказе.

Как-то раз Арсен менял паспорт — еще в те времена, когда в «краснокожей книжице» стояла национальность. Раскрыв в паспортном столе свежий документ, он обнаружил, что в соответствующей графе обозначено «даринец», пропустила рассеянная девушка букву «г». Поэт обратил на это внимание, но строгое начальство ответило на его притязания примерно следующее: «Исправления вносить, сам понимаешь, нельзя, бланки паспортов на строгом учёте, новый выдать не можем. Какая тебе разница — даринец, даринец? Ходи так».

Этому совету Арсен и последовал, став последним (но в то же время и первым) из даринцев. Как тут не вспомнить, что, говорят, поэт Михаил Кузмин выправил в паспорте национальность «ассириец».

Пердуха

Однажды во второй половине 80-х годов Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, побывав на спектакле БДТ, внезапно изъявили желание пройти за кулисы и поговорить с актерами. (Впрочем, после первой пробежки Михаила Сергеевича через рельсы к народу у Московского вокзала и прочего дальнейшего подобные желания уже не были особой неожиданностью. Но тем не менее!..). На беседу с высокопоставленной четой пошли четыре человека: главный режиссер Г.А. Товстоногов, парторг Кирилл Лавров, актер Юрий Демич (как потом выяснилось, его непременно захотела видеть Раиса Максимовна) и комсорг, актер Валерий Матвеев, от которого я и услышал эту историю.

В разговоре Раиса Максимовна сказала Демичу, что он их любимый с Михаилом Сергеевичем актер. А сам Михаил Сергеевич вдруг воскликнул: «Ваш спектакль — это просто пердуха, пердуха!» Все остолбенели. Потом, к счастью, выяснилось, что Михаил Сергеевич имел в виду пиричество, так сказать, нематериального, т.е. «пир духа». У всех отлегло.

С тех задорных дней прошло почти двадцать пять лет, и, увы, из участников беседы о «пире духа» в живых остались лишь двое: комсорг театра и бывший руководитель государства.

Детали

Детали важны, детали... Работал в НИИ, проводил там целые дни, какие-то научные отчеты писал. О чем — не помню. Зато помню: послали раз в подвал, в переплетную мастерскую, коленкоровые переплеты для отчетов заказать — переплетчика звали Ицхок Лейзерович. Одна деталь от всего и осталась.

Ни имени ее, ни внешности, хоть убей, не помню. Лишь деталь: доставай, говорит, своего «спелеолога». А ведь действительно, спелеолог! Тем в памяти и осталась...

«О ты, последняя любовь...»

Однажды поэтесса Ирина Одоевцева позвонила писательскому начальству и изъявила желание познакомиться поближе с представителями нового поколения петербургских литераторов. Недавно она вернулась в Петербург из Парижа, получила квартиру на углу Невского и Герцена. Перемещалась она в инвалидном кресле — перелом ноги не срастался. Что и неудивительно — ей было уже за девяносто.

Мы с поэтессой А. подвернулись под руку референту Горячкину, влетевшему в буфет в срочных поисках юных дарований. Уехав из этого самого буфета пару дней назад с одной новой знакомой, референт объявился на службе лишь сегодня и потому особо ревностно, в соответствии со своей фамилией, взялся исполнять распоряжения руководства. И, хотя мы были уже отнюдь не юны, но в отсутствие более подходящего материала этот человек, внешне напомилавший Александра Блока (за что, думаю, и взяли на должность), уломал-таки нас на визит.

Нам открыла женщина среднего возраста из окружения Одоевцевой, — приживалка, так сказать. Она сообщила, что поэтесса спит, и повела на кухню пить чай.

За чаем она рассказала, что недавно к Ирине Владимировне вызывали кардиолога. А поскольку был он из Военно-Медицинской академии, то и пришел в военно-морской форме. Черное с золотом настолько очаровало Одоевцеву, что она пылко влюбилась в военврача. А когда после его ухода на полу обнаружилась блестящая золотая пуговица с якорем, престарелая поэтесса углядела в этом некий знак. Она потребовала, чтобы пуговицу пришили ей на халат — примерно на то самое место, куда цепляют ордена и медали.

За болтовней прошло часа полтора, но Одоевцева так и не проснулась. Ее вечерний сон плавно перешел в ночной. Сена впадает в Неву.

Напоследок нас провели хотя бы взглянуть на нее. Маленькая старушечка спала на боку, слабо похрапывая. Одряхлевшая муза, птичий комочек. «Отзовись кукушечка, яблочко, змееныш...»¹

Полезные идеи

За время работы литературным консультантом в Ленинградской писательской организации довелось насмотреться на особый тип ненормальных — «литературных».

¹ Первая строка стихотворения Георгия Иванова.

Вот степенно входит в кабинет высокий молодой человек правильного телосложения, в аккуратном костюме, с бородой почти окладистой (т.е. чувствуется стремление к этому ее обладателя). Неспешно заводит разговор о том, о сём. По мере развития беседы глаза его всё чаще вспыхивают «тёмным огнем». Вдруг резко заявляет:

— Писатель Аркадий Стругацкий в своих романах высказывает много вредных идей!

(Так-так, пошло-поехало...)

— И что же?

— Эти идеи могут быть взяты на вооружение определёнными силами для искоренения нации!

(Ага, перешел к основному).

— И что?

— Надо запретить ему писать!

(Ну, дела...)

— Каким образом?

— Хорошо, допустим, это действительно невозможно. Пока... *(Важная ремарка)*. Но тогда надо обязать его написать несколько произведений с полезными для общества идеями.

— И кто же определит, какие идеи полезны? Для общества...

— Я. Уже готово. Вот список.

Ха кипопт!

Идучи по Баден-Бадену летом 2004 года, на фронтоне одного дома я увидел огромное полотно, на котором был изображен человек, похожий на Достоевского. Подбородком он упирался в край игорного стола и диким взглядом озирает беспорядочно разбросанные по ядовито-зеленому сукну фишки. Надпись над его головой, исполненная крупными красными буквами, гласила «Ха кипопт!» «Что это?!» — напрягся я. А через мгновение понял — то ли от жары, то ли от выпитого накануне, то ли, наконец, от того, что русская буква «У» была изображена на западный манер — «Y», но таким вот образом прочел я название выставки «На курорт!» — о русских, оставивших по себе память в Баден-Бадене.

Известный поэт-модернист Д.А.П., ныне покойный, как-то раз обвинил известного прозаика Б. в том, что тот не прошел в Баден-Бадене тест на великого русского писателя, то есть выиграл в рулетку, а он, Д.А.П., прошел, то есть проиграл. Не исключено, таким образом, на афише следующей выставки появление изображения проигравшегося Д.А.П. Кстати, моя интерпретация названия ему, как модернисту, могла бы прийтись по вкусу.

Очередное знакомство

В редакции «Звезды» познакомился с поэтом Евгением Рейном. Вспомнил, что знакомимся уже раз в третий-четвертый. Говорю ему:

— Мы с вами знакомимся уже не в первый раз.
Рейн, не моргнув глазом, отвечает:
— А я знаю.

Прототипы

На вечере памяти Довлатова в редакции «Звезды» поднимались с воспоминаниями прототипы его героев (экскурсовод Митрофанов из «Заповедника», газетчик Шлиппенбах из «Шофёрских перчаток») и начинали примерно со следующего:

— Всё, конечно, было не так. Я расскажу, как было на самом деле...

Так и не поняли прототипы, что неинтересно нам, как было «на самом деле»...

Не поговорили...

Когда я уезжал в Германию, писатель Михаил Михайлович Панин подарил мне номер журнала «Звезда» со своей новой повестью. Но толком поговорить не успели, закрутились. Приехал через год на побывку, встретились. Он спросил: «Ну что, и с немцами жить можно?» Но опять закрутились, не поговорили. Ну, думаю, в следующий раз обязательно поговорим. А через несколько месяцев открываю свежий номер журнала — его фотография с двумя датами, некролог. Всё, не поговорили...

Только в сентябре 2009 года побывал на его могиле, на «Литераторских мостках».

Aalen, июнь 2005, сентябрь 2008, март 2010



Ирина ГОРЮНОВА

/ Москва /

Из цикла «Шаманская книга»

* * *

Храмы всегда строят у подножия гор,
 Чтобы не слишком высоко к богу,
 Не слишком далеко от подземного царства.
 Искушения ловят сны монахов,
 Вгоняют их в краску, молитвы, но...
 Те все равно возвращаются. Будоражат.
 Запахами, видениями, мечтами...
 Тающая ночь тянет за язык колоколов.
 Пора каяться в грехах, скрывая под рясой
 Возбужденное естество человеческого.
 Чуждое ли? Ах, дядюшка Фрейд!
 Все мы вышли из одного лона.

* * *

Говорю со сфинксами на Университетской набережной,
 Смотрю в ледяную воду, иссиня-фиолетовую, родную,
 Блаженную таинством Осириса и Исиды...
 Улыбается каменными губами Аменхотеп, чудится:
 Разомкнет уста, выползет из оболочки гранитной,
 Новорожденный. Нева штилем тает, замирает
 в ожидании. Свет прожекторов бликует иероглифами,
 отражаясь в небо беззвездное, испуганное предчувствиями.
 Горячий песок плавится под ногами,
 сменяя заснеженный тротуар
 Бликами от медных монет, разбросанных вокруг пирамиды.
 Шепот призраков перерастает в оглушительный
 хор молящихся,

Сны их несутся на колесницах затерянного города,
По немощным улицам, в провалы ртов великих храмов,
Где уже не творятся службы великим богам...
Войско скорпиона рассыпалось в прах, разлетелись птицы
За черту горизонта, вино в бокале стало водой, и темнота...
Темнота ночного Питера не дает ответа: что стерегут сфинксы?

* * *

Вокзал — начало или конец пути из точки А в точку В
И обратно. В любом городе есть крыши, под которыми
Прячутся чердаки и птицы, а еще — очумевшие чудаки,
Совершающие намаз на рассвете. Мохнатое одеяло зимы
Притворяется пушистым и колет, как шерстяное, но...
Под ним холодно, как от твоих глаз леденеющих. В душу
Заползает туман окрестных гор. Я встала или может,
родилась не с той ноги, руки, головы... Именно поэтому,
все время попадаю только на промежуточные станции...

* * *

Я выбрала нежность вместо ревности,
Вместо пустых сожалений — состояние сатори...
Поэтому я люблю тебя с другого края земли...



Игорь ШЕСТКОВ

/ Берлин /

О, Джонни

Практика... Полтора месяца в дружной компании кретинов! Одни оглоеды и чуркодавы на курсе. Понабрали в геологи лосей...

С теодолитом по лесам таскаться! Как почтальон Печкин. Пыль, грязь... Палатки на восьмерьх. Комары-мухи. И на десерт — скоты эти — Гуси и Лебеди.

Жратва как в Хиросиме. Если бы не милая Би-Би и не дикий Гоша с его приколами, давно бы слинял. Или закосил бы... Врачихе нашей факультетской, Рябине Моисеевне макарон — не поверил. Заклружили пари. Миняй поставил на кон две поллитры и пять банок вареной сгущенки. Гоша, как всегда, ножик свой перочинный. Трофейный, немецкий. Похожий на рысь в прыжке. Хороший режик. С ножницами, щипчиками, отвертками, пилкой и зубочисткой из слоновой кости. Советский ширпотреб такие делать не умеет.

Последний прикол: Гоша насвистел нашему повару, Миняю, что с закрытыми глазами найдет и съест все шестьдесят сосисок, отпущенных на обед отряда. Миняй в людях не разбирается — не поверил. Заклружили пари. Миняй поставил на кон две поллитры и пять банок вареной сгущенки. Гоша, как всегда, ножик свой перочинный. Трофейный, немецкий. Похожий на рысь в прыжке. Хороший режик. С ножницами, щипчиками, отвертками, пилкой и зубочисткой из слоновой кости. Советский ширпотреб такие делать не умеет.

Миняй уже облизывался на ножик, как кот на вареную курицу. Условия пари выполнил. Сосиски сварил и выложил на подносе, вроде как патроны — одна к одной и в кружок. А в середине банку горчицы поставил, эстет херов, открытую. И все это хозяйство у самых нужников на валун положил, на тот, который на жопу слоновью похож и лежит здесь наверно с четвертичного периода.

А Гоше глаза завязали, покрутили и в лес увели. В другую сторону, от слоновьей жопы подальше. Отпустили — за оврагом. Оттуда до лагеря минут десять топтать.

Первые минуты он платал, об березу лбом треснулся. Ничего не случилось. С березой. Она даже не сломалась, хотя и треснула. А Гоша прислушался, ноздри раздул как паруса, крикнул, воздуха втянул — на дирижабль бы хватило...

Дальше, не знаю, или он музыку из лагеря услышал, крутил тогда радист тридцать раз в день у себя в радиорубке «Back in the U.S.S.R» или и вправду сосиски учуял и верное направление взял. Попер через лес как боевая машина пехоты... Овраг форсировал как Суворов Альпы. Ручеек вброд перешел. Не зря Гоша говорил: «Я микояновские сосиски с горчицей и за сто километров унюхаю... И с завязанными глазами жрать приду... Без биноклей и теодолитов... Тут вам, ханурики, воля к жизни, а не геодезия и картография...»

За ним в лесу просека осталась. Ограду протаранил, ковбойку порвал, на лагерную аллею вышел весь в репейнике и крапиве, страшный как динозавр, наткнулся на гипсовую статую пионера с горном, матюгнулся, пропер до нужников, прошел, злодей, как по компасу, прямо к четвертичному периоду, опустил морду как конь, заржал, щеками небритыми сосиски потрогал, языком своим оленьим горчицу прихватил и начал жрать... Как и условились — без рук, по-волчьи. Жрал, жрал, жевал, жевал. Мы боялись, после сорока штук сблюет, лопнет или околеет, а он за пять минут все шестьдесят срубал. И горчицу выел как моль.

Повязку ему сняли, руки развязали, он зарычал и тут же у Миняю водку и сгущенку потребовал. Сгущенку — дамам подарил, как джентльмен. Одну бутылку водки в карман засунул, другую откупорил своим чудо-ножиком и высосал всю тут же из горлышка. Потом рыгнул и спать ушел, а замеры за него в тот день другие делали. А дураку Миняю пришлось в обед перловку с мясными консервами варганить. Кушанье в миняевском приготовлении непотребное.

Играли в пинг-понг. Я разыгрался, как Летучий голландец, гасил и резал как мастер. Выиграл семь партий подряд. И ушел непобежденным, уступил ракетку Жу-Жу. Би-Би подошла ко мне, посмотрела кокетливо и сказала: «Класс! Вы, Джонни, хоть и маленького роста, но темпераментный... И интересный. Когда гасите — как будто шпагой делаете выпад. На Олега Даля похожи. Вам надо больше себе доверять и поменьше Гусева и Лебедева слушать...»

Би-Би не права. Не слушаю я их, они сами ко мне липнут.

Небось, влюблена в этого Даля. С полгода назад видел его живьем. Сподобился. В сто восьмом на Ленинском. Глаза — злые, лицо — пергаментное какое-то. Вылитый Печорин. Посмотрел я на него, улынулся приветливо и интеллигентно, а он на меня мрачно глянул и спесью как кипятком обварил. Потом брезгливую мину скорчил, вздохнул и отвернулся. Как будто он и впрямь — Печорин, а я вроде как Грушницкий.

Ответил Би-Би: «Я Гусей-Лебедей не слушаю, чего их слушать, они пернатые... Как механические пианино, имеют в запасе только одну мелодию».

Би-Би удивилась моим словам. Здорово это я про механическое пианино придумал, не к месту, но убедительно...

Дождь сегодня с утра зарядил. А за мной в обед черная папашина волга приехала. Фролу отец загодя позвонил, извинился, попросил отпустить. Фрол растаял и разрешил. Ездили к закройщику, на примерку. В ателье у метро Пролетарская... До универа ехать часа полтора, потом еще через весь город переть... Шьет там один жук отцу и мне замшевые куртки. Отцу из импортной, бархатной хрюшки. А мне из нашей грубой советской свиньи. Приталенные, модные. Королевская одежда! А Гоша говорит — это только для конюшни хорошо, когда замша...

Назад меня привезли уже после отбоя. В нашей палатке никто не спал. И девушки сидели. Чай распивали. Сгущенку гошину на белый хлеб мазали. Раскина на гитаре брэнчала. Свою любимую. Этот город называется Москва... трата-та трата-та ... а она стоит как девочка чиста... Поганая песня...

Видел по глазам — все мне завидовали. А я, ничего, сделал вид, что мне все равно. Как Печорин. Приятно, когда завидуют.

Би-Би не выдержала, спросила, куда это меня на черной волге возили. Я и расписал... Загнул, что к послу американскому папашу с семей приглашали... Насвистел, что лакеи там в крокодиловых шапках и бегемотовых штанах, а приборы за столами — платиновые... Поверила. У нас всему верят. У Жу-Жу и Раскиной глазки сверкали... Всё меня подробности выспрашивали, только Гусев и Лебедев молчали и перемигивались. Скалились как псы и желваками играли. Что-то они мне готовят.

Утром, на линейке, получил я их подарочек.

Стояли мы все на этой идиотской аллее пионеров-героев. Перед нами — трибуна, на ней Фрол, замполит наш, Гниломедов, по прозвищу Ганимед, толстенький такой свин, и еще кто-то. За трибуной — Ленина портретище, метра три на четыре, ну этот, который в светлом пиджаке, и таком же галстуке. Откуда на него ни глянь — он тебе в глаза смотрит. Язвительно так. Как будто сказать хочет: «Ну что же вы, товарищ Пичухин...»

Ганимед нам про пионеров-героев рассказывал. Туфту гнал жуткую, как и положено. Пораспинался и с трибуны сошел. С флагом этим мудацким. Когда мимо нас проходил, важный как индюк, толкнули меня Гуси-Лебеди в спину. Да так ловко, что я прямо на знамя и брякнулся. И вместе со знаменем в лужу бультыхнулся. И Ганимеда грязью обдал. И сам испачкался жутко и знамя запачкал. Когда поднимался, заметил, что и Жу-Жу и Раскина и даже Би-Би хихикали противненько. А что тут смешного? Толкнули они меня, понимаете, толкнули! А за завтраком Лебедев разговор о блате начал.

Сказал: «Некоторые блатные по посольствам разъезжают, когда мы тут в палатках киснем, думают, наверное, что весь мир к их ножкам положен, а мы им докажем, что это не так. Что есть справедливость. Скоро докажем».

А Гусев добавил: «Таким надо могилки стекловатой выкладывать».

Что же они еще придумали, скоты? В грязи меня уже испу-пали. Буду настороже. Тупые они, как все рабфаковцы, но злые. Лебедев — из Иванова родом. Вроде даже женат. Жена у него, говорят, в зоне «Б», в рыгаловке тарелки моет. Гусев — из Краматорска. Темный человек. Оба без жилья, общежитские. Понятно, за что они меня ненавидит. Москвич, квартира на Кутузовском, шмотки, волга, снабжение...

К ненависти населения мне не привыкать. Помню, отдыхал я в мидовском Доме отдыха. Было мне тогда 15 лет, и был я влюблен в чудесную девушку, студентку первого курса истфака. Забыл, как звали. Из-за того, что она была меня старше и умнее — стеснялся я страшно всего. Боялся осрамиться.

Нашли мы в старом парке скамеечку заброшенную. Со всех сторон — густые кусты. Пришли туда в сумерки. Сели рядышком, беседуем... И друг другу в глаза посматриваем.

Обнял я ее, притянул к себе и осторожно поцеловал в губы. Она закрыла глаза. Казалось мне — земля под нами превратилась в ночное море, а небо — во влажную раковину, поблескивающую разноцветными перламутрами...

Тут из густых кустов донесся странный звук. Как будто пёрнул кто-то. Потом еще раз, погромче. Я окаменел. У моей девушки от ужаса волосы дыбом встали. Тишина. Подумал — мало ли чего ночью в парке услышишь, может, ветка хрустнула или щегол какой икнул... Успокоились, опять целоваться начали... Опять море, перламутры...

И тут вдруг — кто-то снова нагло и громко пёрнул. А другие стали мочиться, чуть ли не нас... Можно было даже разглядеть янтарные струи...

Я растерялся. Подружка моя покраснела, побелела, вся сжалась, бедненькая... Через пять минут все стихло. Мы ушли из парка, а через три дня разъехались. Но еще до моего отъезда знакомый деревенский парнишка рассказал мне, что это были не черти рогатые, а местные ребята. Хотели «поднасрать сынку дипломата».

На замеры пошли. Мне выпало ящик с теодолитом тащить. Жара была! Парняк, как в Камеруне. Тени нет. Ни одна веточка не дрогнет. Даже сверчки замолкли — стрекотать устали, поганцы. Я майку снял. Ко мне Лебедев подошел и так незаметно меня за грудь ущипнул. Шепнул в ухо: «Пойдем, Джонни, в лесок, а...»

Я его потную ручищу от себя отбросил. Проговорил автоматически: «Отстань!» Лебедев ухмыльнулся грязно. Надо было уда-

ритель его! Ну, не могу же я драку на съемке начинать! Никто его руку не видел, он специально так повернулся, гад, ко всем задом... И Гусев его подстраховал. Подумали бы, что я психованный. Из универа бы отчислили.

Разрешил нам Фрол полчаса отдохнуть. Разложили ветровки под дубом, залегли в теньке на травке и заснули. Лебедев пытался голову свою нечесаную Би-Би на живот положить — она, молодец, не дала, и что-то резкое ему сказала. Он отлез.

Мне кошмар приснился.

Все вокруг так, как будто я не сплю. Дуб, поле, теодолит, нивелир. Местность та же и жара. Никого нет, один я работаю. Определяю величину превышения. Кольшками рейку закреплю и к нивелиру бегу. Начинаю замерять, и вижу: в трубу как рейка падает. Потому что ее Лебедев толкнул. Толкнул — и исчез. Опять к рейке бегу, креплю и назад, к нивелиру. И опять, появляется Лебедев, толкает рейку и исчезает. Падает проклятая рейка.

Смотрю в трубу, а вижу не местность, а картинку, как в калейдоскопе детском. А вместо цветных стекол там — ухмыляющийся рожи. Кого? Глупо спрашивать — Гусей-Лебедей...

И вот уже я в Москве, на ярмарке у Лужников. Лет шесть мне всего, отец меня за руку ведет. Я прошу: «Па, купи мне волшебную трубку со стеклышками!»

А он отвечает: «Некогда покупать, на стадион не успеем, сам видишь, птицы уже прилетели, пора и нам места занимать». И тащит меня через ярмарку. Прямо к стадиону. И вот, мы уже на трибуне сидим. Внизу — поле, а над ним — птицы летают. Туда-сюда мелькают. Много-много птиц.

Отец говорит: «Смотри, смотри, сейчас большая кормежка будет, а потом Спартак и Локомотив в полуфинале встретятся».

И вот, вывозят рабочие какие-то на поле громадный железный ящик. С пять автобусов. Открывают его. Там трупы лежат на навал. Птицы корм увидели и на трупы надели. Давай клевать. Вся стая села. А рабочие ящик захлопнули. Страшно заревел стадион. И потряс небеса громом рукоплесканий. Ящик утащили, а на поле вместо футболистов Спартак выбежал... Ну тот, из фильма, с мечом. А потом и Локомотив появился, только не команда, а настоящий, железнодорожный, с мордой как у кузнечика. Жуткий такой. Язык высунул длинный, медный. И давай на Спартака наступать. А Спартак его по языку — мечом. Стадион орет: «Шайбу! Шайбу!»

На поле выкатывается здоровенная черная шайба. У нее два зеленых глаза и страшная зубастая пасть... Шайба растет, растет, не видно уже ни Спартака, ни Локомотива, ни стадиона, только глаза ее зеленые смотрят на меня сверху, с неба.

Проснулся я, а надо мной Лебедев склонился, рожу свою прыщавую кривит, ухмыляется. Говорит тихо: «Пойдем, Джонни, в песок...»

Я отпрянул от него и сказал громко: «До чего же у тебя харя жуткая, Лебедев, сними противогаз!»

Но никто почему-то не рассмеялся. Би-Би посмотрела на меня с тревогой. А Лебедев ничего мне не ответил, только усмехнулся, глаза прищурил и желваками заиграл.

Пришли в лагерь, а палатки нашей нет. Койки стоят, на них палатка грязная валяется. Нам рассказали — Гоша очередное пари выиграл и опять у Миняя. Пospорил, жмот, что несущий столб у палатки перегрызет. С завязанными руками и ногами, лежа. Его связали и у столба положили. Думали, подухарится и остынет. Ушли. Через час пришли — палатки нет, а под брезентом Гоша ворочается и Миняева зовет. Перегрыз, злодей, столб как бобер! Миняя даже испугался — с Гоши-то какой спрос... Гоша человек известный... Пришлось Миняю Гоше еще одну бутылку ставить и просить его дерево срубить подходящее...

К вечеру палатка стояла, а Гоша с Миняем скорешились, перепились и купаться на водохранилище пошли. В час ночи будит всех Миняя. Кричит как иволга: «Помогите, спасите, Гоша в водохранилище потерялся, может и утоп!»

Оказывается, они лодку отрядовскую увели. На цепи которая. А цепь — на замке. Сколько раз просил Фрола дать ключ, с Би-Би по водохранилищу покататься. Ни разу не дал. Запрещено студентам, инструкция! У нас все запрещено!

Замок Гоша камнем сбил. Сели в лодку и уплыли.

Плыли-плыли и вдруг Гоша потерялся... Трех студентов покрепче послал Фрол его искать. Плавали они полночи на лодке, искали Гошу среди сухих деревьев. Тут их много из воды торчит. Говорят, где-то и церковь под водой видно, с крестом. Затопили все к черту, вместе с деревьями.

Утром Гоша объявился. На милицейской машине. И, что удивительно — с сержантом подружился, артист. Рассказал, что он из лодки нырнул «от тоски» и водохранилище переплыл. А затем в Бородино направился. А там с ним якобы произошло «сражение».

«Переплыл я этот сраное Можайское море как не фигуа делать. А потом... Бородинскую диораму посмотреть захотелось! Шевардинский редут и Багратионовы флеши, мать их за ногу! И я пошел как есть в плавках, босой. Через час достиг поля и обозрел его в свете Луны. Подошел к музею. Закрыт, собака. Ну я немножко там покричал. Сторож-дед притащился, начал хамить. Потом, поняв мой бескорыстный научный интерес, и дверь открыл и диораму показал. Приволок пузырь. Сели мы прямо в диораме... Как Наполеон и Кутузов. И пузырь раздвинули... Дед закосел, и меня повело, блядь, как на танцах. В пузыре жидкость была страшная, приводящая в изумление... Керосинили мы часа три, дед в милиции говорил, что я Денисом Давыдовым представлялся, декламировал “В дымном поле, на биваке, у пылающих огней...” и начал французов на диораме де-

ревянной саблей крушить. Штрафанут наверно... Отпустили под честное слово, что из лагеря никуда... Мусора тоже не все звери. Отнеслись с пониманием».

Сегодня утром забил меня колотун. Тридцать девять и две! Отселили меня в карантинную палатку. Врачиха из Можайска приезжала. В пасть лезла, гланды смотрела. На язык нажала, я чуть не сблевал. Ангина. Полосканье, стрептомицин. Фрол спрашивал, позвонить ли отцу. Я сказал — не надо, отлежусь. Попросил Гошу мне бутылочку портвагена достать. Он к продавщице в сельмаге подкатился. Та отпустила. Вечером, когда все заснули, откупорил я бутылку, раскрошил в кружку две таблетки аспирина, залил портвеём, добавил маленько гошкиной водки, помешал и выпил. Вначале по телу судороги пошли, перед глазами ослиное копыто встало, потом полегчало. Встать захотелось и по верхушкам деревьев побегать. С сосны на сосну...

Но я бегать не стал, сел только на кровати. И вижу — не в палатке я, а в комнате какой-то странной, цветной. В оранжевой? Нет, скорее в бежевой. Или... В цвет портвейна... И валяются в этой комнате мешки и свертки разные. Здоровые, не в подъем, средние и совсем маленькие, с наперсток. А между свертками лежат всякие старинные предметы. Бочки, чемоданы, пишущая машинка, фотоаппарат. Карты с непонятными фигурами. Домино. Старый дырявый глобус, несколько больших увеличительных стекол в роговых оправках с изящными изогнутыми ручками, латунные аптекарские весы, сито... Всего не перечислишь... В руках у меня, сам не знаю откуда, фонарик. Что-то сказала во мне — встань и ищи. Я встал и искать начал. Фонариком свечу и ищу. Что ищу? Не знаю. Открыл большой пыльный чемодан. Там старые игрушки, безрукие куклы, два ржавых вагона от детской железной дороги, губная гармошка, карандаши, будильник, открытки с тетками какими-то... Посмотрел, надоело. Раскрыл мешки. В некоторых зерно хранилось, а в других — вроде шерсть или лен, черт его знает. Какие-то мотки, шкурки, нитки, прялки... Пересыпал долго зерна из руки в руку, щупал шерсть... И все мне казалось, что не один я в той комнате, а много нас, одинаковых, и все мы что-то ищем. Схватил один такой длинный кусок шелка. А другой тот же кусок взял, только с другого конца. И давай они шелк каждый на себя тянуть. Тянут. Сопят, слюной брызжут. Присмотрелся я к ним — ба! Это Гусев и Лебедев, только одеты как-то странно, в кожаные пальто с поясами, в буденовках...

Жутко мне стало. Открыл я одну бочку, влез в нее и крышкой изнутри закрылся. Чтобы как в детстве — домик. На внутренней стенке — забавная картинка. Старуха гадкая в зеркало смотрится, а зеркало красотку показывает. Рядом лежит огромная лягушка, ноги расставила, а аист ей клювом прямо туда... Тут фонарик у меня погас.

Проснулся я в карантине и долго бочку искал. Очень уж на картинку посмотреть хотелось.

Би-Би меня навестила. Добрая. А Жу-Жу и Раскина даже не заглянули. А ведь мы год назад целых три недели с Жу-Жу женихались. В загс даже ходили, с родителями знакомились. И с Раскиной всякое было.

Би-Би мне груши принесла и ягоды из леса. Голубику. Жаловалась мне на Гусева и Лебедева.

«До сих пор от стыда красная. Сначала одно, потом другое. Вы, Джонни, наши туалеты знаете. Они и сами по себе — опасность для жизни. А тут еще и солдаты проклятые из части заглядывают. И всегда в женском отделении сидят. Там чище. Не стесняются даже. Забегала сегодня, хорошо штаны не успела стянуть — сидит солдат. Вышла, пошла в лесок. Ну да, в березовый. Отошла метров двести. И чудится мне — кто-то за мной идет. Сучья трещат где-то сзади... И смешок вроде слышала... несколько раз... Уж не солдат ли за мной увязался? Как только обернусь — все тихо. Дальше иду — треск и смешок. Бывает такое в лесу. Извините за подробности, Джонни, седа я. На ветку какую-то рукой оперлась. И вдруг — из-за березы две рожи высовываются. Ну, наши дураки — Гусев и Лебедев. Нагло так. Глазники выкатили. Я схватила корягу какую-то и по мордам их хлестнула. Ушли. Я Фролу Андреевичу пожаловалась. Он, видимо, с ними поговорил. Подходят на съемке ко мне гаврики и заявляют — мы тебя не выслеживали, сами пописать пошли, глядим, — рядом с нами сидит кто-то. Мы и не поняли, кто, что...»

«Врут они, прекрасно они все разглядели. Надо на них Гошу, что ли, натравить. Он им кости переломает...»

«Гошу попросить можно, он мой земляк... Из Челябины, кажется... Ха-ха...»

«Почему вы засмеялись?»

«Вспомнилась школа. Читали мы на перемене “Челябинского рабочего” чтобы повеселиться. Там было так написано — *в нашем районе растет поголовье скота из-за своевременного опоросения городских свиноматок, проводимого партийными органами...*»

«Би-Би, а вы сны видите?»

«Так, чепуха какая-то снится. У меня на месте подсознания — палеонтология беспозвоночных. Бентос, nekton и планктон.»

«Это можно есть?»

«Вы проголодались? Хотите, принесу что-нибудь? Миняев сегодня плов готовил. Съедобно!»

«Спасибочки, вы лучше меня поцелуйте...»

«Меня в Тбилиси жених ждет...»

«Как же вы, восточная женщина, на Урале оказались, да еще и в Златоусте?»

«Как-как? Сослали туда деда с бабкой. И родители там остались.»

«Подождет жених! А что это за фамилия Бибикиндзе?»

«Фамилия как фамилия. А вот как насчет Пичухина?»

«Белорусская фамилия. Была у меня прабабка Пичуха».

«И дед Пичух?»

Долго трепались. Потом Би-Би сказала, что поцелует меня, когда я выздоровею. И ушла. Милая. Интересно, она грузинка или армянка? Узкое лицо. Смуглая. Губы красивые. Ноздри — как у породистой лошади. Лоб большой. Начитанная. Пальчики длинненькие. Колечко с агатом...

Вечером опять волжанка прикатали. Отец антибиотик при-
слал. Из кремлевки. Американский. Рондомидин. Позвонил таки Фрол. Перед сном принял капсулу.

Как рукой сняло ангину. И полоскать больше не надо.

На линейке Би-Би меня поцеловала. Жу-Жу посмотрела ревниво. Ткнула в бок Раскину и начала ей что-то в ухо шептать. Гусев и Лебедев переглянулись и захихикали.

После линейки я сжал кулаки и подошел к ним. Лебедев ковырял прыщи на носу. Гусев кусал ногти. Нашел в себе силы выговорить твердо: «Наблюдатели! Астрономы под юбкой! Говно вы прыщавое!»

Лебедев как будто обрадовался, усмехнулся. Прошипел: «Что, карлик, п...ей захотел? Отвесим, по полной программе, не сомневайся!»

Гусев добавил: «Выстелем тебе могилку стекловатой, мангуст ты потрошенный!»

Драку, однако, не начали.

Я стоял на месте, потный от бешенства. Гусев сорвал травинку и стал жевать. Лебедев показал мне, что хочет меня между ног лапнуть. Я отошел. Поперли на съемку.

За обедом они плеснули мне в лицо рассольник. При всех. Фрола с Ганимедом только за столом не было — уехали в Можай... Вместе плеснули. Обварили мне щеку, губы и руку. Я вскрикнул от боли. Лебедев прокудахтал издевательски: «Ах ты опаньки, липутик Джонни губки обжёт!» Гусев только ослабился.

Я вытер лицо и штормовку полотенцем и вышел из столовки. К палатке пошел. Из столовки — не доносилось ни звука.

Гоша, как всегда, дрых. Ножик его лежал на тумбочке рядом с койкой. Я взял его, вынул длинное большое лезвие, и пошел обратно в столовку. Руки у меня вспотели, ноги похолодели, но на сердце было почему-то спокойно и радостно. В голове качался маятник, а время встало, как секундная стрелка на сломавшихся часах. Не спеша, шел я к столовке. Со стендов на меня смотрели пионеры-герои.

Валя Котик держал в крепкой руке противопехотную гранату и пулемет. Из этого пулемета он только что убил немецкого офицера.

Зина Портнова, отравившая немцев в офицерской столовой, широко открыв базедовые глаза, хватала пистолет отвернувшегося эсэсовца. Сейчас она застрелит его. За это ей отрежут уши и выколют глаза...

Леня Голиков, убивший 78 немцев, в том числе генерал-майора инженерных войск, которого он преследовал, догнал и застрелил, навел на меня автомат Шмайсер.

Галя Комлева застенчиво поправляла платок...

Передо мной был вход в столовую.

Я прочитал зачем-то по слогам лозунг, висевший над крыльцом столовки — Во-спи-та-ем по-ко-ле-ние, без-за-вет-но пре-да-нное де-лу ком-мун-из-ма!

Погадал, что бы это значило — ком мун из ма. Какой такой мун должен выйти из матери? Выйдет мун из теплого чрева и куда он пойдет? Муны ведь всегда сироты. Идти им некуда...

В столовке было все так же, как и до моего ухода. Немая сцена...

Гусев и Лебедев все скалились. Би-Би подняла по-кавказски руки с растопыренными пальцами вверх. Рот ее был открыт и как-то странно искривлен, как будто она им ловила бабочку. Жу-Жу опустила голову на грудь, вцепившись руками себе в бедра. Раскина так широко раскрыла глаза, что казалось — они сейчас выпадут и упадут в ее миску с супом. Лицо Миняя выражало удивление. Казалось, он хочет сказать: «Вот это да!»

У остальных почему-то смазались лица. А тела стали полупрозрачными.

Я был легок и подвижен как птичка. Подошел к Гусеву. Широко размахнулся и ударил его ножом в бок, под ребра. Три раза. Удивительно легко проникла трофейная темная сталь в его тело. Лебедева я ударил в грудь. Чуть пониже кармана. Для справедливости — тоже три раза.

Потом положил нож на стол, сел на свое место, придвинул поудобнее миску, взял ложку, зачерпнул рассольник и поднес к губам. Сразу проглотить не смог, соленая жидкость нестерпимо пахла луком и несвежей говядиной. Когда все-таки проглотил, почувствовал, что маятник остановился, а время опять пошло. Закрутилась секундная стрелка как пропеллер.

Страшный гвалт ударил в уши. Вокруг меня был хаос — все бежали, прыгали, кричали. Как взбесились. Би-Би бешено хлопала в ладоши. Жу-Жу вскочила на стол и плясала. Раскина запела голосом Марии Каллас арию Тоски... Миняй танцевал в присядку, держа в руках огромную кастрюлю с супом. Радист вскарабкался на потолок, и трясся как эпилептик.

Гусев и Лебедев в этой вакханалии не участвовали. Они все еще сидели за столом напротив меня. Лебедев прижал обе руки к сердцу, как святой. Гусев держался правой рукой за бок.

Я посмотрел на них повелительно и спросил: «Я вас зарезал, почему вы не умираете?»

Они видимо услышали меня и медленно сползли со стульев на пол.

Линолеум разошелся под ними, как треснувший студень, и их тела ушли в землю.



Михаил АРАНОВ

/ Ганновер /

Колодец

Где-то светит мой месяц.
Где-то ветер уносит
Уходящее имя
С этих губ ненасытных.

Позови меня тихо,
Еле слышно, лишь дрогнет
Серебро паутины
В свежескошенном стоге.

И с вечерней звездой
Свет прольётся в колодец
И по влажному срубу
Проиграет свой танец.

В приглушённом сознание
Звуки словно зависли...
В грациозном качанье
Два ведра с коромыслом.

Венеция

*«Венеция венецианкой
Бросалась с набережных вплавь»*
Б. Пастернак

Венеция, я восхищён!
И без тире и междометий
Здесь гениально завершён
Рисунок нескольких столетий.

Изобретение Дожата¹.
 Каприз судьбы, ума изыск.
 Соперник римскому собрату.
 И мелочен здесь детский писк.
 Здесь так бесстыдна нагота.
 И торжествуют базилики.
 Со стен глядят святые лики,
 И святотатствует толпа.
 Венеция в воде по пояс:
 Недолговечно ремесло.
 Гребец, лениво в волнах роясь,
 Вращает медленно весло.
 Из века в век. На свет из мрака
 Гондолы путь под сводом арок.
 Над площадью Святого Марка
 Взлетает стая голубей,
 Свободе радуясь своей.
 Но здесь, из камеры свинцовой
 Сластолюбивый Казанова
 Вписал язвительное слово
 В историю людских страстей,
 Играя правдой без затей.
 Что слово!? Звук его немеет.
 Слова — песок. Их ветер развеет.
 Истомлена морскою качкой,
 Забросив юбки за бедро,
 Венеция роскошной прачкой
 Полощет ветхое бельё.

Коричневый странник

«Вы поблекли. Я странник коричневый весь»².
 Даже память о прежних свиданьях истлела.
 Но неожиданно вдруг что-то забытое здесь
 заставляет меня оглянуться несмело.

Проезжая ваш ветхий, заброшенный дом
 в дребезжащем на стыках, старинном трамвае,
 в горле чувствую ком, тот горячечный ком.
 Почему — я не знаю, не знаю, не знаю.

¹ *Дожат* — совет дождей.

² Леонид Мартынов

Я иду средь отчаянно юной толпы.
Ветром невским, холодным простужен.
Я заброшен сюда не капризом судьбы,
Но уже никому здесь не нужен.

Канул сон. Фиолетовый сон.
Вы опять предо мной в бледно-розовом платье.
Я дарю нерасцветший пиона бутон
Торопливым и горьким объятьям.

Вы поблекли. Я странник коричневый весь.
Я странник коричневый весь.

Севанский монастырь

На краю земли, где горы
Чешут гривы облакам,
Смотрит в даль с глухим укором
Бесприютный храм.

Серо небо. Серый камень
И холодный луч.
И глубокий стылый пламень
У подножья круч.

Как слеза прозрачны воды.
Слѣз своих не прячь.
Видно здесь собрали годы
Весь сиротский плач.

Слышишь — жаркий вдовый шѣпот,
Плат — узлом концы.
И по плитам тонкий цокот
Жертвенной овцы.

Всѣ — как прежде. Всѣ — приметы.
Всем открыт ветрам,
На скале стоит раздетый,
Бесприютный храм.

Нина МАЗУР

/ Ганновер /



* * *

Причудливо вьется дорога,
На ней поворотов не счесть.
И некогда сесть у порога,
Задуматься, — кто же ты есть.

Души неприглаженный профиль...
В усмешке изогнутый рот...
Как трудно, не будучи «профи»,
Вписаться в крутой поворот!

Наверно, меня не признали
Чужие дороги и лес,
И строгие, чинные дали
Прохладных нерусских небес.

* * *

Скорей дуэль, чем разговор.
Скамья и сад, весна и дали...
Спросите: «Вы ко мне писали?»
И я взгляну на вас в упор.

Звучит мазурка, затая
Все то, чем каждый жив на свете...
«Кто там в малиновом берете?»
Вы присмотритесь — это я.

* * *

Ничто беды не предвещает, —
Привычен фрак, обычен бал.
«Оркестр недурственно играет», —
Заметил рядом генерал.

Но на пороге бальной залы
Вдруг появляется она...
Смычки беззвучно замелькали,
И — тишина, и — тишина...

Нет воздуха, и фрак стал тесен.
Смех или плач проплыл вдали?
И проступает лик Дантеса
В чертах прелестных Натали.

* * *

Хотелось, чтоб мурлыкал самовар,
Чтоб шаль узорная мне согревала плечи,
Но от свечей струился легкий жар,
И ты сказал: «Какой прекрасный вечер!»
И кто-то пел: «*Луной был полон сад*»,
Но мне не верилось в существованье сада...
Накину шаль и оглянись назад:
Был сад — и нет,
И, кажется, не надо.

* * *

С душою плохо согласую разум.
Живу в сплетенье улиц, как в плену.
Уеду на Балканы, на войну,
Чтоб от всего освободиться разом.

А если на Балканах нет войны, —
Там иногда бывает и такое, —
Махну вам на прощание рукою,
Взлетая с македонской крутизны.

Вы скажете: «Не накликай беду.
Не накликай! Не говори о смерти».
Я не о ней, друзья мои, поверьте.
Я — о любви. Мы с нею не в ладу.

* * *

Есть в имени странная тайна,
В нем спрятан судьбы приговор.
Торжественно вымолви: «*Анна*»,
И встанет в дверях Командор.

Восторженно выдохни: «Нина»,
И бальный взовьется фагот.
И тут же Арбенин картинно
С мороженым яд поднесет.

Певуче воскликни: «*Елена*», —
Парис поскользнется в крови,
И Трои могучие стены
Не будут защитой любви.

Молитвенно молви: «*Мария*»,
Прольется с небес чистота,
И станут отчетливо зримы
Вдали очертанья креста.

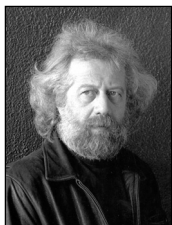
Цыганское

В тишине струна звенит,
Ей в гитаре тесно.
Стук отчаянных копыт
Мне милее песни.

Вы шального седока
Не судите строго,
Ведь не так уж далека
Дальняя дорога...

Милый, сядь на облучок,
Пусть несутся кони!
Я всего лишь светлячок
На твоей ладони.

Разожми ладонь шутя, —
Искорка пропала.
Ведьма, женщина, дитя, —
Кем теперь ты стала?



Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

/ Нью-Йорк — Санкт-Петербург /

Три рассказа

В прошлом году в разных журналах было напечатано три моих рассказа. Эти три — продолжение задуманного повествования (в котором главный герой читает по ходу дела книгу своего друга). По моему замыслу рассказы должны идти именно так: по три, — и прочитываться и пониматься независимо от предыдущих или последующих.

Декабрь

Читать книги и размышлять о творчестве — одно из моих любимых занятий. Часто я думаю о бормотании и бессмыслице, которым так много строк посвятили поэты. Особенно удивительно, что дикое и немислимое в рассказе весело вдохновляло Пушкина, и когда не было под рукой фантазёра-рассказчика, он «сам, при удивительной и, можно сказать, ненарушимой стройности своей умственной организации, принимался слагать в уме странные стихи — умышленную, но гениальную бессмыслицу...» Так пишет барон Е.Ф. Розен, не знаю, стоит ли ему верить. Но может быть, «услышав» пушкинскую бессмыслицу, Лермонтов написал: «Есть речи — значенье / темно иль ничтожно, / но им без волненья / внимать невозможно...»? А уж потом, в другом веке, появились стихи со «жрицами божественной бессмыслицы», «блаженное, бессмысленное слово» и «язык бессмысленный, язык солёно-сладкий». «Я хотел бы ни о чём / еще раз поговорить...» Человек входит в тёмную комнату и шарит рукой по стенам в поисках выключателя, нелепые слепые движения, и вдруг находит: свет! — И что же? Непредвиденная планировка, мебель расставлена не так, как он предполагал. «Зима, и всё опять впервые...» Я возвращаюсь к книге Леонида.

«...и дальше, в те небеса, где обитает и Дарик, и Андрей Львович, пусть обитают, ничего более очевидного невероятного люди не придумали, и ещё дальше, в холодное декабрьское ленинградское небо 1973-го года, под которым молодой специалист Андрей Львович идёт на службу в конструкторское бюро «Вымпел», ядовитые дымки над трубами, Нарвские ворота в ад... Но Фаина! В колхозе, куда его сослали этой осенью. От предприятия. Месить грязь на уборке картошки. Обчавканные сапоги, тяжёлые, с отворотами. Фанерная тара с прорехами. Полугниющая земля, полуживая. Небо высокое, навывает. Запах яблок. Из сырых садов. Вдох, выдох. Смена ритма. Вчера пригласил Фаину домой. Стыдно. Всегда стыдно. И не домой, а в обшарпанную однокомнатную квартиру. В съёмную. Только погасишь свет — клопы. Но какой там свет. Тут бы дотронуться. И холод. В колхозе увидел — и вот. Она умеет взглянуть. Глаза чёрные, фаинистые. Прожгла моментально. Он лёгкий на прожог. И, конечно, бретелька на плече под свитером. В колхозе зерноток. Рыжий, рассыпчатый. Освещён в угольной ночи. Фаина с лопатой стоит. Улыбается. Он ей стихи. Улыбается белозубо. На выходные к ней муж. Блондин, худой и ухоженный. На машине. Денежен, хоть и шенок совсем. Петечка. Но ничего, что муж. Пришла, значит ничего. В колхозе обедали. Она: у курицы крылышки совсем подгорели. Он: высоко летала, наверное. Вот смеялась! Он остроумен. Умеет идти в масть. Мужики за столом о бабах. С мнениями. Он: главное, чтобы нога была плотная. Он это выдумал. У него любовь к словам. Петечка о теории относительности что-то. Андрей Львович: есть вопрос по теории. Относительно ты меня или я тебя? Что? Относительно ты меня или я тебя? Опять смеялась. Андрей Львович идёт на службу. Улица Промышленная. Всё можно ускутить. Люди убивают воздух. Слева, в темноте, больница. Там он окажется с микроинфарктом. Через восемь лет. И вспомнит, как шёл. Думал про Фаину. Профаин. Лекарство. Он сел на диван рядом. Притянул неловко. Диван вперёд бум. Разложенный, равновесия не держит. Смех один. Смех интимности враг. Враг интимности смех. Она то притянется, то нет. Боится. То ближе, то упирается. Локотками так. В целом не худая. Объёмная и округлая. Мягкая тоже. И дышит. Имя играет значение. Или роль? Фаина. Имя ночное. В девятом классе на даче была. На Украине. Ночью провожал. В саду перегибал её. На пинг-понговый стол. Какая это была Фаина затмевающая. Какая Фаина. Взимающая, но и влагающая сколь. Сказал бессмыслицу. Не тереби. Жарко. Под деревьями около хаты. Там звёзды в натуральную величину. Сверкают. А потом друг перехватил. Он умелей был. Взрослей. Жилистей. Прямолинейно уверенней. В нежной наглости деловой. Андрей не в обиде. Только на себя. За неумелость. Тюфяк. Всегда в тюфяковом провисе. В гамаковом. Как в гамак положила мать, так и лежит. Две сосны и гамак между. И спит. Это детство. В провисе немускулистом. Зато развивает речь. Речь на

месте мускулов. Речь восполняет. Ветвится в направлении лакун телесных. В попытке приспособить теловладельца. Приноровить к жизни. К вальяжной. К обхождению с женщиной с локотками. Речь исхитрится. Речь выживет. Речь прикроет его и защитит. Потом. Всегда потом. Когда поздно. Ей пора. Петечка ждёт. А что на обоях? К обоям он приклоплавает стихи. Напишет — приклоптит. Чтобы читали. Хочешь про колхоз? Вот тут. Она хочет, но ей пора. В другой раз. Другого раза не будет. Он знает. Он идёт на службу. В КБ «Вымпел». В стихах не про колхоз. Там про шевеление жизни. «Мычащий коровник, гремучие цепи на шеях». Так начинается. Потом: «предчувствие гибели, эпос, приснившийся стаду». Серьёзная идет раскачка. С тёплой слюной дыхания. Завязывается. Потом: «пульсирует рядом, пульсирует воздух в крушениях огней запылённых, и, сопротивляясь распаду...» Как дальше? Дальше в проходную. В серый декабрьский день. В боль сердечной мышцы. В сон за рабочим столом. Фаина и Фаина. У него всего бывает по два. Тот друг, что отбил первую Фаину. С ним украли бутылку водки. На свадьбе соученицы по школе. У Чепёлкиной. Фамилия. В арендованном кафе. С мертвенно-белыми скатертями. Потом скатерти запятнались вином. Они выжидали. Когда начнут расходиться. И — фьют со стола. На выходе отобрали. Пожилые мужчины-родственники. Но тактично. Не позорили. Отпустили. Стыд был. А второй раз — и тоже на свадьбе. Но уж тогда Андрей в одиночку. То-то была свадьба. Фешенебельная. В доме творчества. В Крупино. Композиторов дом. У каждого коттедж. Коттедж. Коттедж. Вот слово спрессовали. Залив поодаль слюдяной. Тоже декабрь. Дядя его двоюродный женился. Знаменитый талантом. Обволакивающий. Как сядет за рояль, как запоёт. В потолок смотрит, рот в пол-лица. В улыбке озвученной. Самозабвенен крайне. До самоупоения. Там и Дарик мелькнул. Сидел с красавицей томной. Томой звали. Это они потом уж вспомнили. Через много лет. Там были и знаменитости. Всё «композирь». Там и с другом дорогим познакомился. С Дмитрием. Дмитрий румяный, расфуфыренный. Как девушка, только в шутку. С жабо. И тоже с красавицей. Все с красавицами. Все как один. И все острят. Особенно Дмитрий. У него хамоватый стиль. «Ты хорошо выглядишь, хотя заметно подурнела». Его коронная шутка. Он искусствовед. По живописи. И киновед. Начинающий, но модный. И безработный. А деньги? Спекулянтские. Папины. Папа антиквар. Ну, Андрей выпил. И присмотрел пластинку. Маленькая, на 33 оборота. Битлз. Год-то какой. 67-й, наверное. Редкость. Взял за пазуху и пошёл. Через снег — на шоссе. Топ-топ. От коттеджа. На остановку автобуса. И кто догнал. Дмитрий и догнал. Познакомились. У Андрея Львовича клетчатоманья. Как выпьёт, так не он. Меняется химический состав. В мозгу. Другой в него вселяется. Бесцельный. Делает что хочет. Его двое минимум. И всего по два. Минимум. Две Фаины. Две кражи. Двое родителей. Он засыпает. Голо-

ва на руках. Руки на рабочем столе. Да. «...уходит в солому, но тянется повествование тягучей слюною горячей, оно не о нас ли шумит на отливе, на тяжести, на расставанье и крепнет опять, согревая дыханием ясли». Он спит. Он выживет. Стихи спасут».

Выход из бормотания в чистую внятность, свет, прерывающий темноту, и явление яви похожи на сокращение дроби — на алгебраическую задачу, когда густоразросшаяся дремучая дробь внезапно обнадёживается правильным убыванием, и — вот он, выключатель, и всё проясняется и сводится к миниатюрному и красивому решению. Я помню эту радость на контрольных, когда Василий Иванович, выпуклолобый учитель математики, короткие брюки, очки на тонком изогнутом носу, даёт мне и ещё двум-трём задачки повышенной сложности: «Ну, сегодня я тебя, каналья, посажу в лужу!» — радость разгона в распутывании алгебраического клубка.

Но пора в аэропорт... Иду. Я не понимаю, что я живу. Что я когда-то не иду. Что есть вот улица, по которой иду, без меня. Как это понять?

Метро, автобус. Автобус, метро. Смотреть в окно на проезжающие картинки — разновидность освободительного движения. Это детская прививка, взгляд с верхней полки в поезде... Реклама: выставка-продажа «Шуба России». Почему не «Россия под шубой»?

Сегодня прилетает из Питера мой школьный друг Саша, не ко мне, в командировку. Ему Василий Иванович давал задачки отдельно от всех, даже от нас, «повышенных». «Ну, каналья...» Где он? Жаль людей.

«Да о чем ты говоришь! Мы умрем — и даже не вспомним друг друга...» Это я себе...

Еду, смотрю в окно, мне интересно смотреть, просто смотреть. Вот уже лет десять я просто смотрю. Сказать по правде, я отсутствую.

Я столько лет отсутствую, что если встречу себя на улице, уже не узнаю.

Как это случилось? Я положил в портфель контрольные работы — дети, убегая, побросали их на стол, — заглянул в первую попавшуюся и подумал, что Эдик прав: не воображай, что можешь чему-то научить. Иначе сойдешь с ума. От отчаяния. Мы работали тогда в одной школе, я учил физике, Эдик, он и сейчас там, — литературе-русскому. На обратном пути в автобусе передо мной си-

дела понурая пара, муж и жена, оба какие-то заводские. Занюханые, некрасивые, хотя и молодые. Она в профиль, а у него затылок убитый. Что-то случилось, и он со своей бедой не справлялся всем затылком. И вот она ему говорит: «Юр, ты со мной поделишься, скажи, поделишься, не сейчас — дома? Ладно? Юр, ну ведь люди ленинградскую блокаду пережили, войну. Ничего ведь не было тогда. А сейчас ни блокады, ни войны. Юр...» На этом месте я потерял сознание, потом месяц в больнице, а потом работать больше не смог. С тех пор я вообще не в состоянии делать ничего, что меня отвлекает от рассеянности. К книгам это не относится. К наблюдениям тоже. Только к деятельной жизни. Я потерял волю к совершению общественно-полезного труда. Год прослужил в книжном магазине, но не получилось, и тогда я позвонил своему бывшему ученику, который стал главным инженером в ЖЭК'е, и попросил куда-нибудь пристроить. Я сказал ему, что ничего не могу, только думать, но направление моих мыслей не оплачивается. Он рассмеялся и взял меня фонарщиком. Обходить и сообщать о неисправностях. Я знаю свои фонари наизусть. Пожалуй, я бы прошёл их вслепую. И не только. Я знаю почти наверняка, какой сегодня не горит, а какой начинает предупреждающе помигивать. Некоторым из них я дал фамилии своих бывших учеников: там сутулится «Измайлов», а там, на перекрёстке, болтают, склонившись друг к другу, «Капрелова» и «Судоева», они сидели рядом — и фонари парой... Для постороннего все они одинаковы, но я знаю некоторые нюансы: лёгкие отклонения от вертикали, неравномерная окраска, царапины и вмятины, — всё это придаёт им индивидуальную выразительность. И, конечно, имена связаны с их успеваемостью: есть отличники, они всегда исправны, а есть отстающие и двоечники.

Саша был отличник по всем не гуманитарным предметам. Мы сидели на одной парте, на первой, в средней колонке. Принимаясь за контрольную, он пощипывал кончик горбатого носа большим и указательным и громко втягивал воздух, вроде как паровоз на продувке цилиндров...

Сейчас, набредя на это сравнение, я вспомнил клубы белого пара и сладковатый запах угольного дыма и машинного масла... Самая огромная тоска — ощутить себя как живого в своём детстве... Или просто давно... Но чем давнее — тем тоскливее...

Он бросал победный взгляд на расставленные, но уже высмотренные ловушки и моментально всё решал. Мне казалось, что и остальное, «не-контрольное» время, он был занят какими-то каверзными задачками по физике, химии или математике, а слова, которые при этом произносились, могли быть лобой челухой, не имевшей никакого отношения к внутренней работе. Он словно бы решал наперед то, что ему потом предлагалось на уроке.

Странная история приключилась. С пятого курса его отчислили из Технологического института, — он неосторожно читал разную диссидентскую литературу, как, впрочем, многие в те годы. И прежде чем его, блестящего студента и почти аспиранта, пристроили по крупному благу в родственный вуз в Москве, год пришлось помыкаться. Саша не унывал, подрабатывал чернорабочим в магазине у родителей и совершенствовал каратэ в нелегальной секции, которую аккуратно посещал с первого курса. Как раз в этот трудный год тёмным зимним вечерком выпивал он с теперь уже бывшим сокурсником Петей Домрачёвым, — тот пришел в институт после армии, был изрядно старше, здоровый, сильно пьющий, но по-крестьянски сметливый. Староста, конечно. Пили в пивном баре, потом по пути к метро купили бутылку и пошли в парадную, в парадной Домрачёв подобрал котёнка и засунул за пазуху. Он сентиментально любил животных. Пили, расположившись на низком и широком подоконнике, между вторым и третьим этажом. Саша пить больше не хотел, потому что не мог. Домрачёва разобрала злоба. Он начал издеваться, у него всегда были соображения по национальному вопросу, звучавшие обычно с добродушной иронией, но всегда словно бы готовые зазвучать всерьез, при случае, — и случай подоспел, ну и попутно, под горячую руку, издевательски сообщил, что на Сашу донёс, конечно, он. Кто же ещё. Староста. И тут вмешались посторонние силы. Котёнок рванулся к форточке, Домрачёв — за ним, и со всего размаху ударился башкой о стену. После чего медленно осел на подоконник и замер. Саша ушёл, никто его не окликнул... Домрачёва наши жильцы — мёртвого... Вообще-то Саша русский, но его часто принимают за еврея, внешность такая, он это знает, а иногда и слышит и никогда свою русскость не отстаивает и никого не переубеждает. Может быть, котёнок был евреем и обиделся? Его судьба мне неизвестна. Надо бы спросить... Через тридцать-то восемь лет, самое время...

«Тут такое началось. После командировки в Жуковский. Там был на аэродроме. Холод зверский. Пар, ангары. Самолёты вверх-вниз. Андрей Львович привёз схемы. Какие-то разлёмы. Сам без понятия. Стоит. Они разбирают, прямо в ангаре. А он стоит, в голове стихотворение. «Из утра в утро чёрное валясь...» Стоит, стоит. Душа ноет. А там двое: он и она. Лет им по тридцать примерно. Инженеры. Видно, что любовники. Всё шушукуются и смеются. Но и в схемах понимают. Не то что он. Он в ушанке. Смотрит в небо. Они — на него и в смех. Наверное, вид идиотский. Плевать. В ушанке и без понятия. «Не помню, кем я был, одним из вас...» У инженеров такие слова: мутота, например. Тощит. Мутота. Он только смотрит. Чего смеются? Что ушанка завязана под подбородком? Ну и что? Бантиком завязана. Как мама завязывала. Вечером гостиница. Номер человек на пять. Кровати. Сдвинули и пьют с тумбочек. Он в кафе. Пьют

спирт. Массандру. Сколько, говорит, ребят сгорело. Бортмеханик. «Бортач» на жаргоне. Спирт, говорит, сушит. И сжигает нутро. У меня, говорит, заход по схеме. Сегодня. Пьяный, значит, домой. Вернулся в Питер. Тут и началось. Сирано такое. Декабрьский холод. Зверский. Конференция молодых поэтов. Прямо в Союзе писателей. Интерьер темного дерева. Резной, лаковой. Шторы музейные. Из дворцовой роскоши вид на Неву. Белый до слепоты. Царственный лёд. К нему такая девушка. Сначала некрасивой показалась. Но дала сразу понять. Восхищенье у неё. Чем? Стихами Андрея. Это уже признание в любви. Без разговоров. Сразу стала красивой. Андрей протёр очки. Он влюбляется мгновенно. А тут она первая. Тогда он тем более. Его только обижают. Сколько обид. Сколько умственных расправ. С обидчиками. Годами не проходит. Тмится в мозгу. Зиждётся. Злободневничает. В троллейбусе сегодня. Мужик на ногу наступил. И смотрит. С беременной женой. Уступи место, мол. Андрей не видел, что беременная. Уступил. Но зачем на ногу? Потом Андрей его долго убивал. Уже выйдя из троллейбуса. Подлец. И тут она. Лицо острое, хотящее. Перед этим то, сё. Семинар поэтический. Ведут поэт и два критика. Матёрые. Все «семинаристы» читают. Дальше разбор. То, сё. Поэт Глебов крупный, в пиджаке. С брюшком. За главного. Говорит последний, итожит. Гудит. Крупные губы, нос — вытянуты вперед. Подводит черту. И опять обида. Все, замечает, читали сидя. А вы встали. Зачем встали? Не надо. Выставляться не надо. Скромность. Андрей сгорел от стыда. Он встал, это правда. Но ему дыхания не хватает. И от волнения. Не выставлялся он. Андрей промолчал. Про себя оправдался. А Глебова казнил. Руки отрубил, ноги. Голову. Тут она, Настасья. В гости зовёт. У меня коммуналка, правда. Мама. Но в соседней комнате. Друзья там. Математики, лингвисты. Она математик. Живёт уроками. Английского и математики. Быстрая. С игрой в глазах. Потому и началось. А что началось? Хочет в лито, где Андрей. А зачем? Ну так, слушать. Вы пишете? Нет. Вот видите. Могут не принять. Вы ко мне в гости. Он пришёл. Ещё двое. Уверенные в себе. Ядовитые. Антисоветчики лютые. То Солженицын, то Бродский. В разговоре. Оба с бородками. Как братья. Сидят, вино пьют. Цитируют кого-то. Потом один говорит: «Let us go then, you and I...» А второй: «No». Первый ушёл. Сказал строкой из стихов. Это уж Андрей после узнал. Мол, пошли. Второй остался. Стали сидеть. Ночь почти. Кто уйдёт? Андрей бы Львович должен. Он здесь впервые, гость. Но он уж выпил. Он уж не он. Разговорился. Глаза замаслились. Он второму: вас Яша зовут? Тот: почти. Он: бывает человек — типичный Яша. Выступил, как Дмитрий. Хамовато. Зачем? У него замкнулось. Фаина украинская. Брат был у неё Яша. Скрипач. И у него замкнулось на Яшу. Он стал рассказывать. У меня, говорит, всего по двое. Две Фаины, две кражи. Этот с бородкой: и двое родителей? Так они обменялись. Нет, только мать. Отца не было. Вооб-

ще? В частности. Мать заняла в душе. Забыл сегодня позвонить. Теперь поздно. С бородкой ушел. Андрей слегка приблизился. Настасья поцеловала. По-матерински. Говорит: в другой раз. Ушёл вслед. Вслед легче. Всё-таки одна осталась. Ни с тем, ни с этим. Любовь. Любовь пошла жечь. Он лёгкий на прожог. Я за вас напишу. Чтобы приняли в лито. Я знаю, что надо. Она быстрая, с игрой. Включилась. И пошло-поехало. Её приняли, да ещё как. Андрей ей гражданскую лирику. Сочинил. Сработало. Антисоветскую, но подспудно. Потом ещё. Сирано пошло. Шеф — пожилой поэт. Сергеев. Всё понимающий. В социальном смысле. Либерал. Сидит с папироской. Сгорбленный немного. Руку отставит, смотрит в сторону. Говорит. Искоса — на того, с кем. И опять в сторону, на стену. В профиль покуривает. Головой покачивает. Нога на ногу. Ну-с, ну-с. Чья очередь. Тут Настасья.

Из утра в утро чёрное валясь,
не помню кем я был, одним из вас,
я был провалом памяти у века.
Когда мой век работал на износ,
не помню кем я был, я службу нёс
в разжалованном чине человека.

В глаза летела дьявольская сыпь,
был год Дракона, общий недосып,
от всех людей, единого их лика,
щемило сердце, — мертвенно-белы,
не люди к проходным своим брели,
но призраки театра Метерлинка.

В них гибла страсть, состарившись среди
корысти и насущного пути,
и, голосу другого неба вторя,
я о себе напомнить не умел
тому, кто шёл, рассчитывал, умнел
на цыпочках второго ряда, в хоре.

И всё звала удобная строфа:
что наша правда, истовость, слова,
и всходам сердца медленным, озимым,
как дотянуть до марта, если нам,
пока не поздно, тоже по домам,
по тёмным корпусам за магазином?

Уж я готов был следовать за ней,
и ночи становились всё длинней,
и беспросветней дни, и жизнь короче,
но всякий раз, я помню, всякий раз
всё более обязывали нас
декабрьские мерцающие ночи.

Ну-с. Говорите. Какие-такие «проходные»? Это — не от себя. От имени работника. Человека зачуханного. Но не сломенно-го. А-а. Вот так. Учитесь, говорит, остальным. Сам сгорбился, курит. Головешкой такой. Глазом одним щурится. От дыма. Дымок вьётся. Расщепляется в перламутре. Смотрит хитро. Нога на ногу. Все поэтики взбудоражены. Андрей Львович ликует. Они вместе. С Настей. Духовно. Это его жизнь. Ею рассказывает. Трудная. Встал — на работу. Полусон-полуявь. А когда с похмелья? На работе руки на стол. Спит. Он не сломен. Он выживает. Стихи спасут».

Мир становится всё громче. Радио «Шансон». Шанс-о-о-он! «Я куплю тебе новую жизнь, откажись от него, откажись...» Брюзжани старости вовсе не зависть к молодости, — это ответ на разрушение привычки. Тяжело слышать непрекращающийся публичный ор. Но для того, кто с пелёнок живёт в этом крике, ничего не происходит. Проблема отцов и детей в том, что отцы *создают* проблему. Дети заняты собой, плевать им... Но отцы — нет! Откуда такая отвлечённость на детей? От незанятости собой. А незанятость собой? Оттого, что тебя остаётся всё меньше. Чем заниматься, когда тебя почти нет?.. Но честного брюзжания ради: если бы и было чем заняться, как прорваться сквозь этот крик?

Сажу в аэропорту. Кафе. Глазею, слушаю. Старик. Моих лет, не старый ещё старик. Ест. Я в кресле, делаю вид, что читаю, а сам посматриваю. Вот он чистит яблоко, с собой принёс, затем громко откусывает, быстро, жадно и подробно жуёт чавкая. Так жевать необходимо его здоровью. Пальцы кривые, длинные, волосатые и нервные, нетерпеливые пальцы, они работают ножом, потом берут кусок яблока и отправляют в рот, рот жуёт. Прикрыв глаза, всё это продолжаю видеть и слышать... Он и нож прихватил в аэропорт, здесь-то пластмассовые. Каков человек! Кафка бы сказал: «Как стойко люди умеют переносить жизнь!»

Две проститутки. Одна ещё свежая, вторая — тронута тлением. Так бывает у людей, которые от пьющести переходят к спившести. Секунда тления в лице. Одна говорит: «Это его румянит...» — «Чего?» — «Ну, румянит, красит значит...» Копаются в сумочках.

Человек с зализанным лицом. Чиновник. Сметает с подноса всё, вплоть до пакетиков с сахаром и солью, не ест, а молотит безостановочно; под музыку в наушниках и ответное дрожание ноги открывает баночку с йогуртом, капля стреляет ему в щёку; закончив, немедленно начинает работать зубочисткой. Кажется, он хочет использовать абсолютно всё, что есть под рукой, — использовать, истратить, поглотить. Я пытаюсь представить его ребёнком. Не получается. Так зализано лицо.

Провезли мальчика-калеку, у него такая длинная шея, как будто только она и росла, а он в росте остановился. Служащий толкает тележку, а сестра (видимо, сестра) поддерживает его голову, потому что шея «гнётся и скрипит» и, кажется, сейчас сломается. Порция горя внезапного.

Когда-то я спросил жену, что главное, как ей кажется, в «Процессе», в двух словах. Она сказала: в двух словах — двойной поворот ножа в сердце К., на последней странице. Через много лет я нашел объяснение самого Кафки — в одном из писем он говорит, что вот они, ключевые слова в повествовании о несчастной жизни и несчастной смерти К.: «Как будто этому позору суждено было пережить его». Может быть, это и есть *двойной* поворот. Для позора длиной в жизнь хватило бы одного.

Я смотрю на людей в зале ожидания. В каждом, как в космическом аппарате, своё пространство-время. Поэтому у Кафки обычная комната судебного заседания — из-за того, что набита людьми, стоящими даже на галерее и упирающимися головами в потолок, — начинает казаться огромной или безразмерной.

Помню, как я навестил Сашу, единственный раз, классе в 9-м, наверное. Его родители были продавцы, мать работала в овощном отделе, совсем дремучие люди. Помню её руки, тесно набивающие банку квашеной капустой провансаль или вылавливающие с хлопьями огурцы. Саша и в школе, и тем более после, став известным ученым-фармацевтом, образцово, как и всё, что он делал, опровергал теорию наследственности. Переступив порог, я попал в чужой мир, немедленно захотелось уйти. Новое скорее отталкивает, чем притягивает. В комнаты я не прошёл, никто не пригласил, — в конце коридора показался отец с отёчным красным глазом и скошенной челюстью, изуродованной, вероятно, осколочным ранением на войне. Показался — и скрылся. Через открытую дверь в правую комнату я увидел Сашину мать, лежащую на кровати, большое тело в хаате, которое стало поворачиваться на бок... Я отвернулся. Слева была коридорная стена, то есть не было ничего, кроме рисунка на обоях. Помню, что Саша что-то быстро прихватил в комнате и мы ушли. Наверное, он стыдился своих родителей и этой беспросветной нищеты, которой дохнуло из глубины квартиры. Потом, когда через много лет я читал в «Процессе», как над кроватью художника, к которому пришел К., отворяется маленькая дверца и за ней простирается коридор канцелярии, мне это несообразное искривление пространства-времени с уводом в другой мир не показалось неестественным, — наоборот, подтверждающим то, что я уже знал.

«Год канул. Андрей Львович к Настасье. Даже ночует. Редко. Иногда. Почти никогда. Он любит. Да? Да. Но. Не любовник. Ес-

ли честно. Что-то не так. Ночует. Мука одна. Настасья ласкова. Не как любовница. Как мать. Вот в чём дело. Но с виду роман. Для всех — роман. Мама почти обрадовалась. Наконец-то. Рано радоваться, мама. Рано. Он привязан к маме. Жалостью. Постромками извилистыми. Он у неё единственный. Долго в одной комнате. Тесно жили. Спали в одной кровати. Долго. Почти до его подростковости. Какой там Фрейд. Бедность. Никакого Фрейда. Не надо подспудничать. Вся жизнь впереди. Андрей помнит. Комната. Столик со скатёркой. Кружевной. Скорее тумбочка. Фото отца. В военной форме. Столетник на окне. Одно окно. Одна кровать. Никелированная. Всего по одному. Потом уж мать съехала. С сестрой. Сестра умерла. Вот и квартира. Спрашивает: она работающая? Про Настасью. Не фифочка? Что за фифочка? Мама. Ну что за фифочка? Не ветер в голове? Не ветер. Бушует над бором. Некрасов. С детством слился. Мама читала. Вслух. Мелодика. «Старый Мазай любит до страсти свой низменный край». Вот именно. Андрей Львович снимает. Квартира в новостройках. Продувные дома. Навылет. Продув навылет. Ночь ленинградская. Вечная мерзлота. Пустырь и ночь. На службу. Со службы. Портвейн. Портвешок. Водка с водопроводчиком. Водопроводчик. Зашёл чинить. Ванная. Засор. Пришлите колонизатора. Распили. Разошлись. И личности вот эта несверщённость. Трагическая. Общее недомогание души. Сосёт под ложечкой. Душа с подсосом. Тогда ехали вместе. После конференции. Глебов с критиком. И Андрей с другом. Критик вздохнул: неужели им не светит? Кивнул на «семинаристов». Глебов: нет. Вздохнул. Ночь на дворе. Не будут их печатать. Поэзия запрещена. Сам печатает. Нет-нет — да и книжка. Они-то прорвались. В шестидесятые повылезли. Грибки оттепели. Эзопоязычники. Смысловики-затейники. У Андрея Львовича несверщённость. Размытость. Размытость определённости. Расплав неточности. Несовпадения с собой. Неслияния с оригиналом. Как от переводных стихов. Мука одна. Настасья. Носик острый. Глаза вкрадчивые. Смотрит как прикасается. Ощутительно смотрит. У Андрея закипает. Он ей стихи. Она прочтёт на лито — хорошо. Игра. Они в заговоре. В подмиге взаимном. Дурачат дураков. А ляжет рядом — ничего. Не может. Он волнуется. Я волнуюсь. Ничего. Не расстраивайся. Ты хороший. Лучше всех. Да? Да. Тогда ладно. Приходит однажды. К ней. Разговаривают. О поэзии. Она: вот, Ходасевич. Он: да. Ты слышал о таком? Да. Кое-что. Вот у него: «Бог знает, что себе бормочешь...» Да. Всегда трезв. Притворяется, что бормочет. Она: непреклонная грация. Тут Андрея Львовича как громом. Это не её слова. Это слова Березина. Одного из поэтиков. Ещё до её прихода на лито. Он делал доклад. О Ходасевиче. Это его слова. Непреклонная грация. Признавайся, Настасья. Признаюсь. Любовь. У Березина любовь. Влюбился в стихи. В мои. В твои. Что делать? Не знаю. Представляешь? Я тут при чём? Значит он в тебя влюбился. Как бы. Хорошенькое дело. Я не по этой части. Я

ни по какой части. Березин. Надо же. Под Ходасевича и пишет. Соблазн простоты. Кажущейся простоты. Обманчивой, меж тем. Меж тем, обманчива она! Вы встречаетесь? «Встречаетесь!» Сколько фальши в одном слове. Сирано сплошное. Сразу невзлюбил Березина. А нравился. Только что нравился. Сдуло в момент. Про стихи врёт. Настасья добивается. Или добился? Ничего. Пусть. Я не жадный. Мой тезис: жизнь больше любви. Любовь проходит. Ещё при жизни. А жизнь живётся всё. Несмотря ни на что. Двоих что связывает? Не только любовь. Не столько. Одна орбита. Метафизическая орбита бытия. Если связывает. Есть жизнь и есть любовь. Двое живут жизнь. Любовь может кончиться. Да, может и кончиться! Могут быть посторонние любви. Мимолётные. Они говорят: «измены». Они говорят: «связи». Что за измены? Враньё. Жизнью претерпевается всё. В преодолении насущном. Тоска, конечно. Но что *не* тоска? Посторонняя любовь тоже любовь. Не измена. Она должна быть прощена. Точнее — помилована. Потому что не виновата — раз. И потому что жизнь больше — два. Жизнь милосердна. Любовь жестока. Даже если не виновата. Жизнь милосердна, потому что забывчива. Зачем ей что-то помнить, если она есть? Любовь жестока. Злопамятна. Что ей делать, если её больше нет? Помнить. Измена не физическое дело. Настасья поделилась мной. С ним. Вот где измена. Жизнью моей души. Шутку затеяли. Вышло всерьёз. А ему изменила со мной. Его «непреклонной грацией». Что ты говоришь? Ничего. Штучко-образный папирус. Что это значит? Ничего. Голяк в оркестрационной. Штучко-образный папирус. Се-ги-кей-смен-ственность. Дрежкандр. Алум. Она призналась Березину. В итоге. Что стихи. Не её. Тот чуть не рехнулся. Я его вызову. На дуэль. Так кричал. Кричал и бедствовал. И бедствовал крича. Внутри себя. Внутри своих ресурсов. Боль его. Боль его острая. При его ненависти. При его зависти. К любому другому. Он? Полюбил? Эти стихи? Дерьмо это? Как мог он? Пусть придёт. Я ему по лицу. Съезжу. Так кричит Березин. Наверное. Андрей Львович не против. Я приду. Куда? Туда? Приду. Березин плачет. Наверное, плачет. Бьётся головой об стену. Так попасться. Так разыграли. Неискупимо. И ты, ты Настасья! Скажи, что это ты. Ты написала. Это не он. Так умоляет Березин. Не он? Он. Будь мужествен. Бьётся Березин. Рана его пожизненная. Березин не явился. На выяснение. Андрей Львович не трус. Пришёл. Потом тот позвонил. Был нетрезв. Сказал: она со мной. Андрей Львович: понимаю. Тот сказал: она с тобой не спала. Андрей Львович: целый год. Тот: что целый год? Он: абсолютно всё. Голяк. В оркестрационной. Штучко-образный папирус. И добавил: встретить того, с кем тебе изменять. Интересно. Его можно узнать по словам, мыслям. По моим словам. По моим мыслям. Меня отдала ему в дар. Увидеть себя в таком зеркале. В кривом. Можно ужаснуться. Воистину. Большая тема. Здесь не только измена. Не только предательство. Здесь и любовь. Продолжение любви к тебе. Так странно выраженной.

Так что ты меня любишь, Березин. Бедный Березин. И повесил трубку. И пошло, пошло. Стало длиться. День, другой. Неделя, две. Месяц. Через год они поженятся. Она станет Березина. Ещё через год уедут. В эмиграцию. А пока. Пока Андрей Львович отходит в сторону. Он почувствовал. Что оживляет их любовь. Делает её острее. Я не приправа. Я не перец. Не соль. Не корица. И устранялся. Это униЗИтельно. Я не катализатор. Дайте объявление: ищу катализатора. Меня нет. Он съехал с квартиры. Вернулся к маме. Ветер в голове? Да, ветер. У неё. Я так и знала. Не везёт моему мальчику. Ничего. Он не сломен. Он выживет. Стихи спасут».

— Я привёз тебе свой препарат. Вот эти — раз в неделю по одной, в маленькой баночке. А эти — три штуки под язык. Каждый день.

— Омолаживающие?

— Не сразу. Надо попринимать месяца три. Результаты в нашей больнице, где применяем, хорошие. Дая памяти. Если боли в суставах. Ну и прочее.

— Как ты? Давно не виделись. Лет пять? Десять? Как сестра?

Только что, по дороге из аэропорта, он заезжал к сестре. Завозил свои препараты. У него небольшая фабричка в Москве. Делает таблетки. Я не пошёл, ждал во дворе. Декабрь не холодный, мягкий. Едем дальше, он в гостиницу, я домой.

— Всё в порядке. Тесно там. Не могу. Лучше в гостинице. Четверо.

— Что?

— Четверо их. Дочь её с мужем и пацан лет семи.

— Понятно.

— Сестра готовит ёжиков. Ха. Ты знаешь, что такое ёжики?

— Фрикадельки такие?

— Ну. Пацан с папашей лежат, смотрят телевизор. Сестра тараторит: «Нельзя же лежать, он ведь маленький, будет неспортивный». Неспортивный. Представляешь?

— Да.

Он стал еще более горбонос, рыжесть выцвела и поредела. Так же глубоко втягивает воздух, прикладываясь указательным и большим к ноздрям.

— Сестра им покоя не даёт. Говорит, попроси его вынести мусор, на помойку сходить попроси. Она хочет, чтобы он занимался делом... Этот муж странный. Лежит и всё. Такое впечатление, что в депрессии. У тебя бывает? Ты попринимай, если что.

— Я конечно.

— И потом сестра его не любит, этого мужика. Говорит, надо было такого в дом привести. Лучше, говорит, совсем никак. Дочь ее прибирается, так она бросила ёжиков, стала ей мешать. Дочь кричит: «Твоей приборки сейчас здесь не будет. Не бу-дет!» А потом: «Вот здесь лежало колечко. Его нет, после того, как ты прибирала...»

— Колечко.

— Пока сестра стала помогать, колечко пропало. На руку которое надевают.

— Да.

— Тогда сестра кричит, мол, давай проверим в мусоре. И вывернула ведро с мусором на газеты. Дочь её тоже закричала, что не будем в мусоре, что не надо никакого колечка. Жалко сестру. С таким психозом она. Говорит дочери: «Лучшая бы ты бросалась на того, на кого надо бросаться...» Ты представляешь?

— Да. А что пацан?

— А что пацан? Всё время втягивает сопли и хнычет. Броуновское движение.

Мы едем дальше. Я не философствую. Броуновское движение. Вечер чудный. Мы ни о чём не поговорили, конечно. И только в конце я спросил про Домрачёва и кошку. Саша сказал, что не помнит никакой кошки. А сейчас ему выходить.

— Слушай, я всё забыл. Из этой раз в неделю, по одной, так?

— Я сам забыл. Сегодня не принимал. Завтра приму — и вспомню. Шутка. Да, из этой.

Он выходит. Я еду дальше.

Ноябрь

«Андрей Львович идёт на службу в конструкторское бюро «Вымпел», ядовитые дымки над трубами, Нарвские ворота в ад... Но сегодня не идёт, а лежит. Больница. Не инфаркт, предынфарктное. Вот это «бы». Толстостенное. Предупреждающее. На «и» будет тоньше. И быстрее. На «и». На исходе год 1981-й. Зажглось к вечеру. На работе. Дошёл до больницы. Она тут же, с Промышленной направо. Фонарики сверкают, примораживает. И уложили. Нехорошо. В больнице вонь. Это на первое. Сразу и резко. Андрей Львович пошучивает. Допрыгался. Медсестра отзвучиво улыбается. Ключёт ласково. На каждого живца. Краснеет. В коридоре женщина. С привязанными руками. К спинке кровати. Отвяжите, отвяжите. Как юродивая в кино. Просительно. Извиваясь. Вид. Избитый вид. Испитой. Андрей: отвяжите. Сестра: нельзя. Будет снова прыгать. То есть? В окно. А-а. Это на второе. Простыни. Пятнистые. «Куды я попал?» Учитель физики ахал. В классе никто ни бум-бум. «Боже сахарин», шутил. Андрей включил «мёртвую зону». «Умышленную Мёртвую Зону», так он придумал. УМЗ. Когда не видишь то, что не хочешь. Перед тобой, а не видишь. С мыслями тоже. Не подпускаешь. Испуганный человек. Человек испуганный. Поэма. Тут же, в коридоре, он и она. Андрей уже с включенной УМЗ. Чтوب расплывчато. Она во сне подвывает. От боли. Муж сидит рядом. Держит её за руку. Проходит то медсестра, то больной. То чёрт его знает кто. То чёрт его знает кто. Без внимания. Она — отдельный мир. Боль и сон. Борьба. Физическая. Все жиастые силы в сцепке. Жилистые силы души.

И краем мозга фиксирует. Там, внутри себя: я есть. Я здесь. Боль как удар. Стон. Внутри неё колокол. Стон идёт эхом. Эхом колокола. Остальные — в своём мире. В здоровом. Медсестра всё сделала. Что положено. И ушла. Муж — в двух мирах. Но почти в одном. Во внешнем. Туда, в её борьбу, не проникнуть. Он бы и рад. Здоровье не пускает. Здоровью не до болезни. Как бы душа ни рвалась. Туда, на помощь. Это на третье. УМЗ не очень-то работает. Срывается в смотрение. В мысль. Андрей Львович не трус. Он видит. В палате ещё один. Лицом к стенке. Выцветшая майка. Блеклая. Это слово «блеклый». Больничное. Оно через «е». Через «ё» оно не блеклое. Надо понимать. Тело. Койка. Капельница. Больница! Тоже слово. Воспалённое. С прицельной лампочкой посередине. В сто ватт. Точное. Только что была вольница. Со скок на «б» и передёрг ударения. Во славу вони. В сто ватт и во славу вони! Йод, моча, хлорка... Сокрушительная смесь. Тошнотворная. Андрей Львович встречал маму. Незадолго до её смерти. В больнице. Вышла как из преисподней. В жёлтом освещении. На венах следы уколов. Стигматы. «Больницы наши, умиральные». Лежи, смотри в потолок. Таня была как раз беременна. Когда? Дочке пять. Пять лет назад. Стыдно. Мама не хотела. Его женьтибы. И он не хотел. Так вышло. Беременная она. Обыкновенная история. Началось в Студии. В театральной. Студии, студии. Кругом студии. Как грибы. Грибница в гробнице. Государства советского. Дмитрий привёл. В ДК им. Первой Пятилетки. Вот поэт, говорит. Будет вам писать. Глава студии — Могильницкий. Неплохой зачин. Могильницкий! Практиковался на Таганке. В той же стилистике заварил. Народный театр. Шурум-бурум, трам-тарарам. Полузапрещёнка. Андрей Львович им тексты. Один из студийцев дворник. Рагим-заде. Тут же, на Декабристов. В огромном подвале живёт. Сборища. Тайное общество. На улице Декабристов! Бурлит. Вино, стихи, любви. Гитара. Класс гитары ведёт Нодар. Для желающих. Дарик. Девушки взволнованы. Таня за Андреем. Пришпилилась. Хватить — и всё. Приклеилась. Из Удмуртии. Таня эта. Немного раскосая. Немного плосколицая. Хватить — и всё. Он и рассмотреть не успел. Сквозь очки. У Рагима в подвале маты. По отсекам. На них и падали. Заночёвывали. Вдруг получилось. Получилось у Андрея Львовича. И сразу забеременела. Прописка ей нужна. Так мама подразумевала. Моего мальчика дурачат. Прописка так прописка. Не жалко. На Колокольной. Семья. Дочь Кира. Мать умерла. Не дождалась. Наверное, не хотела. Не того она хотела. Для своего мальчика. Ничего не говорила. Только подразумевала. Осуждающе и скорбно. Вслед посмотрит Тане. Но как! Андрей Львович помнит. Он включает УМЗ. Но она не работает. Помнит. Вопрос проскока. Как живут люди? Вопрос проскока ситуации. Трудной ситуации. Позорной. Трагической. Не желанной. Когда не хочешь видеть. Слышать. Знать. Так строится жизнь. На инстинкте. Нет! Не хочу! Только не кричите. Хорошо, скажу тише: не знаю. Не видел.

Падение. Где-то там. Всплеск. Не слышал. Андрей Львович засыпает. Сон — проявление инстинкта. Его высшая точка. Инстинкта выжить. Во что бы то ни стало. Выжить — значит забыть.

Койка напротив. Кабанов Петр Сергеевич. На боку, с газетой. Что пишут, Сергеич? Что-нибудь о твоей жене? Нашли её лифчик? Да, нашли. Разбежались искать. Сергеич снимает дачу. С соседями по коммуналке. Этим летом повесили белье. Сушиться. Утром нет трусов и лифчика. И комбинашки. Комбинашки нет! Всего нижнего белья. Зайцевы украли. Соседи. А кто ещё? Мать твою за ногу. Зайцевы у Кабановых. Скоммуниздили, что ли? Ты коммунизм не трожь. Салага. Это тебе, понимаешь, не так просто... Фразу не держит. Забывает. Иногда на полуслове. Пенсионер. Курносый, глазёнки маленькие, юркие. Вот такой зоопарк, говорит. Мы на Зверинской живём. Рядом с зоопарком. Поэтому. Эх. С юмором. А что коммунизм, Сергеич? Ты не смейся. Есть непроходящие ценности. Не-про-хо-дя-щи-е. Да. Моб твою ять. Иносказательный мат. До настоящего Андрей не дозрел. Так он считает. Мы за коммунизм ого-го-го. Мы, понимаешь... А вы? Болтуны. Без роду, без племени. Никто не забыт, понимаешь... Да. Вот как надо писать. Сползла погода. На бархат заката. Слезинка дождя. На бархат заката! Слезинка дождя! Андрей Львович думает: «сползла погода». Отрицательное звучание. Наперекор задуманному... Андрей Львович говорит: да, красиво. Сергеич, будем держаться! Если сползть, то погода. Сергеич: вот именно. Будем стоять, как на подстаменте. Насмерть.

На подстаменте. Андрей представляет памятник. Рядом с больницей. Кирову. Сергей Миронычу. Слова. Странная штука. Блеклый, больница, сползла погода. Прописка. Сколько проклятий и писка. Жилплощадь. Жилплощадь. Как жить на жилплощади? А кто сказал, что жить? Только расплодиться. Всеми жилами. Вот эти сокращения. Советские. Уплотнили. Подселили. Но и слова тоже. Подселили одно к другому. Они взаимно задохнулись. В спёртости. Всё точно. Аббревиатуры тоже. КГБ. Калечить. Гнуть. Бить. Крушить. Грабить. Бдеть. Скольких погубили. У Андрея Львовича друг был. Алик. Ещё институтский. Папа большой чин занимал. Там. Как выяснилось. Не сразу. Но друг остался другом. Он не виноват. Наоборот. Давал самиздат. Самиздат! «Доктора Живаго». Отобранные книги. У этих. У диссидентов. У туристов. Они к папе попадали. А потом домой. Просвещение от КГБ. Годы какие? 70-71-й. Алик говорит однажды. Ты осторожней. С поэтами твоими. Писателями. А что? Есть среди них. Доносят. Сидим, пиво пьём. В «Пушкаре» на Петроградской. День золотистый. Ноябрьский. Солнце в полуподвальчик. Наискось. На деревянные столы, кружки. Нам пиво и по наборчику. На тарелке соломка. Брынза. Брынза! Тоже слово. В солнечный день. Алик: ты осторожней. Поротова знаешь? Слышал. Его мать адво-

катша. Ну. На неё писал. На мать свою? Зачем? Попросили. Мать защищала этих... Диссидентов. Кто такие? Антисоветчиков. Которые попались. Папаша его вызвал. Я тебя, говорит, за яйца. Подвешу. Это у них называется «сталиновать». Алик хохочет. Порогов за живот и на пол. Уделался. Папаша ему: уматывай. Быстро. Воняешь. Завтра придёшь, только не жри перед этим. С материалами. Тот пришел. Выкрал у матери. Защитные материалы. Переснял. Жидёнок. Почему жидёнок? Не по чему, а по кому. Кто по матери. Кто по отцу. У этих полукровок раздвоение. С ними легко работать. Папаша так говорит. У них русская половина ненавидит еврейскую. Внутри себя. У них в душе коммуналка. Смердяк. С чёрным ходом. С черносотенным. Почему? Потому что били в детстве. Как жида. Во дворе всё знают. И в школе. Где чья половинка. И по какой бить. Настрадался. Хочет быть русским. А есть и без половинок. Цельнокройные. Но не хтящие. С такими тоже легко. Они с гнильцой. Папаша говорит. Спросишь такого: ты кто? Я? Мнётся. Не любит в себе еврея. Обрусевший я. Ах, так? Тогда служи. Доноси, мол. А среди этих много той же нации. Которую он в себе спирует. Среди антисоветчиков. Понял? Андрей Львович не верит. Наивный ты, Андрей. Папаша — мастер инсценировок. Смотри, что разыграли. Тебе, говорят Порогову, предложат. Вступить в партию. В Союзе писателей. А ты откажешься. Публично. Зачем? Чтобы свои не подозревали. Беспартийные. Антисоветчики. На которых он стучит. А взамен? Взамен — будешь печатать свое говно. И паспорт тебе поправим. На русского. Андрей Львович не верит. Потом уж задумался. Когда с Яшей случилось. Скольких погубили, мерзавцы.

В день проводов Насти с Березиным. Помогали с вещами. Такси. Андрей Львович и Яша. Тот, кого спрашивал: вас Яша зовут? Так в уме и остался. Яшей. Яша безапелляционен: езжай туда, потом туда, потом еще раз туда и туда. Там забрать то, сям — сё. Сям-Сё. Потом — в аэропорт. Таксист: не поеду. Яша: поедешь. Так несколько раз. Поехал. Скукожился и поехал. Яша, когда внутреннен, несгибаем. В достижении. Целевой человек. Андрея бы Львовича в момент выкинули. Да и выкинули, помнится. Ещё обида тяжёлая. Взял такси. Так-Си. Из гостей вышли. На Васильевском. С Настей. Нетрезв немного. И валяжно: нам, шеф, в аэропуэрто. В аэро-пуэрто! Научился. Корёжиться. Научился неприродному. Наглому. Несвойственному. А шеф: выходи, не поеду. Как почувствовал пренебрежение. И вышли. На голом проспекте. Ветер. Позор. С Яшей прочно. Сели — поехали. Березин ни слова. Так злобно и улетел. Настя заплакала, но вскользь. Андрей Львович в душе рыдал. Не из-за расставанья. Ноябрь чернеет. В переблеске листовном. На него этот месяц как нацелен. Действует. Пронизывающе. Пронизывающий ветер проябывал. Фраза Дмитрия. Одна из. Дмитрий умеет. У него обаяние. У него, у Дарика. У них оборотистая сноровка. К жизни надо припош-

литься. Чтоб ни шва не видеть. Ни сучка, ни того... Заподлицо. А не припошился — вылезай. Иди пешком. Года не прошло, эта история. Донесли на одного, другого. По цепочке — до Яши. Антисоветская агитация. Вызвали в ГБ. Он вены вскрыл. Накануне. И кончено. Когда внутренен, негибаем. Сказал: не дамся. Точка.

Таня навестила. Пришла, ушла. Кира не знает. Сказали: папа на работе. В командировке. Нечего ей по больницам. Принесла сырники. Компот. Из сухофруктов. Тумбочка. Компот. Сырники. Сколь жалок натюрморт. И бледен. Сколь жалок, бледен натюрморт. Я натюрмарту присоседен. Кровать. Салфетка. Третий сорт... Таня. Оживлённая. Бодрая. Это вечное двухголосье. Больничное. Навещающий — там. Откуда пришёл. Пахнет воздухом. Большой — потным халатом. Дезинфекцией. Таня как шарик. Надувной. Рвётся на волю. К форточке. Душно у вас. Надо проветрить. Стараются быть озабоченной. Но шарик рвётся. К форточке. На волю. Таня. Существо лёгкое. Не задумчивое. Хотела в театральней. Органика. Провинциалы органичны. Как правило. По дикости. О, этот наив. Наив души неотягчённой. Но не прошла. Слетела с третьего тура. Могильнички подобрал. Сидел в Театральном. Подбирал, кого отсеяли. Дая студии своей. В Пятилетке. Таня порывиста. Таня говорит: слышал? Нет. Самолёт задел человека. За голову. И он в коме. Кто? Что? На взлётной полосе. Во Флориде. Представляешь? В коме. Задел — и в коме. Сергиеч: еще и не такое бывает. Андрей Львович поражен. Вот Таня. Откуда это? Это воодушевление. Интерес к ничему. Этот ноль точки кипения. Равнодушный интерес. Вдруг чужая. Не отталкивающе чужая. Нет. Как прохожий. Идёт мимо. Сидит мимо. Стоит мимо. Говорит мимо. Вот это слово: мимо. Как сквозняк. Сквозь форточки двух гласных. Как выдуло. Потом хлоп. Вернулось. Они в студии этой. Животных изображали. Птиц. Таня — гусыню. Насмотрелась у себя. На родине. На речке Иж. Смешно изображала. Идёт, идёт. Переваливаясь. Вдруг — шея вытянута. И крыльями переполох: пях, пях, пях. Озирается. И дальше. Вот эти остановки гусынины. В оторопи. Пях, пях, пях. Задел — и в коме. За голову. У них там сценречь. Сцендвижение. Вокал. Как в институте. Андрей Львович заходил. Редко. По поводу сценария. Обсудит — и домой. Дарика повидать. Дмитрия. Оба по девочкам. Дмитрий говорит: клеевые потуги. Время, говорит, утешить бабца. Заклеит — и нет. Исчез. Могильнички! Что притянуло к нему? Пустое место. Пустое место притягательно. Вокруг пустого роились. Вот и они с Таней. У него спарились. У Рагима. В подвале. Совет студии. Устав студии. Гимн студии. Студии, лито. Плодились и плодились. Страсть пложения. Нерест. Подпольный нерест. Гул подлёдный. Ложные флажки. Игра в коллектив. В сплочение. Зачем? В единомышленников. Единомышь. В сплочение против. Против официоза. Против лжи. Могильнички. Лидер без черт. Болея он как-то. Навещали. Лежит в малиновом

свете. В колпаке. Почему в колпаке? Кругом студийщицы. Лицо худое. Со щетиной. Говорит о театре. Глаза воспалены. Пылают. Вахтанговская школа. Захава. Захава нагила. Ах, Могильницкий. Мил. Вогнут. Вмякостен. Вмещающ. Никаков. С требованием правды. На сцене. Я в предлагаемых обстоятельствах. Не врать! Не наигрывать! Я. В предлагаемых. А если нет «я»? Одни обстоятельства? А если нет обстоятельств? Одни «я»? А шарик вернулся. А он надувной. Я гитару настрою. На лирический лад. Незнакомой тропинкой. Уйду в звездопад. Полночный автобус. Номер 22. С Декабристов на Невский. У нас компания. Бог мой. Букет их тел. С бутонами голов. Бутоны стучаются. Расцветают ртами. Плещут языки. Сколько любви. Большой. Не навсегда, но большой. Не навсегда любви. Сколько пены. В песок шипящей. Шепчущей в песок. П-ш-ш-ш.

Таня навестила. Пришла, ушла. Андрей Львович скучает. По дочери. Остро. Подробно. Прогулки с ней. По дворам, по дворикам. Колокольная. Разъезжая. Достоевского. Баня. В ней ипшачил. Подъшачивал. Вот это «ы». Толстостенное. Предупреждающее. По выходным. Деньги, деньги. С соседом. Тот банщиком. С Толиком. Пиво клиентам. Ящики с пивом. Притащить-оттащить. На чёрную лестницу. Утром пустые бутылки. Погрузить-сдать. Деньги. Мятые рубли. Дохлые. Замусоленные. Ханьги в бане. В простынях. Сидят разваленно. После париаки. Мат-перемат. Пиво. Скумбрия. Курево. Историйки. Анекдоты. Притащить-оттащить. Погрузить-сдать. В окно высунуться. На чёрной лестнице. Вдох-выдох. Воздуха глотнуть. Ленинградского, зимнего. Пар, звёзды. Фонари. И обратно. Андрей Львович скучает. По дочери. Баня кончилась. Ящики уже неподъёмны. Теперь не растаскаешься. А то ещё был заработок. Поехали. Куда? Под Лугу. Кусты рубить. Вдоль шоссе. Вместо отпуска. С тем же Толиком. По топору — и пошла. Под корень. Таня не требует. Но канючит. Денег нет. Ребёнку *надо* это? *Надо*. А *то*? Чтоб всё как у всех. Дачу на лето снять. В Горской. Или в Разливе. Сарайчик. С электрички сойдёшь. Дохнёт травой. Незатейливо. Но проникновенно. Пыльной травой. Привокзальной. Медленно дохнёт. С работы. Сойдёшь в тишину. Сосны. Дочь навстречу. На трёхколёсном. Папа. Чтоб как у всех. Поехали рубить. С Толиком. Месяц рубли. Ещё позор. Позор и ужас. На возврате. Пили в автобусе. Приехали. Вышли. Толик: куртка. Куртку забыл. Грязную свою. Джинсовую. В автобусе. С деньгами. Рванулись назад. Нет автобуса. Весь его заработок. Четыреста рублей. Андрей Львович отдал свои. Половину. Жалко было. Толика. И денег. Больше денег, чем Толика. С трудом поделился. Поделился. Но с трудом. Позор. Гнетущий позор. Зажавшей души позор неистребимый. Таня в крик. Потом заплакала. Ты тут при чём? Он потерял. Алкаш. Потерял — пусть ищет. Неудачник. Господи, какой неудачник. Нет денег. Не было и не будет. Вы посмотрите на него. Это она подругам. Те хихи-

кают, смотрят. Хихичат лупогазо. Таня продавщицей. В салоне «Красота». В парфюмерном. На Невском, 90. Помог Могильницкий. С устройством. Директор салона — Елена Александровна. Его знакомая. Страшна как чёрт. Молодая. Прыщавая. Самое место в «Красоте». Таня таскает духи. Как придут «Клема». Или «Фиджи». Французские. Купит, потом перепродает. Десятка-другая сверху. Таня живая. Крутится. Пях, пях, пях. У неё инстинкт. Рыщущий инстинкт выживания. Вы посмотрите на него. Ляпсус. Мой ляпсус лысеет. Чмок в темячко. Смеётся. Мой ляпсус толстеет. Щип за бок. То злится, то смеётся. И копится усталость. Изо дня в день. Как пыль. Копится. Оседает в тебе. Залежи усталости. Тридцать с небольшим. Всего-то. И устал. Здравствуй, Чехов. Возвратились мы не все. С работы прийти — лечь. Прийти — лечь. Книга. Колыбельная книга. Две страницы — и в сон. А зимой? Полгода зима. В одиннадцать светает, в пять темно. Зайдёт в салон. В выходной. Таня: посмотрите на него! Елена Александровна: о! поэт пожаловал! Ну-ка, поэт. Зайди в кабинет. Сбегай, моя душа. Суёт пакетик. Отнеси. Со двора. Сюда, в «Коньяки». Взамен дадут шампусика. Андрей Львович пошёл. Отказать не умеет. Опять же подработка. Ломать коробки. Из-под товаров. Час-другой. Сломал-связал. Потом сочинил. Записку в бутылке. В шутку. Елена Александровна была собой нехороша, нехороша. Елена Александровна пила. И говорила мне «моя душа». Я в парфюмерном офисе служил. Коробки я ломал из-под духов... Потомки, я духовной жизнью жил и сочинял лирических стихов... Это позже. Когда уж Елена Александровна померла. Её отчитали. На партийном собрании. Вышла — сердечный приступ. Прямо в «Пассаже». Бесследно. Как не было. А зачем было? Лопаются как шарики. На демонстрации. Лопс — и нет. Разлетаются шпарики. Одежда шкуркой в шкафу. Висит в остатке. Как не было. В шкафу. Мамины вещи. Откроешь — висят. Тихое пальто. Таня: я его выброшу. Андрей Львович молчит. Не ей решать. Тряпка тряпкой. Но выброшу сам. Когда время придёт. Подружки забегут, пошебечут. Пастух, значит, в Ирландии. Его заподозрили, что он *это*. С овцами. *Того-этого*. В отношения вступает. В сексуальные. Ха-ха-ха. Под суд попал. Андрей Львович: молодец среди овец. Ха-ха-ха. Отличное название. Где вычитывают? Смотрит: Таня. А вроде нет её. Никого. Шарик улетел.

Сергеич: твоя из-под Ижевска? Хорошая. Сразу видно. Вот как раз про них... Слушаешь? В газете пишут... Что? В газете, говорю. Да? Началось движение по асфальтобетонной трассе... Андрей Львович не слышит. Слушаешь? Да. По трассе. Асфальтобетонной. Она связала центральную усадьбу... Так... Удмуртского совхоза «Кигбаевский»... Кигбаевский? С Ижевском. Андрей Львович: невероятно. В нынешней пятилетке еще 39 центральных усадеб... Что? Колхозов и совхозов соединится... Так... Соединится трассами с районными центрами. И городами Удмуртии. Сер-

геич: нештучное дело затеяли... Сергеич читает: *«По нашей Брянской области проходит недавно построенная высоковольтная линия ЛЭП-750. В районе пересечения этой линии с авто-трассой Орел — Витебск я обнаружил большое количество брошенного алюминиевого кабеля различного диаметра в виде отдельных кусков. Здесь его несколько тонн. А сколько ценного материала валяется по всей линии? Ведь ЛЭП проходит не только по Брянской области. Полагаю, что следовало бы найти виновников этой бесхозяйственности и наказать их. А брошенный кабель, даже если это технологические отходы, собрать и пустить в дело»...* Андрей Львович спит. И видит Сергеича, который ходит по пустырю и бормочет: «Разбросали добро, сволочи...» Курносый, глазёнки маленькие, юркие.

Андрей Львович идёт на службу. В конструкторское бюро. В бюро «Вымпел». Ядовитые дымки над трубами. Нарвские ворота в ад. Проходная. Пропуск. Окошко. Коридоры. Лаборатории. Цеха. Страшный запах. Запах металла. Запах смерти с маслом. С машинным. С олифой. Начальник лаборатории. Наталенков. Нафталенков, скажи: мутота. Мутота. А вот ещё: Лиознянский. Старший научный сотрудник. Сотрудник! Со-ратник. Со-камерник. Со. Сосо. Со-веты. Совместное вето. На всё. Наложили совместные веты. На всё. Советский Союз. Сокращённо: сосо. А вот ещё: партком. Партийный комитет. Два трупa слов. Сидит гэбист. Шмат колбасы. Ливерной. Бесцветен. Нет, зеленоват. Видимо, глисты. Видимо-невидимо глистов. Мучают. Даже так: мучат. Коротко. Мучат глисты. Нет его. Сблуднул с лица. Исчез в самосмердении. В самоуничтожающем смердении исчез. Парит гниёныш. В бдени парит. Андрей Львович ненавидит. Ненависть убивает. Пробивает до сердца. Трещат переборки. Передние и задние стенки. Горят и рушатся. И рушатся горя.

Зажглось к вечеру. На работе. Дошёл до больницы. Она тут же, с Промышленной направо. Фонарики сверкают, примораживает. И уложили. Передышка. С напоминанем. Как человек живёт? Делая вид, что смерти нет. По-хамски. Значение смерти. Этическое. Она подмена Бога. Для атеистов. Надо продумать. Дарик. Дмитрий. Душистые люди. Благоуханные. С них как с гуся. Кругом беда. Несчастья. Не видят. Такие не видят. Упоены собой. Есть упоение собой. Дмитрий. Всклокоченный, кудатый. Ранней сединой продёрнут. Врывается. Тебе надо лечь. Немедленно. Ты хорошо выглядишь. Знаю, знаю. Хотя заметно подурнел. Знаю, знаю. Шутит. На всю больницу. Я просокотно. Пролётom. На таксовочке. Стоит внизу. Лечу. Куда? Один клиент ждёт. Оценить картину. Малевич. Вроде. Малевич? Кто такой? Темнота! Темнота непролазная. Неуч безвыходный. Художник он. Который «квадрат»? Квадрат. Ага. Между прочим. Читаю Толстого.

Дневники. Арзамасский ужас. Когда он в «нумерке». В «нумерке» очутился. Пишет, что мучительно ему. Мучительно было. Комнатка попала квадратная. Именно квадратная. Пишет: «ужас красный, белый, квадратный». И что же? Это Малевич. Малевич проиллюстрировал ужас Толстого. Арзамасский. Хочу статью вчинить. Кому? Человечеству. М-м-м. Всё, лечу. Ты знаешь, с кем? Не поверишь. С Ольгой. С Ольгой? Александровной. С учителькой из Студии. По сцендвижению. Помнишь? Андрей: да? Не удивлён. Она ждёт. В машине. Выздоровливай. Шарик улетел. С Ольгой Александровной.

Как не помнить. Грехопадения своего. Андрей Львович грехопал. Едва женился — и грехопал.

Она пригласила. Домой. Откровенно. Муж уехал. В Африку. Прямо в Африку? Экзотично. Это обостряло. Но и страшно. Измена! Только женился. Шёл — дрожал. День ноябрьский. Как сегодня. Морось серебристая. У неё невозмутимый вид. Никогда бы не подумал. Не заподозрил. Разврата. Разврата в ней. Планомерного. Она старше. Лет на десять. Бывалая. По сцендвижению. Мальчики пред ней. Раздетые кувыркаются. Лицо как слепое. В усилки она. В невыдавании себя. Но всегда полыхает. Внутри. Хотение её разбирает. Пришёл. Типа мастерской. Маски висят. Африканские. Муж художник. Она по-деловому. Без лирики. Говорит: надо предостеречься. Хорошо. Ящик в тумбочке хлоп-хлоп. Принесла это. Предостерегатор. Села верхом. Раз, два, раз, два. Тут и сказке конец. Безрадостный. Среди масок. Одна хохочет. Напротив висит — и хохочет.

Андрей Львович прилёт. Он выживет. Стихи спасут. Неужели не светит? Глебов говорил: нет. Глебов громоздкий. В пиджаке. С брюшком. Пальцы скобой делаал. Указательный и большой — скобой. Очки поправлял. Говорил: не светит. Не будут их печатать. Ночь на дворе. Глебов пригласил. После конференции. Когда? Лет десять назад. В своё лито. Пришёл. Читают. По кругу. Сначала классиков. Пушкин. Баратынский. Тютчев. Всех голосов переключка. «Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот — это я?» Споры. Поэзия. Путь к личной святости. Вот так. Не меньше. Что есть святость? Смирение. Не задирай носа. Никаких величаний. Глебов учит. Никакого «я, я, я». Гудит. Никаких скидываний с кораблей. А новаторство? А бунтарство? Нет. Традиция. Только традиция. Бунт — это *против*. Против традиции. Бунт бессмыслен. Против чего бунт? Против того, что его обеспечивает? Обеспечивает его существование? Смешно. Смешно? Не так всё просто. Жизнь — чудо. Как выразить чудо? Чудесным образом. Верно? Верно. Откуда же у смиренного чудесные средства? Если он использует готовый язык? Глебов эдак пышно: кто сказал? Кто сказал, что подлинный путь прост? Что он не большой и не долгий? И никаких гарантий! Вероятность поражения велика! Да. Вероятность неизвестности. Непризнания. Больше, чем вероят-

ность победы. Славы. Да. Поправляет очки. Всё на нём большое. Громоздкое. Очки. Пиджак. Но есть внутренняя победа. Она гарантирована. Долгий путь. Путь самопознания. Бунтарь — что? Всё перевернул. С ног на голову. И дело с концом. Выполнил требования времени. Идиотские они. Зачастую. Как правило. Не выполнять! Не выполнять требования времени! Слушать себя. Себе верить. Смирение! А если усохнешь? В смирении своём? Усохнешь в традиции? Не дойдя до себя? Не обновив её? Что тогда? Ничего. Лучше, чем бунт. Бессмысленный и беспощадный. Не тонуть в бессмыслице! Нет. Увидеть! Понять! Слово сопротивляется ей. Со-про-тив-ля-ет-ся. Бессмыслица слову противопоказана. Про-ти-во-по-ка-за-на. А Хлебников? Юродство. Кто-то: но волшебное юродство! Глебов: мы смысловики. Андрей Львович думает: умён. Андрей Львович его уважает. Потом своё читают. По кругу. Глебов замечания. Вы, говорит, не сутультесь. В стихах. Вы, говорит, и в жизни сутулитесь. И в стихах. Вы распрямитесь. Жизнь — чудо. Андрею Львовичу стыдно. Он больше сюда не придёт. Позор. Он выходит на улицу. Черно. Снег талый. Мама тоже говорила: не сутулься. Не сутулься, сынок. Распрямись. Будь на «товсь», говорила мама. На «говсь»! Мама. Мама говорила: увы и ах. Увы и ах. Он больше сюда не придёт. И не пришёл. Десять лет минуло. Не пришёл.

Великий поэт Андрей Львович? К вам можно? Нодар с апельсинами. С зачехлённой гитарой... Дарик. А где сосед? Выписали Кабанова. Ну и чудно. Пальто скинул. Сел на койку. Румяный. Сияющий. Полнеющий. Избыточный. Я тебе напою. Дуэт Медеи и Ясона. Тему. Ты текст пиши. К весне запустимся. С картиной. Ешь апельсин. Ешь, ешь. Расчехляет гитару. Как самочувствуешь? Как сердце? Тут спор. До драки. Он входит. Ясон. Кривоногий. Похотливый. Она: я тебя спасла. От быков. От дракона. От Пелия. А ты? Дерьмо твои клятвы. Кобель грязный. Что мне делать? О боги! Дарик берёт два-три аккорда. Стучит по гитаре. Медсестра: потише вы. Радость моя, зайдите. Как вас зовут? Вот и хорошо. Присаживайтесь. Вы знаете, кто ваш пациент? Великий русский поэт. Медсестра отзывчиво улыбается. Клаюёт ласково. Краснеет. Андрей поясняет: он пробивает мюзикл. Второй год. На Ленфильме. Дарик: никуда не денусь. Мы их возьмём. Приступом. Апельсин. Не откажите в любезности. Вот и хорошо. Вот и чудно. Ей нравится. Андрей Львович смущён. Ты спой. Дарик: конечно. Медея воет: куда мне идти? Воет. А-а-а-а. О Зевс! Агуи! Поддец! Я тебя спасла! Тут вступает Ясон. Не ты! Не ты меня спасла. Твоя любовь! Любовь движет созвездьями. Тем более тобой. Мы квиты. Кто тебя выгнати из грязи? Прозябала бы там. В Колхиде дикой. Ты в Греции. Дарик стучит по гитаре. Ритм. Медсестра застыла. Замерла замороженно. Дарик: я ради детей! Мой брак — ради наших детей. Медея: нет! Воет. Не хоч такой ценой! Нет счастья такой ценой. Будь про-

клят. А-а-а-а! Такой дуэт. А затем — хор. Но сейчас нужен дуэт. Андрей Львович: будет. Будет дуэт. Дай выпишусь. Даю. Мы можем его выписать? Когда? Сегодня. Сегодня нет. Тогда я остаюсь. Я могу переночевать здесь? Где? В палате. Медсестра улыбается. Радость моя. Я остаюсь. Медсестра: ой! У меня обход. Выходит. Дарик вынимает бутылку. По граммულке.

Сегодня выписывают. Андрей Львович сидит. На кровати. Он один. Радио. Он думает: дочь. Если бы не дочь... Пошёл бы домой? Не очень. По радио: *ноябрьский номер журнала «Новый мир» открывается «Воспоминаниями» Леонида Ильича Брежнева. Двое встречаются. Любовь? Не только. Ещё нашествие. Исподволь. С последующим опустошением. С вы-по-тро-ше-ни-ем. До изнанки. А кто знает, что с изнанки. Что там окажется. Кто из чего сделан. Никто не знает. Рассказ о прошлом в главе «Жизнь по заводскому гудку» органично переплетается с раздумьем о высоком историческом призвании рабочего класса...*

Вот Таня. Откуда это? Это воодушевление. Интерес к ничему. Этот ноль точки кипения. Равнодушный интерес. Вдруг чужая. Не отталкивающе чужая. Нет. Как прохожий. Идёт мимо. Сидит мимо. Стоит мимо. Говорит мимо. *Контрреволюционные элементы предприняли провокационную вылазку против жителей одного из микрорайонов афганской столицы. В ночь с 14 на 15 ноября...* Сегодня 16-е. Андрей Львович выходит на проспект Стачек. Пахнет землёй. Тянет оттуда. Из-за универмага. Со стадиона. Талой землёй. На Дворце культуры им. Горького три огромных портрета. Морщит под ветром. Легко. Тяжело. Тревожно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Обойдётся.

Июнь

После очередного обхода фонарей и долгой обратной дороги я захожу в кафе рядом с моим домом. Хотел что-то «взять на заметку», но забыл что. Вот сию секунду хотел и сию же секунду забыл. Иногда является мысль, а записать нечем. Я знаю, как поступать в таких случаях: не пытаться её удержать, но помнить только, что она есть. Я стараюсь не стараться её воспроизвести. Я знаю, что иначе непременно забуду. Именно это и произошло. Ничего страшного. Если она решит, что никто лучше меня её не запишет, что это она забыла меня и что я такого жестокого забвения не заслуживаю, — вернётся.

Старик, худющий и высокий, на выходе. Кого-то ждёт. Подходит к часам с маятником, шкафчик такой застеклённый... Засматривается. Как работают? Изучает. В упор. Потом — сбоку. Минуту изучает пристально и — так же, как заинтересовался — вдруг теряет интерес. Как не было. Возможно, понял, как устрое-

но время. Только здесь, в этом кафе, я понимаю, насколько я не молод. Сюда заглядывают в основном мои ровесники, а то и люди постарше, и я как бы вижу себя со стороны: кто прихрамывает, кто кривоват, и эта белая с примесью синьки кожа, и острожная походка. Падать уже нельзя, костей не соберешь. Эти беззубые или полубеззубые рты... Здесь не дорого, потому публика не блестящая.

Я выпиваю свою водку и начинаю что-нибудь зарисовывать в блокнот. В ожидании тихой мимолётной мысли. Я рисую рояль, стоящий в углу. Я рисую своё ощущение колёсиков у рояля. Он ведь на колёсиках. Каково роялю? Каково колёсикам? Это надо проницательно понять.

Куда подевалась мысль? Что она такое? Философ думает о том, как он думает о том, как он думает... Смертельная тоска белки в колесе. Между прочим, Ницше однажды, после возлияния с приятелем, причудилось, что он катится в огромном колесе... Философ забалтывает жизнь, заговаривает, — как бы не раздавила... Гениальная находка: чтобы колесо не переехало, поместить себя внутрь. Смертельная тоска предпочтительней тоскливой смерти. Вы не согласны? Как угодно... При этом любой глубокий философ меня убеждает. И переубеждает, если он противостоит предыдущему. Но не любой поэт. Наверное, это означает, что философия мне неподвластна. Или я ей.

И тут я вспомнил. Проезжая по Стаечному, я увидел азиата, может быть, туркмена-гастарбайтера, он сидел на корточках возле аптеки и курил. Глубоко так сидел, не как европеец, задница почти на земле. И целый веер мыслеобразов в единый миг распустился и сложился, не дожидаясь осмысления. Сначала мелькнула строка: «Пробочка над крепким иодом!» — и давнее моё соображение, что важно именно авторское, старое написание «йода», с десятиричным «и». Потому что точка и есть «пробочка». Это было первое показание неоспоримой поэтической правоты, выданное с аптечной точностью, а второе, хотя длилось несколько секунд, захватило продолжительную картину минувшего.

В пору своей учёбы на физическом факультете Педагогического я ездил со строительным отрядом в Казахстан и там впервые увидел вот эти глубокие «корточки» — один из местных заходил к нам на огонёк, когда спадала жара, и сидел точно так же, с сигаркой. Вкусно сидел и вкусно курил. Был он беззубый старик, совершенно высушенный, продубленный на беспощадном казахстанском солёном, почти чернокожий. Притом он был не азиат, а русский, но за многие годы впитал словарь, акцент и привычки аборигенов. В пятидесятые, после окончания срока в дальневосточном лагере, его поселили здесь, под Мангышлаком, и о своём

времяпровождении он говорил кратко: «Босякую». Так мы его и звали — Босяком. Мне нравилось вести с ним лирические беседы, из которых я узнал, что большую часть своей рабочей жизни он был нормировщиком, хотя по образованию филолог... Странные стихи я тогда любил — на дворе стояла бардовская песня и хватала проходящих мимо за душу. Мимо — и за душу. От Босяка я услышал это странное имя — Мандельштам, которое было коряво-созвучно Мангышлаку. Имя это для меня ничего не значило, но стихотворение, которое старик прочитал, я запомнил. Запомнил и записал.

Событие великолепной жизни
здесь и сегодня так громадно,
что в воздухе висят флажками призмы
домов и зелень скошенная ароматна,

в ветвях уже закат рыжееет,
а проявление коры так крупно,
что то, что любишь, в корне хорошеет,
нельзя не жить и быть собой не трудно.

Сейчас тоже июнь, и жара, и вечерний запах скошенной травы, и вот это удвоение реальности: вспомненные строки с их неопровержимо-ясной рельефностью.

Жизнь превратилась в записную книжку. В то, чем она всегда была, но не признавала, претендуя на сюжет. Если сказать в духе ложно-выразительной прозы, то в юности жизнь вроде перекидного календаря — вперёд пролистнула, отбросил назад — ничего не меняется. Но в старости мы имеем дело с календарём *отрывным*. И записи становятся отрывочными... Я иду от фонаря до фонаря. Сажусь на скамейку, записываю, дальше иду. Сядь на пенёк, съешь пирожок... Не жизнь — сказка. Жизнь стала отрывочной радостью. Настолько, что стенографировать не обязательно. Не потому что несущественно, а наоборот: не стоит отвлекаться. В Питере, кроме Леонида, живёт ещё один мой друг, с которым я переписываюсь, Алёша. На днях, в продолжение и в тему нашего давнего диалога, он прислал цитату из письма Витгенштейна издателью: «Моя работа состоит из двух частей: той, что представлена здесь, плюс всё то, что я не написал. И именно эта вторая часть является наиболее важной». Подходящий текст. Сегодня, когда я шел от «Махорина» к «Шелест» (это имена двух фонарей — около первого обычно курят работники соседней парикмахерской, а от Пети Махорина всегда несло одеколоном и табаком, около второго я когда-то встретил сумасшедшую, которая пролетела мимо с гневным монологом — именно это случилось с моей выпускницей Мариной Шелест, — с таким же безумным рокотом она шла мне навстречу в другом месте и в другое

время, когда я еще не знал, сколь типичны эти семенящие проходы несчастных женщин), — сегодня я наткнулся на двух мальчиков-близнецов, и знаете что... Как если бы я сейчас увидел увидел близнецов близнецов... Я просто похолодел. Вот *такое* удвоение природой не предусмотрено. Здесь было столь явное нарушение установленных правил, что от этой наглости я мгновенно устал и зашел в булочную передохнуть за чашкой кофе. Не тут-то было. Напротив сидела молодая пара, и он всё время работал зубочисткой: ковырнёт — и смотрит, что наковырял, — тихий ужас. Перекинется словом с подругой — и опять за своё. Замечательно всё-таки, что в записи, если она точна, наблюдаемые неприятности становятся той самой отрывочной радостью.

Перед сном я совершаю ритуальное погружение в прошлое. Я люблю засыпать, люблю растворение в родной стихии, утрату всего личностного и случайного и обретение безусловного. Станным мне это давно не кажется. Как в стихотворении, в котором заново открывается закон тяготения (в виде взаимного притяжения слов), во сне развязываются все узлы и разрешаются все головоломки. С законом тяготения не поспоришь. Он есть до того как есть. Он есть до толкования. А толкование может лишь затемнить неопровержимо ясное высказывание, которое упало — и найдено. «Звук осторожный и глухой/ плода, сорвавшегося с древа...» Только в данном случае упало не на голову учёного, а на голову поэта. Там и дальше интересно — «среди немолчного напева/ глубокой тишины...» Вы слышали напев глубокой тишины? Это родственно сну.

Июньский двор, когда меня почему-то не вывозили на дачу, бывал до помрачения пуст. Я слонялся, заглядывал исподволь в окна друзей, но никто в них не маячил, кроме бабушек у кухонных плит, да и те плавали в тёмной глубине, на заднем плане. Ни игра в песочнице в «подзрывалки» (которые произносились без «в», искажая свое происхождение от «взрыва»), когда закопанные щепки выдёргивались за верёвку на песочной дороге или под мостом и игрушечная машинка взлетала на воздух, ни игра в «ножички», когда в очерченном круту земля соперника (или твоя) отрезалась перочинным ножиком, который лакомо шуршал в песке, кусок за куском, пока он (ты) ещё мог уместиться на ней, стоя по-цапельному поджав ногу, на одной ступне, — ни одна игра не обещала занять меня и управиться с маятой, — во дворе было пусто. Тогда я шёл домой, проходя через холодно-каменный и тёмный тамбур парадной, и слонялся по комнатам.

Абсолютная человеческая неприменимость принадлежала, вероятно, мне, но адрес указан не был, потому что я не умел читать столь сложные вещи, а раз так — то и висела она где-то на задворках моего будущего разума. Босьяк, когда я распра-

шивал его о детстве (меня всегда интересовали ранние впечатления взрослых), говорил так: «Мир детства складывается из комплектующего зрения. Там нет мысли. Там есть побочное зудение недорождённости. Зато всё нарождающееся происходит на глазах и — в резко запечатлительном режиме». Забавно он говорил.

И дальше, в том смысле, что у зрения нет предпочтений, что именно так, без предпочтений, сам собой оформляется миф, в котором все равны и всё равно. А возникновение мысли — это дребезжание и налаживание технологии предпочтений. На этом кончается детство и начинается романное воспроизводство самопознания. Вещи приобретают этическую окраску, теряют чёткие контуры, сплавляются и становятся лаокооновой путаницей, борясь за личную, навеки потерянную отчётливость.

Но вот что странно: в определённый момент, в ту, ещё мифическую пору, на горизонте появилась девочка, которая в меня вмерещилась. Это значит, что впоследствии я встречал её подобье множество раз, а иногда казалось, что это она и есть... Как такое вообще бывает? Откуда берётся этот *первый* раз? Почему среди всех живых существ взгляд (сердце) останавливает и обжигает именно *это* существо? И разве это согласуется с тем, что у зрения нет предпочтений?

Я увидел её в песочнице, когда-то, не знаю, в каком возрасте, — увидел и всё. Ни словом с ней не перемолвился, ни имени её, ни голоса никогда не слышал. Она появилась — и исчезла, и всё, что я могу сказать: глаза. Несомненно, глаза, дело только в них. Я с грустью вижу всю банальность и невыразительность своего заключения и, устраивая поспешный побег из него, нахожу более острое и не столь поверхностное слово: хрусталик.

Но это лишь слово... Если бы я был Богом и сотворил человека, человека в целом, не ведая, что творю, и он по сотворении открыл глаза, то я бы изумился этой материи взгляда, я изумился бы тому, что создал, и, возможно, испугался и навсегда исчез бы из его поля зрения. Я бы решил, что не хочу так уж буквально отражаться в нём, — в своём образе и подобии. Как Бог я решил бы, что лучше *внушать* страх, чем его испытывать.

Но и это только слова... Почему человек просыпается? Потому что его сон кончился. Там, где я бродил в своей неприменимости, я переключивался из сна в сон, пока он счастливым образом не иссяк. Но в старости или в смертельной болезни эта дурная бесконечность разыгрывается совсем по-другому, и хотя там тоже томление, но оно существует в другом своём значении, в значении «умирания». Бывает ужас во сне, из которого ты очухиваешься, а он по-прежнему с тобой, пока не сбрасываешь его вторично, и

снова, и снова... — пока не обнаруживаешь, что это всё-таки был сон. Здоровый сон здорового человека. Но вот — смертельная болезнь, — и сколько раз ни просыпайся, проснёшься в ужас.

Снится, что умер отец, мы с мамой в комнате, он лежит — сию секунду умер. Я заплакала. Мать легла рядом с ним, тоже плачет. Потом я проснулся и заснул снова. Иду по городу — совершенно пустому — домой. Знаю, что умер отец и что надо скорей добраться, но никак не могу дойти. Иду в халате на голое тело, я, почти старик, который наяву ходит по своему дому в этом халате, и одновременно — во сне — ещё молодой, в том возрасте, когда умер отец, и халат путается в ногах, как бы вдвойне путается, мешает, в каком-то дворе я его снимаю, оставшись голым, и пытаюсь надеть снова, — иду и плачу, — не дойти. Город не цветущий, а вымерший, так бывает в отвратительные, холодные и солнечные, летние дни. Просыпаюсь в ярости. Иду в ванную — отключили воду, без предупреждения... День погиб.

Я начал этот рассказ вчера вечером в кафе «На закате» и продолжаю сегодня на рассвете. Но прежде я должен спасти день... Иногда вещь стареет не от износа, а от долгого присутствия в жизни. Вот я дорожу ею, и неожиданно, по прошествии скольких-то лет, появляется возможность, которой не было всё это время: возможность с ней расстаться. Мы друг другу надоели... Я ухожу гулять и по дороге выбрасываю свой ненаглядный халат, я только что доносил его во сне.

С прогулок я всегда возвращаюсь с уловом. Человеческая комедия разыгрывается на каждом углу, только замечай и записывай. Сначала я стою на нашей Канашенской у газетного стенда и что-нибудь читаю. «Всю жизнь мне хотелось остаться наедине с собой» — и фотография немолодой красивой женщины. Это Катрин Денёв. Всю жизнь провела с героями-любовниками, которые её боготворили, а хотела, оказывается, одиночества... Футбольный тренер озабочен совсем другим: как следует из интервью, его волнует бедро нападающего Шишова... Но как пишут футбольные комментаторы! «На тренировке динамовский голеедор почувствовал боль и был отправлен в руки эскулапов». Можно рехнуться... Потом я сворачиваю на Сельскую и захожу в новый супермаркет. Тут — окончательное раздолье: в ассортименте колбасного отдела хлеб мясной «Пицца», купаты «Фэн Шуй» в синюге и блинчики с сердцем. В соседнем отделе я люблюсь банкой чёрной икры, да и как не залюбоваться, если на ней написано «Икра получена прижизненным способом»... А завершает сегодняшнюю прогулку надпись на фасаде церкви, что на углу Сельской и Пригородской, — «И хули?»

Подниматься на свой пятый этаж стало не так уж просто, особенно жарким летом. Из-за стены доносится низкий голос

Людмила Петровна, жизнелюбивая соседка поёт: «Товарищ, мы едем далё-о-ко...» Я бормочу вслед: «Мы едем, поздно, меркнет день...», — и осторожно, чтобы не потревожить хлопком её пение, прикрываю дверь. В квартире тихо и прохладно. Окна выходят на запад, солнце вкатывается поздно. Я смотрю вниз, на небольшой сквер, которому весь день никак не удастся вдохнуть полной грудью, хилый, мертворождённый, точно попадающий в само слово — «сквер». Но к вечеру он оживает. Появляется пара-другая шахматистов с часами да бабушки или мамы с детишками.

Дядька, с которым меня частенько оставляли на даче, был «выпивоха». Так говорила мать. Но выпивал он легко, опасности не представлял и заботился обо мне сверх меры. Папа над ним посмеивался и называл «в ж... раненый». В ту пору я не знал, насколько отец буквален: война закончилась для его шурина быстро, счастливо и издевательски. А закончилась, потому что попала добрая женщина-врач, которая пожалела и комиссовала 18-летнего мальчика. Папина кличка имела в виду не только его позорное ранение, но и повышенную оживлённость. Дядька страстно хотел нравиться окружающим, и на производство обаяния уходили все силы его души. Он устраивал детские праздники — «там будет бал, там детский праздник» — верёвочка меж двух деревьев с подвешенными призами, которые дети вслепую срезали, — он пел, подыгрывая себе на гитаре, романсы и не только, в зависимости от того, кто из дачников заходил к нам на веранду, на ночь глядя он рассказывал мне страшные истории и представлял их в лицах — за кем-то гнался, в кого-то стрелял, кто-то его убивал, и он, вскрикнув и схватясь за сердце, падал на пол... Короче говоря, меня опекал тип весьма опереточный...

День сборов и переезда на дачу бывал суматошным и тяжёлым. Мне предстояло расставание с родителями, — отец нас отвозил на своей «Победе», мать сопровождала, я с дядькой на заднем сиденье, обложенные корзинами, пакетами и подушками. Долго-долго мы ехали по шоссе, под промельк высоковольтных линий и километровых столбов, а в конце пути — просёлочной дорогой, сквозь сосновый лес, где в низинах попадались берёзы и ели, но в основном всё-таки сквозь ярусы осен, потом, дальше, по холму, который на южной стороне спускался к озеру слоями песка и гальки, и вскоре, с мягким шорохом, подкатывали к даче. Где-то в округе, когда мы наезжали сюда поздней осенью, ползали с бидонами собиратели брусники, но это случалось в выходные, никаких расставаний... На обратном пути, уже в темноте, меня блаженно укачивало, а мать с дядькой пели на два голоса.

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день,

И сосен, по дороге, тени
 Уже в одну слились тень.
 Черней и чаще бор глубокий —
 Какие грустные места!
 Ночь хмурая, как зверь стокий,
 Глядит из каждого куста!

Моё кафе — с противоположной стороны сквера, на втором этаже небольшого застеклённого торгового центра. Субботним вечером я на привычном месте. Мать и дядька, которых давно нет в живых, никогда не узнали о том, что в 1830-м году, в июне, Тютчев проезжал той же дорогой и вглядывался в «бор глубокий», а через несколько месяцев, по пути в Мюнхен, написал эти стихи. Я и сам проведал об этом недавно, читая том «Литературного наследства». Удивительно. Да и разве знали мои родные, *чи* стихи пели? Вряд ли. Я в детстве никогда не слышал чуткого имени «Тютчев», в котором словно бы идут часы.

Зато в моём кафе часы остановились. «Стоп машина», — сказал Пушкин... Бывает, что и у человека кончается завод. В прошлом сюда заходила бурная пьющая девушка Юля. Извилистая, с тазобедренной походкой. Я видел её с разными мужчинами, всегда громкую, на взводе, без каких-либо нюансов, мгновенно переходящую от смеха к слезам и обратно и неизменно влюблённую в своих спутников без памяти (вероятно, поэтому у неё не оставалось о них никаких воспоминаний)... Она представляла друзей, не скупясь на восторги. Пусть их таланты, по разумению Юли, говорили прежде всего о её достоинствах, я с удовольствием прислушивался к хмельным трепыханиям. Она была похожа одновременно на светофор, где чередовались цвета пошлости, наивности и тщеславия, и на сумасшедшего ловца такси, выбегающего на дорогу, какой бы свет ни горел. Суть, между тем, состояла в том, что она воистину любила то мгновение, в которое кого-то или что-то любила, и потому на неё заглядывались все «прохожие» без исключения... Но однажды кудахчущая курица превратилась в курицу выпотрошенную и стала спокойной замужней тётёй. Стоп машина. Любопытство к жизни, которую воплощали для неё мужчины, иссякло. Но и сейчас, глядя на её, увы, пустующий столик около рояля, я слышу обрывки разговоров.

«Почувствуй своё пушистое тело (с театрально-вкрадчивым смехом в телефон)... и как ветер шелестит в твоей гриве (смех)... я слышу, как ты облизываешь губы (смех)...»

«Ну ма-а-ам, я же сказала, переведут деньги, тогда отда-а-ам...» (в телефон).

«Котёнок, котик такой, я была у подруги на даче, котика забирала...» — врёт в ответ на вопрос «куда пропала?» и умилённо добавляет для достоверности: «Котик такой чёрненький, Васька, с белым пятнышком...»

А это уже возлюбленный (в телефон): «Пусть они на меня выйдут...»

Пусть все друг на друга выйдут. Но — с мобильниками, чтобы раз и навсегда исключить возможность спокойной и ясной беседы. Современные технологии откровенно и холодно извещают: наше пребывание на земле — чистая условность. Поиграли — и разошлись. «Юля, за тобой мама пришла!». Этой присловицей, помню, в моей юности дворовые наркоманы окликали друг друга и дико хохотали... У Юли был талант художника, она прекрасно рисовала, но при недавней встрече сообщила, что всё, всё, всё, больше графикой не балуется. На вопрос «почему?» ответила просто и хорошо: «Талант кончился». Что ж, талант — одно из самых заурядных свойств человека. Стоит ли так гордиться своей заурядностью?

Но как может иссякнуть удивление жизнью? Я смотрю в окно кафе, вижу эти кривобокие призмы домов, балконы с бельевыми верёвками и хозяйственным хламом, всё это уходящее вдаль небогатое и не одарённое особым вниманием людей устройство под названием «город», с бережно-ровной синевой над ним, и если нет восторга, то есть тоска, и она не худшая разновидность удивления. Тоска сродни жалости.

Чувство — вроде туннеля, в который всматриваешься только затем, чтобы увидеть свет, а свет начинается там, где туннель кончается. Чувство — инструмент пути, но если признать его неким достижением, то тогда, как в глупых анекдотах о влетевших в туннель соседях по купе, пародийно-похабные события тут как тут. Чувство — инструмент истребления чувства.

Совершенно не к месту я вспоминаю южные причерноморские туннели, когда купе захлёстывает грохочущая с проблесками темнота, и выезд в ласковое объятие света с отбеганием грохота в ровное постукиванье, секундное ослепление и возвращение волнисто бегущего пейзажа... Не к месту, потому что разрушается метафора. Ну и чёрт с ней. Детство не знает метафор, оно само — метафора, и если вы живёте на севере, то оно великое северное сияние, а уж взрослый устраивает из этого «размышление о Божием Величестве». Хотите быть непонятым — попробуйте объяснить ребёнку, что такое талант.

Талант — дело прикладное. Он тоже инструмент, но инструмент не предвещающий суть, а следующий за ней по пятам — инструмент оформления. Если, конечно, вы художник и хотите непременно запечатлеть своё открытие. Но талант не только дело прикладное, но и *недостаточное*. Он не ровня открытию, он не одновременен ему и вдохновляется узнаваемым разложением необъяснимого события, именуемого жизнью. Пусть пропадает, не жаль.

А как же великие стихи? — А никак. Они пишутся пониманием, не талантом. Без попытки представить себе понятное. Ясно? — Не очень. — Ну, думай пока.

Второй раз я ездил в Казахстан на летнюю шабашку, уже закончив институт и работая в школе. Я только что познакомился с Марией, но отменять поездку было поздно. Находясь в разлуке, мы часто — в письмах или по телефону — произносим ничего не значащее «думаю о тебе». Думанье предполагает мысли, но мыслей нет. Есть некоторая светоносная опора, состоящая из черт любимого, из одобрительного излучения его взгляда, — есть что-то, чего не было до сих пор: на тебя обращено внимание того, кто был отмечен твоим вниманием, и дитя этой встречи — воодушевление. Станным образом всё начинает жить в отчётливой согласии с тобой. Казахская земля виделась в предельной выразительности выжженного жеста, а восход или закат поражали ясностью своей небесной работы, без полутонов, не заслоняясь ни облачком. Потом, когда я вернулся и мы с Марией полгода почти не выходили из съёмной однокомнатной квартиры на Кондратьевском, мне нравилось смотреть, как она спит, — совершенно сливаясь со сном и напоминая сквозной прозрачностью утренний штиль Каспия — без малейшей ряби, или барханы, белые-белые, по которым иногда прокатывается, подобно сну, легчайшее перекати-поле. Сейчас я вспоминаю эти слова: рихтовка, шпалоподбойка, фаланга, скорпион, каракурт, джейран, вспоминаю, как местный работяга говорил «Припека-ат!» — жара стояла сумасшедшая, нам подвозили к «железке» цистерны с водой, мы, рыча, как животные, утоляли жажду и возвращались к подбойкам, а в редкие выходные отъезжали от лагеря, чтобы поглазеть на скальные останцы с удивительно нежным слоистым разноцветьем. Вот именно тогда, после изнурительного рабочего дня, приняв ледяной душ (горячей воды не было) и рухнув в койку, я начинал сочинять первые стихи, а точнее — они начали сочинять меня, стихи, которых сейчас не помню, но суть их была в ощущении цельности, в том, что раствор мира схватился, в соединённости всего со всем, — стакан молока, подносимого к губам, с лазуритом неба, — в переживании мира как замысла, в обоснованности без обоснования, — и даже мимоходом увиденная дикая картина: вцепившаяся друг в друга казахская семья: жена в волосы пьяного мужа, дочь в пьяную мать, и всё это кренилось в проёме какого-то сарая, — смотрелась как фреска, — суть возникла поверх влюблённости, но вела к ней влюблённость в Марию, чувство было тем самым проводником большего, а физическая, рабская усталость каким-то чудом давала право говорения. Может быть, потому, что во всём организме живым оставался только голос.

Поэтическому голосу не требуется логический ход мысли. Стихотворение — это «озеро, стоящее отвесно». Строка Мандельштама хороший пример ещё и потому, что она совсем не о стихах, но — как это бывает у него — заодно и о них, она атом, дающий одномоментный срез вселенной. В обход логики, в метафорическом отрыве, такие строки просверливают сразу во всех направлениях.

Согласен, «понимание» — неудачное слово, просто мания какого-то пони. — А озарение? — Ну, знаешь ли, это уже озверение. — Тогда ищи сам. — Я хочу сказать, что открывается внешне знание, и поэтому оно — сокращённо говоря — внешне. — Что это значит? — Это значит, что оно не сумма твоих предыдущих знаний. — Ты хочешь сказать, что поэзия не ищет, но сразу *находит*. — Да, никакого искательства, особенно богоискательства. Выпадаешь в открытое окно истины, а значит выпадаешь вверх, — и всё. — Пальцем в небо? — Да. Первая строка — это безошибочная обмолвка. Сказал не то, что хотел, а что через тебя сказало. А дальше — держи обмолвку в непогрешимости на всей дистанции стихотворения. — Как же удержат состояние обмолвки в безошибочности? — Не отдавать себе отчёта, что обмолвился, и не пускаться в рассуждения. Логические костыли всегда наготове, чтобы укловлять тебя в дурную бесконечность. Поэтому их нет. — Но они есть. — Не смотреть в их сторону! — Наверное, поэтому в хокку и танка три-пять шагов, не больше? — Наверное. Но есть ещё и традиция, которая не может быть заёмной. Традиция не в поверхностном следовании русскому стиху, а в том, как русский язык образует твой состав. Представь себе, что уже образовал, что состав тронулся, и он длиной не в пять шагов, а в двенадцать вагонов. — Мне нравится этот глагол — «тронулся». — На нём и прервёмся.

Фонарь №12, непременно гаснущий раз в месяц, этот нежилец беспросветный носит двойную фамилию: Первый-Второй. Первый не был моим учеником, он был соучеником, сидел в третьей колонке на предпоследней парте и сразу после окончания школы умер от рака. Смерть ничем не замечательного да ещё такого юного человека бьёт в упор и высекает из тебя топорный, но оттого не менее горестный вопрос: зачем? Он был пухлый, некрасивый, прыщеватый и ни в чём не одарённый подросток. Сальные шуточки, доносящиеся с задних парт... Ну, обычное дело. В школьной столовой, прогретой пыльным и неуютным солнцем, подходя к столу со своим коржиком и киселем, он прозносил всегда одну и ту же фразу: «Приятнейшего аппетита», — ему казалось, что это остроумно. И всё. Второй, тоже умерший рано, но доживший лет до сорока пяти, всегда напоминал мне Первого, поэтому в памяти их фамилии сцепились. Он не был ни

соучеником, ни учеником, возник на казахстанской шабашке и, объявившись в нашей временной квартире на Кондратьевском, на сабантуе, напился и стал липнуть к Марии, асимптотически к ней приближаясь. Кончилось тем, что мой кулак, метящий в его морду, попал в стену, к счастью, халтурную, а наглеца увели. Беда состояла в том, что он всерьёз увлёкся и впоследствии то и дело являлся с повинной головой и глазами человека, примирившегося с судьбой, хотя праведность его была поддельна. Тогда ещё молодой, но уже лысеющий, он страдал от своей нескладности, сидел на кухне, только что не говоря «приятнейшего аппетита», потел, и всё получалось как-то неловко, потому что он пытался острить, но остроты подавались под невкусным, ехидным и пошловатым соусом, скрипучим голосом, словно бы с задней парты, и Мария однажды надела на его круглую голову шляпу — он ходил в неожиданной для его заурядного облика чёрной шляпе с широкими полями — пришмякнула её и выставила Второго за дверь. Конечно, он был плачевный соперник, — я понял это особенно проникновенно, когда Мария под предлогом смертельной обиды ушла от меня... вроде бы никуда, а на самом деле — к человеку, который давно и опасно маячил на горизонте и которому не соперник был уже я. На первый-второй рассчитайсь...

О халтурных стенах «московского злого жилья» я узнал от Марии. У неё были стихи Мандельштама, отпечатанные на папиросной бумаге, не первая, затёртая копия, некое синеватое привидение, но всё-таки более вещественное, чем мимолётный звук его имени в мангышлакской степи. «Как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня...» Она рассказывала, как в детстве на даче простудилась, как ближе к ночи температура подскочила до сорока, как бабушка подняла переполох, и сосед, у которого была лошадь, повёз её в районный центр, в больницу, как жена соседа, молочница Груша, сидела рядом в телеге и держала Марию за руку, а через много лет она узнала то, что бессловесно знала с давних пор — что бывает вот этот «нежный лёд руки чужой».

Июньский вечер. Иду мимо своих фонарей-«учеников». То и дело попадаются гогочущие старшеклассники, время выпускных экзаменов. Их голоса то приближаются, то идут на убыль и доносятся издали, — звенят, как посуда. Я долго преподавал, заблуждаясь, что у меня есть преподавательский талант. Не умея ни требовать, ни видеть собенного страха да и обычного волнения детей на контрольных или экзаменах, я выходил из класса, давая им свободно списывать. Я ненавидел ставить тройки и не ставил. Это не доброта, а душевная слабость. Моя учительница физики, легендарная Роза Михайловна, гроза металловна всей школы, выучила несколько десятков детей так, что у тех просто не оставалось ни сомнений,

ни выхода: они уходили в физику. Ей, маленькой, кругленькой, чёрненькой, усатенькой и непреклонной, — как ей были благодарны потом те, кого она мучила!

Странное дело, я последовательно терял интерес ко всем привязанностям, кроме самой жизни. Смысл поисков утраченного времени состоит не в конечном обретении его (это невозможно), но в *утрачиваемом* времени, в том времени, которое *уходит* на поиски... Я интуитивно стремился к тому, чтобы выпадать в это, по существу, *безвременно*. Именно так. Я останавливаюсь. Я хочу это повторить. Находясь в поисках утраченного времени, мы находим и обретаем утрачиваемое время. И это главное. Правда, о нём нельзя сказать «находим и обретаем». Вернее сказать — мы в нём бесследно исчезаем. А раз бесследно, значит счастливо, — там нет горя. Обрётённое время — это время утрачиваемое.

Возвращаюсь. Сегодня я должен закончить этот рассказ, и у меня мелькает какое-то предчувствие, ещё не мысль, но почти... завершающая идея, которую я должен донести до дома. Только бы не забыть. Поэтому надо отвлечься. На что? На приборку: перепроверить все *стежки*, которыми прошит рассказ, и если есть хоть один, который блеснул, но забыл вынырнуть и подтвердить своё существование, спасти его вторым рождением.

Когда мне было лет десять, дача изменилась, — дядька с горем пополам закончил какой-то вечерний вуз, переехал в Ярославль, женился, потом, по ходу долгой жизни, родил троих детей и дослужился до замдиректора завода металлической тары. Оставаясь жизнерадостным «выпивохой», он никогда не напивался — в день по «маленькой» (которая стоила в разные времена поразному, я помню цифру 1 руб. 49 коп.) — и в любое свободное время читал Зикмунда и Ганзелку, «Кон-Тики» Тура Хейердала и, конечно, журнал «Вокруг света», — стопки печатной продукции скапливались на прикроватной тумбочке, а многие прочие стопки и опустошённые шкалики были посмертно обнаружены женой, — они прятались от неё за «миклухами-маклаями» в его пространный, бесхитростный и любознательной библиотеке... Я начал с того, что дача изменилась... Теперь я оказывался там только во время отпуска родителей. Все дачи почему-то сопровождалось сосновыми лесами, было ли это на Украине, на родине отца, куда мы добирались однажды на его «Побед» и на подъезде к городку попали в страшный ливень, — дорога хлюпала почти на уровне окон, а крутом прыгали местные чертенята в оборванных и облепленных грязью майках и орали: «Загрузнешь! Загрузнешь!», или в Прибалтике, где я встретил девочку из соседнего класса, которую вожделем, — невероятность этой встречи была такова (в лесу, вокруг ни души, нам лет по тринадцать), что впоследствии на

↓ место реальности претендовал сон, — но подросшая девочка, когда ей было под тридцать и мы могли спокойно отомстить всем преградам юности, но не отомстили, реальность встречи в сосновом лесу подтвердила.

«Мы дышим легче и свободней / не там, где есть сосновый лес...» — я помню, что где-то в начале рассказа упомянул йодистую строчку Ходасевича и сейчас удваиваю стезжок.

Немного переиначивая Библию, можно сказать, что поэт сначала произносит слово, а потом оказывается, что это хорошо. В этом смысле поэт — бог. А по-другому сотворить новое невозможно. Если же поэт заранее знает, как хорошо, значит есть образец, по которому он творит, значит он эпитон.

Та дача, где я проводил лето с дядькой, находилась в Горьковском, — так когда-то было переименовано финское Мустамяки. В статье «Литературного обзрения» за 1991 год я прочитал, что летом 1911 года «Мандельштам отдыхал в санатории Конкала под Выборгом, откуда писал В. Иванову о <...> новонайденных тютчевских стихах» и что с пребыванием в пансионе Линде связано стихотворение «Как кони медленно ступают...»

Пансион Линде также находился в нынешнем Горьковском, и где-то там проезжал Тютчев, рассчитывая, вероятно, на то, что он сочинит стихотворение, которое подхватит Мандельштам:

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

Идею срочно разыскать что-то об истории создания этого стихотворения я довёз до дома, не помня о ней, чтобы не забыть, и был за свою бережность вознаграждён. Мне кажется, что вознаграждён.

декабрь 2009

Иосиф МОКОВ

/ Танновер /



Магнолии в цвету

Как будто пламенем объаты,
Стоят магнолии в цвету,
Они впитали свет заката,
Небес прозрачных чистоту.

За речкой вспаханное поле.
Чуть внятных запахов волна.
В холодном пламени магнолий
Сгорает ранняя весна.

Цветов фарфоровые чаши
Сияют хрупкой красотой,
Подобно брэнной жизни нашей,
Недолговечной, непростой.

Увянет их убор нарядный,
Но будут по весне опять
Магнолий пышных канделябры,
Как отблеск вечности, сиять.

* * *

Каганец луны курился
Сизым дымом облаков.
Серебристый Буг струился
Меж тенистых берегов.

Месяц будто снежной пылью
Припорошил всё вокруг.
Между сказкою и былью
Серебрился древний Буг.

* * *

Мне видится всё, как во сне:
 И синее небо как праздник,
 И ты улыбаешься мне,
 И день, что промчался, как всадник
 На быстром, как ветер, коне,

И старенький наш палисадник,
 Герани на каждом окне,
 И жизнь, что промчалась, как всадник
 На быстром, как ветер, коне, —
 Всё помнится, помнится мне.

Катрены

*

Не выходи из берегов,
 В своих речах будь краток.
 Известно, что избыток слов —
 Огромный недостаток.

*

Иная мысль — что горсть трухи:
 Ни веса в ней, ни блеска,
 Но, облачённая в стихи,
 Звучит свежо и веско.

*

Вдруг вспыхнет образ, точно пламя,
 Включаешь мыслей жернова,
 Тебе ж подсовывает память
 Одни избитые слова.

*

Холоден день или жарок,
 Дождь ли идёт проливной —
 Прожитый день как подарок,
 Преподнесённый судьбой.

Перун

Томилаась ночь, изнемогая
под душным одеялом туч.
Она ждала, ещё не зная,
как он неистов и могуч.
А он катил пустую бочку
и бил по крыше кулаком,
рвал с треском на груди сорочку
и чиркал огненным пером,
зигзаги в небе оставляя;
ломал деревья.

А потом
он в лужах без конца и края
плескался шумно под дождём,
который словно из ведра
вдруг хлынул ровно в семь утра.

Вольный перевод из Роберта Гернгарда

Хваляю уродство сущее:
есть что-то в нём влекущее,
надёжное, манящее,
без фальши, настоящее.

У красоты иная роль:
она нам причиняет боль;
один лишь взгляд, пронзая душу,
навек твой покой нарушит;
к тому ж она, свой зная срок,
не даст нам насладиться впрок.
Она, краса, недолговечна
и легкомысленно-беспечна.

Хоть и уродство не без слёз,
зато надолго и всерьёз.



ВИТАЛИЙ ШНАЙДЕР

/ Января /

Чёрный вторник

Памяти М.С.Л.

Молча чёрный гроб несли
К свежеврытой могиле.
Тихо в яму опустили.
Каждый бросил горсть земли.

А потом был чёрный зал.
Долго говорили речи.
Сын сидел, сутуля плечи.
Он ни слова не сказал.

Над виском его седым
В свете тусклого плафона
Плыл, похожий на дракона,
Сизый сигаретный дым.

* * *

След, извив неуловимый, —
То движение души.
Мимо Мекки, Рима мимо,
Мимо Иерусалима
Вслед за ночью поспеши.

В даль, за воландовой свитой,
Набирая высоту,
И Фагот в пенсне разбитом
Скривит рот, и Маргарита
В сумрак спрячет наготу.

И Мессир вполоборота
Повернется, чёрный зрак

Наведёт и Бегемота
Подзовёт, прикажет что-то,
И падёт земля во мрак.

Рухнет храм, и тьму прочертит
Отсвет огненных столбов,
И в кромешной круговерти
Закружится Ангел смерти
Над руинами домов.

* * *

По плоскости наклонной я скольжу.
Скольжение почти неощутимо,
И годы тихо проплывают мимо,
Незримы, не подвластны дележу.

По ведомству газетному служу,
Но время, как судья, неумолимо,
И, заполняя счет неумолимо,
Его представит вскоре к платежу.

Давно сменились лидеры, знамена.
За окнами меняет цвет листва,
И каркает испуганно ворона,

Слетевшая с фонарного столба
На козырек безвкусного фронтона,
Крылом взмахнувши черным, как судьба.

* * *

Мир за окном — цветное полотно.
На нем дома, деревья, люди, птицы.
Поток автомобилей с ревом мчится.
По снегу такса семенит смешно.

В полтретьего уже полутемно.
Я закрываю книжную страницу
Про журавля, что в небе, и синицу
В чужих руках иль в клетке? Все равно.

Как Соловей-разбойник чайник свищет.
Иду на кухню, ведь духовной пищей
Желудок не наполнить, сколь ни ешь.

И подступает скучный зимний вечер,
И нечем залатать в бюджете брешь,
И плачет горько, как ребенок, ветер.

*«...земля везде тверда,
рекомендую США»*

Иосиф Бродский

Он понял вдруг, что чувство русской речи
почти утратил. И на сердце мгла.
И повторяло эхо: «Онемечен...»
И речь чужая небо обожгла.

И небо опрокинулось, сдавило.
Жизнь теплилась лишь где-то на краю
сознания. И неведомая сила
толкала в ледяную полынью...

Земля тверда везде, но речь — иная,
вот перемены местности итог.

И от хребтов Урала до Синая
звучат наречья разные, сменяя
чуть глуховатый на гортанный слог.

Связующая наши души нить
С теченьем дней все тоньше, незаметней.
Полынно-горек вкус любви последней,
Мы ничего не в силах изменить.

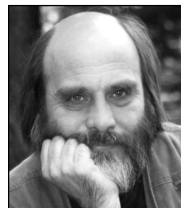
С теченьем дней все тяжелее жить.
Рок расставляет нам силки и бредни,
Печальной вечера и беспросветней,
Иссушенной душе трудней любить.

Не произносят губы рядом: «Милый»,
Отчетливей и зримей край могилы,
К глазам все чаще подступает тьма.

Страх держит сердце дланью ледяною,
И все труднее не сойти с ума,
Не выпасть из окна вниз головою.

Николай ГУДАНЕЦ

/ Рига /



«Мертвый сон совести» или Могучее тяготение мифа

*«Мы всё думаем: как может
это быть глупо или несправедли-
во? ведь это напечатано!»*

А.С. Пушкин (XI, 158)

Звезды изгибают пространство и время близ себя. Чем крупнее небесное тело, тем существенней возникающие искривления. Если масса звезды чрезмерна, сверхмощное гравитационное поле скручивает континуум пространства-времени вокруг нее в кокон. Такие астрономические объекты называют коллапсарами или «черными дырами».

Разглядеть «черную дыру» невозможно, ведь она поглощает собственные световые лучи. Долететь до «черной дыры» нельзя, поскольку на ее поверхности время замедляется бесконечно. Падающий на коллапсар предмет будет лететь целую вечность.

Долгое время существование «черных дыр» оставалось лишь гипотезой, основанной на общей теории относительности Эйнштейна. И лишь совсем недавно американским астрономам повезло наблюдать, как черная дыра поглотила звезду в галактике из созвездия Волопаса.

Астрофизики уверены, что сверхмассивные объекты располагаются в центре каждой галактики, следовательно, и посреди нашего Млечного пути имеется черная дыра.

Впрочем, это присказка, сказка у нас впереди.

Тождество между миром горным и дольным отметил еще Гермес Тризмегист в «Изумрудной скрижали»: «То, что внизу, подобно тому, что вверху, а то, что вверху, подобно тому, что внизу».

Наша отечественная культура, изобилующая звездами мировой величины, сравнима по своему масштабу с целой галактикой. Видно безо всяких телескопов, что блистательная русская галак-

тика литературоцентрична, а в сердцевине отечественной словесности сияет «солнце русской поэзии», А.С.Пушкин — великий и несравненный поэт, наделенный сполна всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами.

Пушкин — суперзвезда. Он набрал колоссальную искривляющую гравитацию. В поле невероятного пушкинского тяготения происходит полный коллапс логики, нравственности, художественного вкуса. Ныне никому и в голову не приходит применить к творениям поэта критерии обыкновенного здравого смысла или оценить, насколько его извилистая биография находится в ладу с моральными нормами.

Единственную крупную попытку такого рода предпринял Д.И.Писарев, с ошеломляющей резкостью обрушившийся на творчество классика в статьях «Пушкин и Белинский» и «Лирика Пушкина» (обе — 1865 г.).

Впрочем, потомки отмахнулись от чрезвычайно метких и остроумных рассуждений Писарева, объявив их издержками вулгарного социального подхода к творчеству гения. Как свескока заметил Р.О.Якобсон, «Писарев испытывал неприязнь к тому Пушкину, которого он сам сфабриковал»¹. Согласиться с таким заушательским мнением, по-моему, способен лишь тот, кто знаком с еретическими статьями понаслышке.

Опровергнуть аргументацию Писарева трудно, гораздо проще прибегнуть к тактике замалчивания. Работы замечательного критика о Пушкине избегают цитировать, и современный читатель может ознакомиться с ними разве что в собрании сочинений², изданном полвека назад и ставшем библиографической редкостью. Исследования пушкинского творчества нередко сдобрены панегириками, простирающимися далеко за пределы научности, а то и здравого смысла вкупе с элементарным правдоподобием. Каждое стихотворение классика, будь то альбомный пустячок или плоская злобная эпиграмма, наделяется сакральной ценностью. К золотому фонду русской поэзии причислена любая стихотворная пакость, которой сам поэт впоследствии устыдился, вроде «Гавриилиады» или сатиры «На выздоровление Лукулла». Бездумное восхищение вызывают даже такие постыдные стихотворения Пушкина, как «Сеятель» или «Поэт и толпа», исполненные цинизма и мизантропии.

Жизнеописания обожаемого классика пестрят восторженными похвалами его личности, далеко не всегда уместными и заслуженными. Биографы наперебой превозносят благородство, честность, мужество, доброту, отзывчивость, дружелюбие великого поэта. Между тем в мемуарах современников то и дело проскальзывают совершенно однозначные свидетельства о его неприглядных поступках. При чтении неприкрашенных первоисточников обнаруживаются совсем иные качества личности поэта, и если выражаться без обиняков, то есть все основания говорить о лицемерии, приспособленчестве, корысти, себялюбии, черствости Пушкина.

Эта удручающая двойственность, замеченная еще П.В.Анненковым, загоняла в тупик многих исследователей и до сих пор не нашла вразумительного истолкования. Как известно, неустрашимое противоречие служит безошибочным указателем на исчерпанность научной парадигмы. Проблема пушкинской двойственности неразрешима в рамках апологетического мифа, но при непредвзятом подходе она исчезает.

Достаточно подметить строгую закономерность: если Пушкин-поэт высказывается по большей части благопристойно и возвышенно, то Пушкин-человек исполнен цинизма, злости, непотребства. Вот и вся двойственность, совершенно естественная, легко объяснимая. Перед почтеннейшей публикой он один, а в жизни совсем другой.

Если называть вещи своими именами, это позерство и лицемерие. Помножьте их на великолепный, завораживающий дар стихотворца, и вы получите формулу пушкинской загадки.

Один из крупнейших знатоков пушкинской биографии В.В.Вересаев писал: «исключительно благородная красота души Пушкина пламенными языками то и дело прорывалась в жизни сквозь наносную грязь»³. Но когда приторный миф о Пушкине вдалбливают со школьной скамьи, последующее знакомство с реальными подробностями его жизни рождает картину, прямо противоположную вересаевской. Сквозь благолепный облик легендарного поэта, наносный и фальшивый, неудержимо хлещут потоки грязи. И уже невозможно отделаться от впечатления, что *«благородная красота души»* была всего-навсего личиной.

Казалось бы, какое нам дело до мерзких поступков, постыдных слабостей, душевных червоточин автора изумительных стихов? Разве может биография творца бросить тень на его творения? Но миф Пушкина тотален — жизнь и творчество поэта в нем переплелись и срослись до того неразделимо, что невозможно говорить об одном в отрыве от другого.

К тому же здесь сказывается характерная особенность русской ментальности. Ю.М.Лотман указывал на существование в отечественной культуре давней «традиции, связывающей право на истину и её проповедь с личностью того, кому она доверена»⁴. Начиная с XVIII века в России понятие действительности поэтического слова «связано с представлением о неразрывности слова и поведения»⁵. Ю.М.Лотман отмечал: «Традиция эта оказалась более прочной, чем сменяющие друг друга эпохи литературной эволюции»⁶.

Такое специфическое, чисто русское отношение к литературе выразил В.Г.Белинский, писавший в пятой статье о Пушкине: «Наше время преклонит колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни»⁷.

Ни для кого не секрет, что литературной одаренности далеко не всегда сопутствует моральная доброкачественность.

Но выданный Пушкину «патент на звание русского классика»⁸ (Б.В.Томашевский) подразумевает в том числе и абсолютное, ничем не омрачаемое нравственное совершенство. В результате, как метко выразился К.А.Кедров: «Бронзовый Пушкин обязательно становится шоколадным, а шоколадный — так или иначе, бронзовым»⁹.

Вдобавок принято считать, что наш великий классик был чужд заблуждений и самообмана, никогда не лукавил с читателем и всегда выражал свою мысль с безупречной точностью. На предыдущих страницах книги неоднократно доказывалось, что это, увы, далеко не так.

Слепая вера в непогрешимого и безупречного Пушкина заводит слишком далеко. Любое стихотворение классика воспринимается как абсолютная ценность, а его высказывания обретают весомость истины в последней инстанции. Что прискорбнее всего, сплошь и рядом пушкинский миф используют как основу для рассуждений о России и русском народе. И тогда в мощном гравитационном поле суперзвезды идет насмарку здравомыслие.

Рассмотрим наглядный пример.

Известный публицист С.Г.Кара-Мурза в своей книге «Манипуляция сознанием» утверждает: «Для русского народа характерно особое сочетание свободы духа и свободы быта. Напротив, довольно равнодушно относились русские к столь ценным на Западе политическим и экономическим свободам»¹⁰.

Автор высказался красиво и с недвусмысленным лестным подтекстом. Вот-де, какие мы особые, отродясь одухотворенные и раскрепощенные, высоко вознесенные над низкопробной политической грызнью и чуждые повальной чужеземной скаредности. Но хочется все же оценить, справедливы ли такие приятные похвалы.

Спору нет, русская ментальность отличается от немецкой или британской. Констатируя эту очевидность, важно разобраться, где именно видны различия, насколько они велики, а главное, какие практические выводы из них вытекают. Говоря конкретнее, надо решить, нужна ли русским своя, уникальная государственно-политическая система и особые регуляторы социальной жизни и экономики, отвечающие национальному духу, или же мы можем напрямую заимствовать опыт преуспевающих стран.

То есть, в конечном счете, отсюда неизбежен переход к размышлениям о путях развития Русского Мира, его исторических судьбах. И если С.Г.Кара-Мурза заявляет всерьез, что «иную свободу искал и ищет русский человек» (С. 54), такое веское утверждение уместно и даже необходимо обосновывать ссылками на этнопсихологические исследования, на серьезные научные работы — как минимум, на данные социологических опросов. Однако для подкрепления своего сомнительного тезиса публицист всего лишь приводит целиком стихотворение Пушкина «Из Пиндемонти» (1836 г.).

Не дорого цену я громкие права,
 От коих не одна кружится голова.
 Я не ропщу о том, что отказали боги
 Мне в сладкой участи оспоривать налоги
 Или мешать царям друг с другом воевать;
 И мало горя мне, свободно ли печать
 Морочит олухов, иль чуткая цензура
 В журнальных замыслах стесняет балагура.
 Все это, видите ль, слова, слова, слова.
 Иные, лучшие мне дороги права
 Иная, лучшая потребна мне свобода:
 Зависеть от царя, зависеть от народа —
 Не все ли равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
 Служить и угождать; для власти, для ливреи
 Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
 По прихоти своей скитаться здесь и там,
 Дивясь божественным природы красотам,
 И пред созданными искусств и вдохновенья
 Трепеща радостно в восторгах умиленья.
 — Вот счастье! вот права... (III/1, 420).

Прочитывая Пушкина, С.Г.Кара-Мурза патетически заявляет: «Этого счастья и этих прав не могли нас лишить ни Николай I, ни Сталин, ни тем более Брежнев. Но, укрепив режим манипуляции сознанием, их незаметно и приятно лишит нас телевидение, купленное Березовским. Оно согнет нам и совесть, и помыслы. Даже скитаться мы уже будем не по прихоти своей, а по указке рекламы туристических агентств, как с удовольствием скитается западный средний класс» (С. 55).

Надо полагать, турагентства не случайно помянуты в одном ряду с демоническим Березовским. Они, как явно опасается автор, обязательно загонят русского человека в презренные капища западной цивилизации, несовместимые с наличием *чистых помыслов и совести*. Например, предложат посетить Лувр, Прадо, Британский музей и далее по списку. Тем самым наглые воротилы туристического бизнеса отрежут пути к той специфической свободе, которую *«искал и ищет русский человек»*, согласно С.Г.Кара-Мурзе.

Все же трудно взять в толк, отчего маршруты путешествий, облюбованных *«западным средним классом»*, предосудительны для автора книги «Манипуляция сознанием». С учетом его спрокоммунистических взглядов, наверняка он предпочитает такой своеобразный вид отечественного туризма, как странствие в телячьем вагоне по сибирской тайге.

Здесь не к месту затрагивать служебную карьеру титулярного советника и официального историографа А.С.Пушкина, облаченного, как-никак, в придворную ливрею. Бестактным было бы обсуждать, в какой мере «певец свободы» гнул совесть и помыслы, умильно воспевая в «Стансах» палача декабристов или сочиняя

ура-патриотическую отповедь «Клеветникам России» по прямому заказу Николая I¹¹. И уж вовсе неприлично поминать о том, что в *жадную толпу, стоящую у трона*, поэт затесался отнюдь не в последних рядах. Пользуясь благоволением царя, он по локоть запускать руку в государственную казну, получая из нее крупные ссуды. Все это дела сугобо житейские, не имеющие касательства к высокому искусству.

Поэтому воздержимся от рассуждений о том, в какой мере русские люди корыстолюбивы и склонны к пресмыканию перед властью. Нас в данном случае интересует заглавная тема книги «Манипуляция сознанием».

Забавно, что тезис патриота С.Г.Кара-Мурзы об исконном русском равнодушии к «столь ценным на Западе политическим и экономическим свободам» звучит практически в унисон с ритуальными причитаниями так называемой «демшизы» насчет генетически обусловленного русского рабства. Как писал Пушкин, «бывают странные сближенья» (XI, 188).

Из рассуждений автора о русской особенной «свободе духа» прямо вытекает, что политические модели духовно чуждого Запада решительно непригодны к произрастанию на отечественной почве. Отсюда рукой подать и до «суверенной демократии», отвечающей исконным чаяниям своеобразного русского народа. При этом публицист веско заявляет, что «политически важные утверждения должны быть основаны на достоверных данных» (С. 713). Однако вместо упоминания научных исследований он опирается почему-то на авторитет литературного классика.

Поскольку Пушкин не был ни философом, ни политологом, ни социологом, ни этнопсихологом, ни государственным деятелем, нелишне задаться вопросом, насколько его суждение можно считать компетентным.

Возникшее недоумение можно разрешить, прибегнув к помощи самого С.Г.Кара-Мурзы. Штудирова его книгу, мы находим в последней главе сжатый перечень приемов манипуляции сознанием. Один из них называется «**Прикрытие авторитетом**». Сущность уловки иллюстрируется так: «Когда А.Д.Сахаров, который всю жизнь в закрытом институте изучал слабые взаимодействия в ядре атома, внушает нам мысль, что СССР должен разделиться на 35 государств, а армяне должны начать войну за Карабах, и при этом напоминает, что он — академик, то это грубый прием манипуляции. Никакого авторитета в вопросе государственного устройства или спора армян с азербайджанцами ни его запас знаний, ни его жизненный опыт ему не дают. Использование им авторитета ученого — подлог» (С. 816).

Попробуем воспользоваться аналогичным ходом рассуждений применительно к А.С.Пушкину. Можем ли мы считать искусного стихотворца непререкаемым авторитетом в области политики, социальных отношений и морали? Вряд ли. Уместно ли объявить Пушкина образцом для подражания? Боже упаси.

Его непостоянство, приспособленчество, криводушие, себялюбие и высокомерие ни в коем случае не могут служить для нас путеводной звездой, тем более, в фундаментальном «вопросе государственного устройства», зависеть ли нам от царя или от народа. Следовательно, использование С.Г.Кара-Мурзой пушкинского стихотворения в качестве аргумента — *подлог*. Типичный случай манипуляции сознанием.

Отметим, что недобросовестное «*прикрытие авторитетом*» Пушкина содержится в третьей главе книги. Между тем в главе шестнадцатой черным по белому напечатано, что «мир литературных образов условен, и его ни в коем случае нельзя использовать как описание реальной жизни, а тем более делать из него какие-то социальные и политические выводы. Образы литературы искажают действительность! В них явление или идея, поразившие писателя, даются в совершенно гипертрофированном виде. За верным отражением жизни человек должен обращаться к социологии и вообще к науке, но не к художественной литературе» (С. 405).

Сделав это предупреждение, С.Г.Кара-Мурза тут же сокрушенно признает: «Давайте признаем, что мы уже более века постопаем как раз наоборот. Берем из книги художественный образ — и из него выводим нашу позицию в общественной жизни. Если вдуматься, страшное дело» (С. 405).

Если действительно *вдуматься*, самобичевание выглядит как нельзя более кстати, поскольку всего лишь тремястами пятьюдесятью страницами ранее автор сам занимался «*страшным делом*», цитируя стихотворение Пушкина и приписывая его *гипертрофированную «позицию в общественной жизни»* всему русскому народу.

Такого рода казусы С.Г.Кара-Мурза описывает в своей книге следующим образом: «**Некогерентность высказываний.** Это — важнейший признак, и он довольно легко выявляется даже интуитивно. Стоит только чуть-чуть быть настороже, как начинаешь ощущать: что-то тут не так. Концы с концами не вяжутся! Если в одной фразе проклинают советский строй за то, что пересохло озеро Арал, а в следующей его же проклинают за то, что пытался перебросить часть воды из сибирских рек в озеро Арал, — то, простите, ваши рассуждения некогерентны, и вы нас просто дурите» (С. 817, выделено автором).

У самого же С.Г.Кара-Мурзы «концы с концами не вяжутся», как видим, при сопоставлении третьей главы с шестнадцатой. Закрадывается подозрение, что автор слишком углубился в изучение приемов манипуляции сознанием и применяет их уже машинально, сам того не замечая.

Но может быть, автор книги считает Пушкина в данном случае не просто авторитетной личностью или же литературным явлением, а — поднимай выше — общепризнанным выразителем русской духовности, явившим собой квинтэссенцию национального самосознания. В таком случае давайте разберемся, допус-

тимо ли считать пушкинское стремление «себе лишь самому слу- жить и угождать», которым так очарован С.Г. Кара-Мурза, ха- рактерным для русского народа? Вряд ли. Более того, сам публи- цист неоднократно подчеркивает, что русское общество, в отли- чие от западного, традиционно зиждется на коллективизме, со- лидарности, общинности.

Цитирую: «В современном обществе человек — свободный атом, индивидуум. *Ин-дивид* (лат.) = *а-том* (греч.) = неделимый (рус.). В России смысл понятия *индивид* широкой публике даже неизвестен. Здесь человек в принципе не может быть атомом — он «делим». Он есть личность как средоточие множества челове- ческих связей. Он «разделен» в других и вбирает их в себя. Здесь че- ловек всегда включен в солидарные структуры (патриархальной семьи, деревенской и церковной общины, трудового коллектива, пусть даже шайки воров). Этот взгляд очень устойчив и домини- рует в России в самых разных идеологических воплощениях, что и является важнейшим признаком для отнесения ее к традицион- ному обществу. Современное общество требует разрушения об- щинных связей и превращения людей в индивидуалистов, кото- рые уже затем соединяются в классы и партии, чтобы вести борь- бу за свои интересы» (С. 399)¹.

Написавший это автор ранее цитировал стихотворение «Из Пиндемонти» как образчик характерных для «русского человека» взглядов, немало не смущаясь тем обстоятельством, что поэт про- поведует предельный индивидуализм. *Некогерентность высказы- ваний* налицо.

Тут важно отметить, что стихотворение «Из Пиндемонти» в отличие, скажем, от послания «В Сибирь» или «Ариона», не допускает двояких истолкований. Лишенное каких-либо поэтических изысков и умственных ухищрений, оно представляет собой за- рифмованное назидательное рассуждение на политическую тему, причем автор высказывается ясно и однозначно. Суть стихотво- рения сводится к тому, что Пушкин декларирует бегство от борь- бы за политические права и свободы в уютную сферу эстетиче- ских наслаждений. Пожалуй, без риска скатиться к вульгарному упрощению тут можно сказать, что поэт выразил типичную пози- цию обывателя.

За неимением художественных красот приходится обсуждать логический костяк стихотворения. По мнению поэта, политиче- ские права и свободы несущественны, а подлинной ценностью обладают только личная свобода и наслаждение духовными цен- ностями. Не так ли?

¹ Такого рода панегирики «антизападной» русской ментальности дале- ко не новы. Еще И.С. Аксаков (кстати, в речи о Пушкине) восхищается «общинным и хоровым строем» жизни русского народа, «мало благопри- ятствующем развитию субъективности и индивидуализма»¹². Эта точка зрения, пусть давняя и широко распространенная, вряд ли может счита- ться беспорной, хотя бы в силу ее очевидной упрощенности.

Логика тут нет. Восторженно трепетать перед шедеврами искусства можно и при монархии, и в буржуазной республике, и даже под кованым сапогом военной хунты. Еще ни один царь и ни один парламент не запретил любоваться горными пейзажами или панорамой моря. Следовательно, политический строй и эстетические переживания вовсе не противоречат друг другу, они лежат в совершенно различных плоскостях. Противопоставлять их друг другу — все равно, что сравнивать корову с треугольником.

Как отмечает в своей книге С.Г.Кара-Мурза, для успешной манипуляции сознанием необходимо «отключить здравый смысл и логику в подходе к проблеме свободы» (С. 427), поэтому в ход идет такой стандартный прием, как **«размывание и подмена понятий»** (С. 425, выделено автором).

Указанный трюк самым грубым образом использован в стихотворении «Из Пиндемонти», где поэт ведет речь о политических правах и свободах в прямом смысле этих слов и тут же противопоставляет им иные, *«лучшие права и свободы»* в переносном смысле. Пушкин здесь вовсе не употребляет фигуральные выражения, не создает поэтическую метафору, а занимается подменой понятий в чистом виде.

Причем это вовсе не тот случай, когда, как пишет С.Г.Кара-Мурза, «художественное восприятие настолько сильно и ярко, что оно при умелом воздействии отделяется от рационального мышления, а иногда подавляет и здравый смысл» (С. 405). Повторяю, мы имеем дело не с потрясающим шедевром, а с чисто рассудочным стихотворным текстом, и его логические изъяны ничем не прикрыты, кроме ходячего представления о пушкинской гениальности, а значит, о его абсолютной правоте.

Несуразность рассуждений Пушкина легко раскусить, но С.Г.Кара-Мурза ее не видит. Как ни забавно, далее в его книге сказано: «Уже Ле Бон заметил, что эффективнее всего в манипуляции сознанием действуют слова, которые не имеют определенного смысла, которые можно трактовать и так, и эдак. К таким словам он отнес слова *свобода, демократия, справедливость* и т.п.» (С. 425).

«Свобода» наслаждаться красотой никак не обеспечена политическими и юридическими правами, разве что косвенно. Хотя, разумеется, человек подневольный и задавленный нуждой лишен возможности трепетать «в восторгах умиления». Среди населения тогдашней России изысканное счастье в пушкинском понимании было доступно разве лишь одному человеку из ста, но поэт об этом не задумывается.

Между строк стихотворения отчетливо сквозит потребность в самоутверждении и самооправдании. И коль скоро «небес избранник» все-таки затеял спор, вступив на чуждую ему социально-политическую плоскость, на ней он с неизбежностью выглядит самодовольным узколобым паразитом, равнодушным к судьбе собственного народа.

Таким образом, стихотворение «Из Пиндемонти» вряд ли допустимо считать продуктом зрелого ума и образцом высокой духовности.

Почти за сто лет до выхода книги С.Г.Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», в 1915 году публицист В.В.Водовозов писал: «Если бы стихотворение «Из Пиндемонти» было написано теперь, то впечатление, производимое им на читателей, было бы странным, чтобы не сказать больше. Кому в настоящее время не ясна из повседневного опыта тесная связь между свободой политической и свободой гражданской? Кто не знает, что свобода личная находит свою опору и гарантию исключительно в известных государственных формах и без них существовать не может; что зависимость от неограниченной верховной власти совсем не то, что зависимость от народа, действующего в строго определенных конституционных рамках; что идеал добродетельного монарха, добровольно подчиняющегося законам, охраняющего Свободу и права своих подданных, есть чистая утопия? Непонимание таких общеизвестных истин теперь свидетельствовало бы лишь о совершенной невежественности (если не о недобросовестности) писателя или об его крайней наивности»¹³.

Как видим, по сравнению с началом XX века в нынешней России резко переменялась интеллектуальная атмосфера, и С.Г.Кара-Мурзе уже невдомек, что пушкинский рифмованный текст можно воспринимать отнюдь не как священное откровение, не восторженно и взахлеб, а худо-бедно сохраняя элементарный навык здравого мышления.

«Не менее, однако, наивно подходить с меркой наших дней к произведению, имеющему почти столетнюю давность. Пушкин был неправ, но его точка зрения не была еще бесповоротно осуждена жизнью и еще не свидетельствовала ни о невежестве, ни о наивности»¹⁴, — примирительно рассуждал В.В.Водовозов, тут же поминая, что вот, мол, М.А.Бакунин и Н.К.Михайловский не сразу стали апостолами освободительного движения, но некоторое время питали монархические иллюзии.

Такая аргументация несостоятельна, поскольку Пушкин демонстрирует заблуждения совсем иного рода и качества. И ведь «*заблуждаться*» изволят не кто иной, как «певец свободы», автор «Вольности» и «Кинжала», не раз обсуждавший с «конституционными друзьями» (XIII, 30) будущую революцию и в общеизвестном послании заверявший Чаадаева, что их имена напишут «на обломках самовластья» (II/1, 72). (Кстати говоря, эта пушкинская метафора весьма колоритна, если попытаться воспринять ее не как набор словесных пустышек, а в качестве зримого образа. Тогда воображению читателя предстанут, скорее всего, руины царского дворца с надписями «Саша» и «Петя».)

«Тем не менее, уже в его время многие из его современников хорошо понимали несовместимость законности и свободы с самодержавием, — продолжал В.В.Водовозов, ссылаясь в примечании

на «Катехизис» Никиты Муравьева. — Сам Пушкин на каждом шагу чувствовал это на самом себе; он не мог не замечать, не мог не сознавать, не мог не задумываться над внутренним противоречием своих политических идеалов. Тем не менее, он их держался до конца жизни. Отчасти это объясняется недостаточностью его познаний в области политических наук»¹⁵.

Что интересно, пробелы в своих познаниях Пушкин хотел восполнить. Как отмечает В.В.Водовозов, «в последние месяцы его жизни он покупал в большом числе иностранные книги по политическим вопросам», в том числе труды А.Токвиля и Б.Констана, но они «остались неразрезанными», то есть непрочитанными. Та же участь постигла купленные им ранее сочинения Дж.Бентама и Ж.Ж.Руссо¹⁶. То есть, в его домашней библиотеке без толку пылились все najważнейшие плоды тогдашней общественной мысли.

Всячески пытаясь Пушкина оправдать, исследователь нена роком уличил его в невежестве. Выходит, поэт с апломбом мо лод чуюсь, свысока третируя «громкие права», но не удосужился загля нуть в те книги, где их необходимость обосновывается.

Той очевидной истины, что личное благополучие и независи мость оказываются эфемерными при отсутствии политической свободы, Пушкин, судя по его стихотворению, якобы не понимал. Хотя личный опыт унижительного бесправия перед лицом само державного деспотизма он приобрел еще при Александре I, «замар анный по службе выключкою, сосланный в глухую деревню за две строчки перехваченного письма» (XIII, 259). Тем самым оказа лось грубо нарушено одно из презираемых поэтом «громких прав», а именно, на защиту от внесудебного произвола.

Всю жизнь Пушкин мечтал о зарубежных странствиях, но ему так и не довелось увидеть ни Париж, ни Рим, ни Лондон. Не раз обращаясь к Николаю I с просьбой разрешить ему выезд за границу, поэт неизменно получал отказ. Более того, весной 1830 г. царь не разрешил Пушкину даже съездить в Полтаву, чтобы по видаться с другом, Николаем Раевским. Как письменно известил поэта А.Х.Бенкендорф, «когда я представил этот вопрос на рас смотрение государя, его величество соизволил ответить мне, что он запрещает вам именно эту поездку, так как у него есть осно вание быть недовольным поведением г-на Раевского за последнее время» (XIV, 75, 403–404 — франц.).

Исключительно по воле самодержца Пушкин оказался лишен счастливой возможности «*по прихоти своей скитаться здесь и там*». О том, что монарх нарушил принцип равенства всех перед законом и пренебрег правом на свободу передвижения, мало мальски сообразительный человек мог бы догадаться, даже не чи тая Бентама и Руссо. Но если бы поэт «зависел от народа», то есть имел дело с властями парламентской республики, надо полагать, его судьба сложилась бы иначе.

Как сказано в уже упоминавшейся книге С.Г.Кара-Мурзы, при манипуляции сознанием происходит «разрушение логическо-

го мышления», и возникает «особый тип мышления — аутистического» (С. 463, 475). Публицист пишет: «Главное в аутистическом мышлении то, что оно, обостряя до предела какое-либо стремление, нисколько не считается с действительностью. Поэтому в глазах людей, которые сохраняют здравый смысл, подверженные припадку аутизма люди кажутся почти помешанными» (С. 475).

Именно такой образ суждений, когда человек упрямо городит патологический вздор вопреки плачевному личному опыту, безусловно продемонстрирован в пушкинском стихотворении «Из Пиндемонти». Об аналогичных случаях у С.Г.Кара-Мурзы говорится: «В отличие от шизофрении, которая оперирует явно оторванными от реальности образами и обнаруживает отсутствие логики, аутизм, как отмечает Э.Блейлер, „отнюдь не пренебрегает понятиями и связями, которые даны опытом, но он пользуется ими лишь постольку, поскольку они не противоречат его цели, т.е. изображению неосуществленных желаний как осуществленных; то, что ему не подходит, он игнорирует или отбрасывает”» (С. 482).

Если же не ограничиваться знакомством с трудами психиатра Э.Блейлера, в произведении Пушкина обнаружится еще один смысловой пласт, возникающий помимо воли автора.

Современным психотерапевтам хорошо известна потребность в уходе от действительности, возникающая у психически уязвимых людей, в частности, «бегство невротика в своего рода эстетизм, в наслаждение искусством или в преувеличенное восхищение природой»¹⁷ (В.Франк). Вряд ли можно сомневаться, что в стихотворении «Из Пиндемонти» совершенно четко выражен невротический синдром бегства, и стихотворец, таким образом, демонстрирует уже не только глупость человека с явными пробелами в самообразовании, но и отчетливые признаки душевного нездоровья.

Тем не менее, такие напрашивающиеся соображения ускользнули от С.Г.Кара-Мурзы, который, цитируя в своей книге Пушкина, пытается преподнести психическую неполноценность как специфически русский склад ума.

Преисполненный школярского пиетета С.Г.Кара-Мурза ухитряется не видеть, что Пушкин в стихотворении «Из Пиндемонти» провозглашает обывательскую глупость, что убожество пушкинской мысли несомненно, что произведение классика по целому ряду признаков является типичной манипуляцией сознанием, и вдобавок стихотворение, увы, отягощено признаками душевной патологии.

А что всего интереснее, автор фундаментальной книги «Манипуляция сознанием» не отдает себе отчета, до какой степени его слепое преклонение перед Пушкиным порождается мифом о поэте, то бишь массовой манипуляцией сознанием.

Все это скорее печально, нежели смешно, и отнюдь не случайно.

Как видим, очаровательно благозвучным стихам Пушкина свойственна гладкость аптечной капсулы, которую проглатывают,

не распробовав содержимое. Под непреодолимым гипнозом пушкинского имени читатель способен восторженно принять любую нелепость или пакость, даже вопреки здравому смыслу и наперекор собственным убеждениям.

Некогда, на заре пушкинского мифа В.О.Ключевский говорил о Пушкине: «Художественная красота его произведений приучила нас с любовью повторять то, чего мы уже не разделяем, эстетически любоваться даже тем, чему мы не сочувствуем нравственно»¹⁸. Боюсь, что высказаться в таком духе сегодня уже никому в голову не придет.

Нынешние читатели вроде С.Г.Кара-Мурзы радостно трепещут над стихами классика «в восторгах умиленья» и безропотно, на подсознательном уровне усваивают его непрерываемо гениальные мысли о том, что стадо безропотного народа достойно лишь ярма и бича, что мыслящий человек должен питать презрение к миллионам двуногих тварей, что надо служить и угождать лишь самому себе. И вряд ли позволительно считать безобидной всю эту ядовитую примесь фальши, цинизма и глупости, текущую издавна в жилах русской культуры благодаря Пушкину.

Бесподобное изящество стиха и слепящий ореол величия делают Пушкина неуязвимым для читательских сомнений и порицания. Однако порой на его долю все-таки заслуженно выпадали чудовищные и убийственные похвалы.

«В чем кощунство песни Вальсингама? Хулы на Бога в ней нет, только хвала Чуме. А есть ли сильнее кощунство, чем эта песня?», — рассуждала М.И.Цветаева, пифийствуя с декадентским захлебом и любезной мещанскому сердцу насажденностью: «Радость? Мало! Блаженство, равного которому во всей мировой поэзии нет. Блаженство полной отдачи стихии, будь то Любовь, Чума — или как их еще зовут»¹⁹.

Прочитав пушкинский гимн Чуме, поэтесса в восторге вещала: «Самое замечательное, что мы все эти стихи любим, никто — не судим. Скажи кто-нибудь из нас это — в жизни, или, лучше, сделай (подожги дом, например, взорви мост), мы все очнемся и закричим: — преступление! Именно, очнемся — от чары, проснемся — от сна, того мертвого сна совести с бодрствующими в нем природными — нашими же — силами, в который нас повергли эти несколько размеренных строк»²⁰.

Мне кажется, именно здесь Цветаева, сама того не сознавая, вдруг нащупала и разъяснила потайную сердцевину пушкинского мифа.

Конечно же, мысль о том, что на вершине великой русской литературы необходимо водрузить одного-единственного родоначальника и главного начальника, могла зародиться только в скобоченных советских мозгах. Да и утверждение о том, что единственный поэт может стать бесконечно близким каждому и всеми без исключения любимым, по сути своей тоталитарно и антикультурно.

Даже сознавая это, нельзя не подивиться тому, с каким искусством и размахом создан колоссальный пушкинский миф, как убрано и приглажено в нем все нечистое и неудобное, с какой причудливостью в Пушкине переплелись архетипические черты героя-солнца, мудрого прародителя, лихого Иванушки-дурачка, священного дитяти, дерзкого Прометея, безвинно убиенного пророка, и до чего всесторонне он утоляет жажду по святости, которой маялась атеистическое население СССР.

И все же, почему Сталин выбрал именно его?

Литературная значимость здесь абсолютно ни при чем, ведь на то, чтобы отодвинуть в тень гениального Достоевского, советской власти хватило бесстыдства. Разумеется, Пушкин «стал иконой»²¹, по выражению Б.В.Томашевского, еще до большевистской революции. Однако фантазмагорический пушкинский миф был разработан и вдолблен в общественное сознание только к концу 1930-х годов, и с тех пор он стал безальтернативным.

Нет ничего странного в том, что вождь коммунистической партии учредил должность вождя отечественной словесности. Но Сталина угораздило назначить генсеком российского литературного Олимпа столь же сиятельную, сколь и скандальную фигуру, после чего адские труды выпали на долю согбенных литературоведов, постаравшихся вытесать идеологически безупречного кумира из классово чуждого дворянина, в придачу бабника, дуэлянта, картежника, кутилы, сноба, монархиста и политического ренегата. Впрочем, в итоге пушкинский миф оказался сработан настолько добротнo, что пережил крах всех прочих советских мифов.

Казалось бы, уму непостижимо, с какой стати бывший семинарист и виршеплет, стукач царской охранки, трусливый и безжалостный параноик, гроссмейстер аппаратных интриг с великолепным кадровым нюхом, подмявший под себя огромную страну, вдруг распорядился всячески прославить и возвеличить именно Пушкина, после чего в 1937 году, на пике кровавой вакханалии отпраздновали с бредовой пышностью столетний юбилей **гибели** поэта.

Спасибо Цветаевой за разгадку.

Кульминация пушкинского мифа кажется несуразной прихотью, мрачным бредом и случайным совпадением до тех пор, пока мы не поймем, что безошибочный выбор Сталина пал на поэта, который обладал замечательной способностью погружать совесть в «мертвый сон».

Рига, 2004–2010

Примечания

Цитаты из произведений А. С. Пушкина даются по академическому Академическому полному собранию сочинений в 16 томах (М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959) в круглых скобках, с указанием римскими цифрами тома и арабскими — страницы.

Ссылки на доступные в Интернете источники, где отсутствует пагинация, отмечены как «www».

1. Р.Якобсон. Заметки на полях «Евгения Онегина» // Р.О.Якобсон. Работы по поэтике. М., 1987. С. 222.

2. Д.И.Писарев. Сочинения. В 4-х тт. М., 1958.

3. В.В.Вересаев. Пушкин в жизни // В.В. Вересаев. Сочинения в 4 тт. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 558.

4. Ю.М.Лотман. Русская культура послепетровской эпохи и христианская традиция // Труды по знаковым системам. Тарту, 1992. Т. 24. С. 60.

5. Там же.

6. Там же. С. 61.

7. В.Г.Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая // В.Г.Белинский. Избранные сочинения. М.-Л. 1949. С. 586.

8. Б.В.Томашевский. Интерпретация Пушкина. // Б.В.Томашевский. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990. С. 64.

9. К.Кедров. Разный Пушкин: безмерность гения // «Известия», 5 июня 2009.

10. С.Г.Кара-Мурза. Манипуляция сознанием. 2-е изд. М., 2007. С. 54. Далее ссылки на страницы этой книги даны в скобках.

11. «Граф А. В.Васильев сказывал, что, служа в 1831 г. в лейб-гусарах, однажды летом он возвращался часу в четвертом утра в Царское Село, и, когда проезжал мимо дома Китаева, Пушкин застал его в раскрытое окно к себе. Граф Васильев нашел поэта за письменным столом в халате, но без сорочки (так он привык, живучи на юге). Пушкин писал тогда свое послание «Клеветникам России» и сказал молодому графу, что пишет по желанию государя». П.И.Бартенев. «Русский Архив», II, 516.

12. И.С.Аксаков. Речь о А.С.Пушкине // К.С.Аксаков, И.С.Аксаков. Литературная критика. М.:, 1981. С. 276.

13. В.В. Водовозов. Политические и общественные взгляды Пушкина в последний период его жизни // Пушкин. Собр. соч. в 6-ти тт. Под ред. С.А.Венгерова. Пг., 1915. Т. 6. С. 384–385.

14. Там же. С. 385.

15. Там же.

16. Там же. В частности, у Пушкина имелось восемь томов сочинений Дж. Бенгтама в переводе на французский, но он разрезал только первые 8 страниц трехтомного «Введения в основания нравственности и законодательства». См. Б.Л.Модзалевский. Каталог библиотеки <А.С.Пушкина> // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Спб., 1910. Вып. 9/10. С. 156.

17. В.Франк. Психотерапия на практике. Спб., 2000., www.

18. В.О.Ключевский. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину // В.О.Ключевский. Литературные портреты. М., 1991. С. 100.

19. М.И.Цветаева. Искусство при свете совести // М.И.Цветаева. Мой Пушкин. 3-е изд., М., 1981. С. 193, 194.

20. Там же. С. 191.

21. Б.В.Томашевский. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения // Б.В.Томашевский. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990. С. 54.



Юрий ТКАЧЁВ

/ Января /

* * *

Мир чертила ирреальный
Звукопись внутри стекла —
Конусно-пирамидальный,
С гранями добра и зла

И с глубокими глазами,
Обнажающими дно
Жизни, чьи все стёкла сами
Видят *нечто* — что дано

Человеческому мозгу
Лишь на миг в себя глотнуть,
Словно свежий, чистый воздух
В еле дышащую грудь...

* * *

Или мир таким стал —
Или я совершенно другой,
Только слышу обвал
Всех светил за моею спиной.

И вокруг — темнота,
И надежда — как первая ложь.
Жизнь давно уж не та,
На которую был я похож.

С миром я разлучён.
Но не поздно ль всё снова начать?
Или вновь станет сном
На болоте спасения гать?

Вытек времени глаз,
Растекаясь по чёрным камням.
Я и счастья не спас —
И печаль свою звёздам отдам.

Этих дней эпизод —
Или целая жизнь на кону?
Мир вслепую бредёт,
Мою душу скрывая в плену...

Как в трясину, во мрак
Я затянутым быть обречён.
Жаль, что вышло не так
Наяву, как предсказывал сон...

* * *

По городу, окутанному ветром,
Трепещущему крышами домов,
По городу, где в спящем духе ретро
Едва услышан новых линий зов,

По городу, смешному и не очень,
Который переполнен пустотой,
Иду, своей судьбою заморочен,
От смеси грусти с радостью хмельной...

* * *

Сотней замёрзших по капелькам рек
Долго спадает с божественной выси

Лёгкий, наполненный радостью снег...
Он всё подмигивает и искрится,

Старый знакомый, холодный чужак,
И за одежду цепляется, словно

Хочет сказать: «Ну, постой, как же так?
Что не глядишь, как спокойно и ровно

Я разбиваюсь о землю? Мой рок
Так предписал — становиться водою»...
Снег от паденья уже изнемог.
Будто свой горький, как жизнь, порошок
Через окно кто-то высypал, стоя

↓

Перед вопросом: «Зачем это мне?
Ведь только Богу известен итог мой»...

Падает снег... По его белизне,
Медленно тающей в сладкой истоме,

Завтра пройдуся и не знаю пока,
Что затрещит под моими ногами:

Или то снежная наша тоска,
Или покой, что окутан снегами?

* * *

Как фалды, за мною — солёная память,
И вынужден я, чтоб убрать её прочь,
Частицу себя в неизвестность отправить,
Из горла исторгнуть её во всю мочь

Отчаянным криком, часть пройденной жизни
В конверт заключить сургучовым замком,
За шею схватить её крепко и стиснуть, —
Всё то задушить, с чем до боли знаком.

Шлейф памяти, скомкав движенья и нервы,
За мной превращается в ржавую цепь,
Ведущую с мира, где каждый был первым,
Туда, где разыгран последний вертеп.

Там — дикий процесс раздевания кожи,
Там будущность видится бабьей молвой,
И сущность моя на себя не похожа,
Но всё же... О, Боже, по-прежнему всё же
Никак, истрепавшись до крови, не может
Убить в себе памяти огненный слой...

Сергей ВИКМАН

/ Ганновер /



* * *

Сижу один в тиши беседки
 В глуши заброшенного сада
 Здесь гости как обычно редки
 И потемневшая ограда
 Скрывает редкие тропинки
 В кустах и лозах винограда
 Сижу и жду спокойный сонно
 Когда хоть что-нибудь случится
 Лишь ветер в книге еле слышно
 Листает старые страницы
 Сквозь одиночество привычно
 Пытаясь к времени прибиться

* * *

На заборе у дома продрогла сорока
 дождь смывает из окон цветы георгинов
 хризантемы дождавшись привычного срока
 нам сквозь осень несут ощущение ангины
 и предчувствие близкой бесснежной зимы
 так привычно с тобой по утру ощущаем
 изменения жизни и их так привычно прощаем
 словно это не мир изменился а все-таки мы

* * *

Переулки отелей на Сен Луи и мосты
 Через Сену в еврейский квартал Маре
 Чуть заметно дрожали сквозь дождь в октябре
 Ветки мокрых деревьев свисая черны и пусты

За мостом продавали с чадящих жаровен каштаны
 Букинистов тянулись ряды жгли клошары костры
 И две осенью пьяных под вечер сестры
 Две не очень веселых и старых путаны
 На прибрежной скамье разложили простую закуску
 Ветер с Сены одной чуть распахивал блузку
 И опавшие к вечеру листья платанов кружил
 Между старых отелей на счастье для нас ворожил

* * *

Цвели в саду и розы и левкой
 Паштет из соловьиных языков
 Нетронутым остался и в покои
 С утра тянулись толпы дураков
 Теренция комедию смешную
 Давал в соседнем городе Мирон
 Там в лупанарии блондиночку такую
 Куда там самой лучшей из матрон
 Катулл воспел Алексия лаская
 И ничего вокруг не замечая
 Жизнь изучал со всех ее сторон
 В ней перемен совсем уже не чая
 А рядом Клио шла спокойная такая

* * *

Ранняя осень под утро и старые ели в пруду
 Ветки сквозь первый холодный туман отражают
 В доме поникшем событий пустую руду
 Ходики старые нам по привычке еще отгружают
 Яблоки еле заметны на фоне из листьев и туч
 И хризантемы в замёрзшие лужи глядят осторожно
 А на душе отчего-то привычно так тяжело-тревожно
 Словно на реку глядишь с Воробьевых обманчивых круч

* * *

Гостиница у Рейна спит почти
 Такая же как тысячи гостиниц
 Случайно оказавшись на пути
 Так неожиданно доставшийся гостинец
 Из детских сказок снят дома и крыши
 И замок на горе невдалеке
 И это кажется понятнее и ближе
 Чем силуэт на собственном окне



ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

/ Париж /

БЫЛО — НЕ БЫЛО

Генрих Сапгир о себе и своем времени

Русский литературный (официально не признаваемый) авангард советского времени, в 60–70 годы, тесно связанный с неофициальным искусством, имел немало настоящих мастеров. Генрих Сапгир (20.11.1928, Бийск, Алтайский край — 7.10.1999, Москва) — один из них. Интерес к нему, к его творчеству уже обозначился появлением о нём статей и исследований, продолжает расти. С Генрихом я и просто, по-дружески, и как журналист, встречался в Париже (в первый раз он приехал сюда осенью 1987 года) много раз, каждая из встреч при этом была окрашена каким-то теплом и светом, который, не ослепляя, он словно излучал. В предлагаемой ниже записи, из тех, что были в студии Международного французского радио для моей авторской передачи «Литературный перекрёсток», Генрих рассказывает о себе, о своём творческом пути, о людях, которые окружали его... И, разумеется, о своём восприятии Парижа, с которым он был связан не только как частый гость, но и родственными узами. На сегодняшний день — это уже история, а вместе с тем — штрихи к портрету большого русского поэта.

— *Что значит для вас литературный труд?*

— Это уже привычный мне труд. Это труд как для любого. В своё время Маяковский убеждал публику, что вдохновение тут — не главное, главное — сделать табуретку, быть хорошим столяром. Я тоже уверен, что мастерство это всё-таки — основное.

— *Сохранила ли ваша память день первой вашей публикации?*

— Нет. Я печатался в «Пионерской правде», и что там напечатал я не помню, но что-то печатал...

— *Это до войны или после войны было?*

— Это уже было после войны. Одно время, когда окончилась война и все поэты, военные поэты, сейчас многие из них забыты: Гудзенко, Урин (он же Уран был тогда), Слуцкий (это, действительно, талантливый поэт), — среди них были разные, но как-то все вместе вышли... И вот я к ним тогда прибиhsя. Об этом почти никто не знает. Мне было тогда лет семнадцать, я был по сравнению с ними мальчишка, тем более, что это были бывшие солдаты, офицеры, которые недавно стреляли, и поэтому считали, что у них-то есть сказать, а я писал романтические акмеистические стихи...

— Обычно вашими учителями в литературе называют Арсения Альвинга, Евгения Кропивницкого, Овсея Дриза... Что каждый из них вам дал? Что наиболее существенное у них вы получили?

— И в литературе, и в искусстве я считаю своими учителями не только их. Когда мне было 12 лет — таким учителем, действительно, явился Альвинг. Арсений Алексеевич (настоящая его фамилия Смирнов — это был случайно уцелевший дворянин, в конце тридцатых годов), взял меня за шиворот и из школьной библиотеки доставил в свою студию поэтическую, все члены которой были сильно старше меня — им было по шестнадцать, по семнадцать, это уже были совсем для меня взрослые, и занимались они серьёзным делом... Да, это был мой *первый* учитель. Я о нём очень тепло вспоминаю, облик его сохранился, это был действительно человек *того* времени... Такого типа люди были в первой эмиграции; помню человека мягкого, всегда чисто выбритого, с голубыми глазами, лысоватого... Мне казалось — очень пожилого. Может, он и не был такой... Но получилось так, что Арсений Алексеевич скоро умер. Началась война. Я уехал в эвакуацию...

— Известно, что он умер в феврале 1942 года...

— Да, на квартире у своего ближайшего друга. Был такой — переводчик Петрарки, Юрий Никандрович Верховский, тоже из «бывших». Он умер, наверное, от голода, так я думаю.

— Ваше знакомство с Арсением Алексеевичем Альвингом состоялось в то время, когда он вернулся из лагерей. С 1932 по 1940 год он был репрессирован...

— Честно сказать, тогда я этого не знал. Вообще об этом не говорилось, просто это был человек особенный, он очень отличался в лучшую сторону от всех других людей, которых я видел. Он правил мои стихи несколько комично ... Теперь-то я вижу! Дело в том, что стихи-то были детские, а он был сам учеником Анненского Иннокентия! Если вы прочтёте первое издание «Кипарисового ларца», посмертного сборника стихотворений Анненского, —

там его сын благодарит Альвинга за неоценимую помощь в том, что удалось собрать стихи его отца. Так что, видите, через человека, я знаком с одним из великих! (смеется). Мы все так, через одного, знакомы с кем-то...

— *А какое место в вашей жизни занимал Евгений Кропивницкий?*

— Это был следующий учитель. Учитель, который дал мне больше всего. Знакомство с ним произошло во время войны. Я вернулся из эвакуации, почему-то я один поехал в Москву, братья и отец были на фронте, мать была с девочкой — с маленьким ребёнком, мы сидели в Александрове... это было не так далеко, «сто первый километр»... Я взял две буханки хлеба и пошёл в Москву. Дошёл до Загорска, там сел на поезд, приехал. В нашей квартире (нам комната принадлежала) открыл свою комнату, — она была холодная, пустая, — стал жить. Но очень скоро стал я умирать с голоду, потому что продукты кончились, а карточек у меня не было. Я услышал, что в Доме пионеров Ленинградского района дают карточки участникам кружков, чтобы поддержать их существование. Пришел туда (у меня знакомый был, который ко мне очень хорошо относился — это директор Дома пионеров, Жигунов) — и сразу он меня очень хорошо принял, вызвал из студии Евгения Леонидовича Кропивницкого, который там работал, преподавал живопись и рисунок. А когда Евгений Леонидович увидел меня, воскликнул: «Шторки!». Прозвище такое у меня было из-за ресниц — видимо, тогда были особенно длинные... Да, он меня узнал, и как-то сразу взял под своё крыло. В этот же день я познакомился с Оскаром Рабиным, который сидел у него в студии среди других и рисовал, по-моему, если я не путаю, на свободную тему — сказки, какого-то рыцаря, который стоит перед камнем и не знает по какой дороге ему идти... В общем, в полном раздумье. Ну, такие ситуации перед нами потом вставали в жизни...

— *Овсей Дриз?..*

— Овсей Дриз — это был мой друг. Ни в коем случае он не был моим учителем, просто мы познакомились тоже очень непросто. Когда я вернулся из армии, — это уже более поздние годы, 1950-е, — я поступил служащим в скульптурный комбинат Художественного фонда в Москве. И там увидел под навесом: человек с белым пламенем волос — совершенно седой, волосы стоят дыбом, на волосах мраморная крошка оседает блестящая (потому что он вырубает киянкой — значит, бьёт по стамеске — не то колонну какую-то, не то фигуру)... Это был Овсей Дриз. Я его запомнил, потому что он был слишком необычен. А потом мы познакомились в коридоре «Детгиза». Он был поэт, писал для детей... так же как и я стал писать в своё время — надо было как-то выживать... Кто-то шёл в переводчики, кто-то стал писать стихи для

детей... Наверное, у меня это получилось вполне естественно... Был у нас такой замечательный и любимый мною поэт Хармс... Вообще, все обзриуты писали хорошо для детей — некая парадоксальность мышления, наверное, помогает это делать. Вот мы там познакомились с Овсеем Дризом и сразу подружились. Я перевёл девяносто процентов, наверное, его стихотворений и, в общем, переводил до его смерти... Умер он довольно рано, в 1972 году.

— *Где-то в 1960-е годы возник термин «барачная поэзия». Термин, конечно, известен и, если не в первую очередь, для художников — мы знаем «барачную живопись» того же Оскара Рабина... Что значит «барачная поэзия» для вас?*

— Мы жили среди народа России, и, в большей мере, опять приходится вспомнить Маяковского, потому что у него очень удачные формулировки: вся Россия, — по-моему, не только улица, — корчилась, безязыкая (это — 1940—1950-е годы), потому что почти никто не смел говорить, а кто смел — того не печатали или загоняли куда-то в Сибирь, и поэтому надо было искать средства, надо было... Мы чувствовали, что должны что-то своё сказать. А своё — это в чём мы живём... Вот — эти голоса. Я и первую свою книгу назвал «Голоса». Голоса бараков, голоса в электричке, голоса в очередях — вот эти голоса захотелось передать. Я о себе говорю, но я думаю, что такой же процесс был у Оскара Рабина, у Игоря Холина, у Евгения Леонидовича Кропивницкого, несмотря на разницу в возрасте. Вот таким образом сложилась группа, которую называли «Лианозовской». В «Лианозовскую группу» — это потом она стала «содружеством» — стали приходить люди уже с другим мировоззрением (например, такие художники, как Немухин — у него всё-таки эстетизм на первом плане), и уже не стало вот такого *цельного*... Ещё хотелось бы упомянуть Яна Сатуновского — замечательного поэта, который был очень нам близок, хоть он пришёл позже; Всеволода Некрасова, который несомненно был «лианозовец» — по своей сути, по тому, как он изображал... Ну, вначале я его воспринимал как поэта Московской области, что ли, — у него такой говорок московский в стихах... Так что и поэты, и художники — и те, которые были вначале, и те, которые потом пришли к нам (а люди в молодости особенно любят быть вместе — им веселее так жить и работать), — так совершенно спонтанно организовалось то, что теперь называют «Лианозовской группой».

— *Ну, была ещё одна группа — «Конкрет», и этой группой, как я читал, руководили вы... Не так ли?*

— Знаете, мифы всё-таки великая вещь!.. Зачем их разрушать? Дело в том, что очень талантливый (я так считаю) поэт и писатель Лимонов Эдуард, который тоже приобщился к нам в то

↓ время (это было уже в конце 1960-х—начале 1970-х), когда уехал за границу, ему надо было какую-то группу особенную представить — той публике, в то время... И вот, значит, появилась группа «Конкрет», хотя никакой группы на самом деле не было.

— То есть это выдумка Лимонова?

— Ну! Вы чувствуете?! Он вообще... выдумал целую партию...¹

— А каким же образом группа «Конкрет» вдруг оказалась «приписана» вам как организатору?

— Это кто-то, что-то... Может быть, даже Лимонов так написал...

— В энциклопедическом справочнике немецкого слависта Вольфганга Казака по русской литературе XX века, в статье, посвящённой вам, отмечается, что авангардистскую группу «Конкрет» возглавляли именно вы...²

— Я его очень уважаю, этого человека. Очень уважаю, но... приходится говорить, что это было не так. Дело в том, что всегда в литературе и вокруг — много догадок, если — это неизвестно — кто-то что-то сказал, потом это пошло, стало гулять по свету. Я думаю, что уважаемый мной профессор, который очень много сделал для русской словесности, в данном случае имел просто неверные сведения. Группа «Конкрет» появилась в «Аполлоне—77» — это альманах, который издал на свои деньги и своей энергией Миша Шемякин³. Это замечательно: в 1977 году, когда ещё «никто и ничего» — он издаёт огромный, пятикилограммовый том! Фолиант! Вдруг приходит ко мне девочка, говорит: вот, я вам привезла от Шемякина подарок. Бедняга, она же ведь везла через все границы! Но ещё больший фолиант у меня хранится — «Метрополь», оригинал... У меня — оригинал⁴.

— Генрих, давайте вернёмся к периоду «барачной поэзии», к периоду содружества вокруг Евгения Кропивницкого... Как проходили встречи, какая была общая атмосфера?

¹ Г. Сапфир имеет в виду организованную Э. Лимоновым после возвращения из эмиграции в 1994 г. радикальную политическую группировку, получившую наименование Национал-большевистская партия (НБП) России. В настоящее время деятельность этой организации формально запрещена судом.

² См.: Казак Вольфганг. Лексикон русской литературы XX века. London: OPI Ltd., 1988. С. 669.

³ Аполлонь-77. Литературный альманах. Париж, 1977.

⁴ Оригинал самиздатского альманаха «Метрополь» было изготовлено всего 24 экз.

— Это, я уже говорил, началось с войны, с 1944 года, наверное. Тогда это был — *учитель*, и были совсем-совсем юные ученики, почти подростки. Мы ходили вместе по лесам окрестным, доходили до Клязьминского водохранилища — тоже замечательные места, и где мы не ходили!.. А ходили мы вот почему, потому что тогда вообще все ходили — и по Москве ходили поэты, и вот они, выхаживая, сочиняли... Кто-то сочинял, кто-то объединялся, потому что *своего места* у нас не было. А так — Евгений Леонидович брал этюдник (он любил писать этюды), я брал книгу Блока или Хлебникова, или Пастернака... я называю поэтов, которых мы чаще всего брали, и там всё это читалось, обсуждалось, делались какие-то выводы... По-моему, это была академия. Это был урок на лоне природы, если можно так выразиться теперь. И вот отсюда пошло наше общение. Потом к нему приезжали художники молодёжь, показывали свои картины — мы тоже это всё обсуждали. Ну, естественно, подросли, стали понемножку выпивать, на столе появлялась водка, разговоры становились горячее, и таким образом возникла «Лианозовская школа»...

— С 1975 года вы начали публиковать свои стихи не только в России, в тогдашнем Советском Союзе, но и на Западе — в журналах «Третья Волна», «Континент», «Время и мы», в упомянутом альманахе «Аполлонь—77», в «Метрополе»... Наконец, в 1978 году в Париже вышел ваш поэтический — не детский — сборник «Сонеты на рубашках». В предисловии к нему, датированном 6 ноября 1976 года, вы утверждали: «Я считаю, что стихи могут быть наглядны, и написаны на одежде, тазах, корытах, простынях, чемоданах и т. д. В таком случае такое направление поэзии можно было бы назвать «вещизмом». Интересно, что, будучи в Париже зимой 1988 года, Андрей Вознесенский на одном из вечеров объявил, что в последнее время он начал писать стихи на одежде, в частности, на майках известного французского модельера Пьера Кардена... Вам, видимо, приятно узнать, что ваша идея получила такое конкретное воплощение?»

— В общем-то, она не только у поэта Вознесенского получила такое воплощение. Мне писала одна милая дама, которая изучала моё творчество, — как же так, в Италии сонеты одного поэта были написаны на спинах рубашек! Какая-то фирма выпустила такие рубашки с большим успехом. Почему вы не подадите на неё в суд? Конечно, с её точки зрения надо было бы подать в суд, но мне кажется, что это только хорошо. Пускай существует то, что я придумал, а я могу вкратце рассказать...

Это же не просто название: «Сонеты на рубашках»! В 1976 году была выставка моих друзей художников-нонконформистов в

¹ Сагир Генрих. Сонеты на рубашках. Paris: Третья Волна, 1978.

павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ (это было великое дело для того времени!), и мне захотелось представить своё произведение (меня совсем уже не печатали; печатали только то, что я писал для детей, остальное — глухо!). Тогда я взял свои две рубашки, на спине одной фломастером написал свой сонет «Тело», на спине другой — тем же фломастером — сонет «Дух», и повесил их на плечиках — одна над другой — на втором этаже. Висели они, правда, недолго — начальство приказало: снять! Как же так: есть текст, а он не прошёл цензуру?! (Тогда любой текст должен был проходить «лит».) Но повисели они какое-то время, видели их... У меня даже фотографии сохранились.

— *А ваши публикации на Западе — как реагировали на них советские официозы?*

— Ну, это было совсем не разрешено. За это сажали. И, в общем, я понимал, что мне это грозит, когда меня вызывали в этот дом, который стоит на Лубянке до сих пор... Один раз — в сам дом, а то была ещё какая-то приёмная, которая была в каком-то голубеньком здании восемнадцатого века, рядышком... Беседовали со мной очень серьёзно. Я говорил, что ничего не знаю, что это без моего ведома...

— *Во всяком случае, Кремль вы взрывать не собирались?..*

— Дело в том, что у них *работа*. У них и сейчас — *работа*; не думаю, чтобы она сильно поменялась... Работа есть работа.

— *Особое место в вашем творчестве, Генрих, занимает Пушкин. Ваша книга «Черновики Пушкина. Буфарёв и другие» с иллюстрациями Льва Кропивницкого, выпущенная в 1992 году, на мой взгляд, представляет собой особое ваше понимание Пушкина как человека и мастера¹. Могли бы вы рассказать о том, как родилась эта книга и что такое для вас Пушкин?*

— Я всегда чувствовал близость — вы меня уж простите! — свою к Пушкину. Я не сравниваю величины талантов — не могу ему равняться! Время другое... И не дерзаю ему равняться. Я просто чувствую, что ему нравилось быть разным, его недаром друзья называли «Протей». Он всё время менялся, и так же хочется меняться и мне. И так получилось в моём творчестве, что я всё время меняюсь; в том числе и эта книга о Пушкине — это... Я как-то почувствовал, что могу как-то вжиться и в Пушкина, то есть выйти и в этих одеждах, в этой маске на свою сцену. Для этого я целый год просто ничем не занимался, кроме как писал эту книгу и входил в контакт — если сказать проще — с его ду-

¹ *Сагир Генрих. Черновики Пушкина. Буфарёв и другие. РАРИТЕТ-537, Издатель С.А.Ниточкин.*

шой, некий спиритический сеанс проходил. Я знал, с чего мне начинать. Я сначала стал подражать его почерку, его рисункам... через механическое вступил в некую близость, потом стал брать его черновики — там, где не кончено, — и стараться дописывать... У меня остались разные варианты, из этих вариантов получался какой-то, который мне показался наиболее близким. Думаю, где-то — не всюду! — я попадал в точку. Конечно, это никакой не Пушкин, как вы понимаете, потому что *этого* Пушкин не сделал, но он *мог бы* это сделать. Тут — «если бы» — великое дело в искусстве, мне всегда казалось.

— *Своё семидесятилетие, Генрих, вы отметили в Париже. Случайно это получилось или нет — не имеет значения. Так или иначе, наряду с Москвой этот город занял определённое место в вашей судьбе... Вы не возражаете против такого определения?*

— Ну, это было бы странно, если б я возражал, потому что обе мои дочери здесь живут с некоторых пор, их семьи, у них дети (у меня здесь, в Париже, два внука и одна внучка)... Я приезжаю сюда не только как папа, но и как дед.

— *Что такое Париж Генриха Сангира?*

— Это русский Париж, конечно, как вы понимаете. Я до сих пор — вот, так получилось, — если бы знал заранее, я бы, наверное, изучал французский язык, а я, если несколько и владею, то — английским. А французы... Они — я это понял — очень любят (как все, но они — особенно), чтобы разговаривали с ними по-французски, и тогда больше открываются, и тогда они более любезны... Хотя в Париже любезны все.

— *Какие у вас наиболее любимые уголки в Париже? Наверное, есть такие?*

— У меня, честно вам сказать, уголков таких почти нету. У меня все самые известные туристические места — они самые любимые. Вот, я только знаю (но это, наверное, все заметили): есть улица Сен-Дени (rue Saint-Denis), а есть — улица Фобур Сен-Дени (rue du Faubourg Sain-Denis). Так вот: когда идёшь по улице Фобур Сен-Дени — это не в пример интересней, чем улица Сен-Дени со своими девицами... или, там, не девицами... тётеньками... Фобур Сен-Дени вся кипит — столько разнообразных магазинов, кафе, «овощей-фруктов»! Туши всякие висят со всех сторон, а впереди очень красиво возникает арка и сквозь неё видны корабли зданий!.. Мне вообще Париж напоминает некую флотилию. Вот так иногда стоишь на площади, смотришь — а на тебя со всех сторон плывут корабли! А это и не корабли вовсе, а дома Парижа...

Декабрь, 1998 г.



Генрих ШМЕРКИН

/ Кобленц, /

Из книги «Кент Вавилон»

Глава 3. ИДЕИ ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ

Аппаратуру и инструменты мы хранили в «бочке» — овальном сыром чулане, отведённом под музыкалку.

В прежние века — чулан этот, по-видимому, был камином или частью дымохода.

В бочке витал аромат одеколona «Русский лес», смешанный с запахом пота и табачного дыма.

Огнеупорные стены были припорошены толстым слоем побелки. Сквозь побелку проступала сажа.

В бочке жил Диоген.

Всё отдам...

Слева помещался шкафчик с эстрадной нашей униформой. Помимо униформы в шкафу хранился полосатый матерчатый матрас.

Не подумай ничего такого, читатель! В бочку не запархивали ночные бабочки, не запрыгивали младые посудомойки...

Закончив работу, музыкальное наше сотоварищество, подобно сельдям, набивалось внутрь бочки. В отличие от сельдей, сотоварищество запыралось в бочке на ключ.

Наступал момент истины.

Барабанист Бонифаций вытряхивал из своего брезентового гульфика (гульфиком барабанисты называют чехол для барабанных палочек) свежескошенные рублёвки, пятёрки и трёшники. Иногда в закрома попадали червонцы и даже четвертаки.

Подсчитав — под надзором недремлющего коллективного ока — дневную выручку, Боня еле слышно (на случай, если за дверью кто-то подслушивает) доводил до нашего сведения сумму.

Например:

«Девяносто девять рублей и хер копеек».

«Хер копеек» произносилось, конечно, ради красного словца. Копейками с нами никто не расплачивался.

Далее — барабанист воздевал взгляд к потолку, задумчиво прищуривал левый глаз и — через несколько секунд, столь же негромко — оглашал приговор:

«По двадцать четыре рубля и хер копеек — на рыло. Три рубля и хер копеек — в кассу!».

В переводе на язык Пифагора и Эвклида это означало, что, если число 99 (сумму сегодняшнего парнуса в рублях) разделить на количество не облажавшихся в «Бабилоне» оркестрантов (в данном случае — 4 рыла), то на каждое необлажавшееся рыло выходит по 24 рубля. Неделимый же остаток (3 рубля) остаётся в оркестровой кассе — до завтрашнего делаже.

«Диоген-чувак, извини. Тебе сегодня — хер рублей, хер копеек. Опять пролетаешь», — весело добавлял Бонифаций.

Разящий меч Немезиды уже несколько вечеров подряд обрушивался на многострадальную голову Диогена. То была кара за кир, за лажу в «Бабилоне».

Иногда Диоген пытался возбухать.

Но греческая богиня не давала Диогену спуска.

«Кирять, чувак, надо меньше!» — говорила Немезида прокурренным Бониньим голосом.

«Подумаешь, всего-то и выпил — пивка бутылку» — нехорошо улыбаясь, отвечал ей Диоген.

«Тебе же, чувак, специально, ноты положили. Или ты лабать по чувакам не умеешь?!» — подковыривал Диогена барабанист.

По чувакам — у Бони означало «по ним». По ногам.

Чувак и чувиха служили Бонифацию, кроме прочего, местопимениями; он вворачивал их — куда ни попадя: «На первое попросил у Манюни — окрошечки порцию. Принесит мне чувиха окроху. Я чувиху попробовал — клёвая окроха, только посолить надо. Беру солонку. И тут с чувихи крышечка слетает — не закрученная была — и вся соль из чувихи — мне в окроху. До хера насыпалось. Я чувиху зову, что-то лажу, говорю, перехотел я окроху. Забери, говорю, чувиху на хер и неси, говорю, что там сегодня на второе. Чувиха уносит окроху и приносит битки. Два чувачка таких загорелых, с рисом и с томатной подливкой. И тут к соседнему столику прилаживается чувак и заказывает тоже — окрошечку! Чувиха приносит. Чувак пару ложек свержаря хлебнул, потом решил гушечки бирляннуть. Зачерпнул со дна, глотнул — и тут у чувака глаза на лоб, на хер, полезли. А это чувиха ему мою окроху принесла...»

Вообще-то — за те три рубля, которые ежемесячно высчитывала из нашей зарплаты гуманная бухгалтерша, нам было положено лишь блюдо винегрета.

Мы же — регулярно, после второго отделения — получали обед по полной программе — с салатом и компотом. Это со-

гревало душу. Особенно в те дни, когда, потрянув пустым гульфиком, Бонифаций констатировал: «Сегодня, чуваки, опять голяк на хер...»

Разделив (или не поделив) бабки, мы складывали инструменты, переодевались и, хлопнув по пятьдесят капель на посошок, рассасывались по домам.

Иногда, если в общаке нашем появлялась бутылка-другая (от размякших клиентов), мы брали у буфетчика пару бутербродов и задерживались до победного конца.

Диоген распахивал дверь бочки настезь, проветривал своё жилище, затем вытаскивал из шкафчика матрас и гасил свет.

Спать Диогену приходилось на полу.

Укрывался он куском кумачового полотнища с осыпающейся надписью «ЛЕНИНА ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ!»

Глава 10. ДЕДУШКА ЯША

Дедушка Яша — мамин папа — был знаменитым на всю Владимирскую подковырщиком.

Узнав, что отец нашёл нам за городом всего за тридцать рублей дачу на всё лето, дед сказал ему без тени улыбки: «Лёва, зачем тратить такие деньги? Отключи свет, вывали себе под окно подводу навоза за пятёрку, и будет тебе дача».

Во дворе у нас был сад. Четыре яблони, три абрикоса, слива, груша-лимонка, несколько кустов малины. За садом ухаживал дед. При этом я никогда не видел, чтобы он ел какой-нибудь фрукт. Дед окапывал деревья, обрезал сухие ветви, белил стволы, но не вкушал плодов. Особенно тщательно следил он за небольшой плантацией конопли, протянувшейся вдоль сарая.

Каждый год конопля вымахивала выше забора — в полтора, а то и в два человеческих роста.

Осенью дед собирал семена конопли, аккуратно пересыпал их с ладони на ладонь, выдувая шелуху, и упаковывал в коробки из-под спичек. После того, как семена были собраны, дед поручал сбор главного урожая мне. Я брал штыковую лопату, рубил под корень сухие конопляные стволы и складывал их в сарай.

Конопля, объяснял мне дед, нужна для утепления погреба — чтобы не промерзала картошка, заготавливаемая на зиму. Весной дед вскапывал сад, сеял коноплю, а в самом углу двора сажал несколько луковиц мака.

Курил дед исключительно махорку. Иногда он сворачивал козы ножки, иногда набивал трубку.

Вовка Арефьев, с которым мы часто играли до одури в футбол, рассказывал: «Иду нах хаузе из школяндры, а у вашей калитки дед твой стоит. Вроде, как поддатый, и сигарку смалит. Дым пускает, как паровоз. Я ему: «Дядя Яша, закурить не найдётся?» А он мне: «А я не курю!»

Настроение у деда не портилось никогда. И он всё время, как говорила бабушка, «сосал свою соску».

На улице дед выходил, как денди — в отутюженном френче сталинского образца, в галифе, шитых на заказ, и в сияющих хромовых сапожках на высоком каблуке. Роста дед был небольшого.

Летом — регулярно, раз в месяц — нас посещал участковый милиционер дядя Коля. Он проходил сразу к сараю, у которого росла наша конопля, расстёгивал планшетку и доставал какие-то бланки. Прокладывал между ними синюю копируку, присаживался на скамейку и начинал слюнявить химический карандаш. «Конопля, значит, так и не ликвидирована... Придётся составлять акт!» — радостно говорил он, снимая фуражку и тщательно пригладивая вспотевший чуб.

Визиты эти заканчивались полюбовно: во дворе появлялась моя бабушка со стаканом водки и наспех приготовленным бутербродом, дядя Коля прятал бланки обратно в планшетку, отстраня, как правило, бутерброд, выдувал стаканяру, утирался рукавом и, расстёгивая верхнюю пуговичку на своей милицейской рубашке, незло советовал деду немедленно скосить всю коноплю, а он через месяц придёт и проверит.

Дед объяснял мне, где зарыта собака. Оказывается, вышло постановление, запрещающее коноплю. Чушь собачья — будто бы какая-то банда убивает людей, а трупы подбрасывает в заросли конопли во дворе. Как будто бандитам больше нечего делать, и они не могут придумать что-нибудь поинтересней.

Умер дед по-дурацки — в результате элементарнейшей передозировки, от руки врача скорой помощи. Случилось это через несколько лет после смерти бабушки.

Проснувшись среди ночи, мама увидела свет в дедушкиной комнате. Зайдя туда, она застала деда при полном параде — в галифе, кителе и сапогах — в обмороке на кушетке. Мама дала ему понюхать нашатырного спирта, он сразу пришёл в себя, пожаловался на боль под ложечкой и снова вырубился.

Подобное уже случалось однажды с дедом. Молодой ординатор скорой помощи, перепробовав тогда на дедушке кучу медикаментов, нашёл, наконец, нужный и ввёл ему полный шприц.

Когда деду полегчало, ординатор начертил на рецептурном бланке название препарата и сказал маме, что, если когда-нибудь придётся опять вызывать скорую, чтобы она обязательно показала врачу этот бланк. И чтобы тот не вводил деду ничего, кроме записанного на нём препарата. И ни в коем случае не давал обезболивающего.

Итак, следующий раз наступил.

Мама снова вызвала скорую, а когда та примчалась, показала фельдшеру рецептурный бланк.

Дед снова пожаловался на острую боль, фельдшер достал из саквояжа ампулу и сказал маме, что должен сделать укол мор-

фия. Мама возражала, но, видать, недостаточно активно. Фельдшер накричал на неё — ему, мол, видней, как поступать в таких случаях. Он тут же сделал деду внутривенное. Когда он заканчивал, дед был уже мёртв.

Знакомые советовали подать на фельдшера в суд, но родители этого не сделали. Деда ведь не вернёшь...

Видит бог, — я рос непорочным мальчиком. Ибо лишь через тридцать лет после смерти деда узнал, зачем выращивал он коноплю. И что пристрастился к ней, когда сидел, по обвинению в шпионаже, в Карлаге. Узнал от своего младшего брата, который оказался намного наблюдательней и прозорливей меня.

Глава 13. ПАГАНИНИ

До Электрошурки — в «бабилонском» нашем оркестре — на басовке играл Коля Островой, по кличке Паганини.

Днём Николо «клеил людям» обои.

Это была песня.

Паганини был обойщиком-баркароло, обойщиком-виртуозом, обойщиком-престо-а-темпо, обойщиком-ля-фине. Заказов у него было, хоть ночью ешь. За один обойный (убойный) день Паганини огребал месячную инженерскую зарплату.

Что касается лабания, то басистом он был — типа «до-фа».

Не знаешь, что это, читатель?

Опять займёмся ликбезом. Не стану мучить тебя теоретическими выкладками. Не буду — со свойственным мне занудством — рассказывать, на какой линейке пишется «фа», а на какой — «до».

Начнём непосредственно с практики.

Слушай внимательно.

Закрой глаза.

Представь себе:

Ты сидишь не дома (в метро, в автобусе, на работе), а в харьковской филармонии, приблизительно в третьем ряду.

Я сказал «Закрой глаза!». Что за дурацкая привычка всё время пялиться в текст?!

Настоящий читатель должен слышать, о чём кричит автор. Иначе несчастный автор сорвёт голос. И дальше — ничего, кроме сплошных «кхе-кхе!» и «кхм-кхм!», читательскому взору не предстанет.

Ну что, закрыл?!

Продолжаю.

Итак, ты сидишь в зале филармонии.

Кругом — свежестроенные башни дамских причёсок, волнительный плеск вееров, одуряющий запах духов, глубокие бассейны декольте, в которых плещутся...

Ладно, не будем...

На сцену выходит конферансье в чёрном фраке. И голосом, не допускающим возражений, объявляет: «Чардаш Монти. Исполняет солист филармонии, контрабасист-виртуоз Николай Островой».

Появляется виртуоз с контрабасом.

Аплодисменты, и вновь тишина.

Представил, читатель?!

...Непокорная прядь волос ниспадает на вдохновенный лоб маэстро.

С невероятной проворностью охаживает виртуоз толстые контрабасные струны. Руки его скачут столь стремительно, что музыкант начинает напоминать многорукого индийского Шиву, в каждой руке которого — ещё и по смычку.

Однако вместо чардаша — со сцены доносится лишь протяжное, хриплое блеяние металлических струн: «До-о-о-о-о-о — фа-а-а-а-а-а...»

...Из партера, с галёрки — в солиста и его контрабас — летят помидоры, возвращённые совхозом «Пролетарий Харьковщины» (пролетарии всех стран, пролетайте!), диетические яйца Борковской птицефабрики, груши садово-огороднического кооператива «Изобретатель», дыни магазина «Рыбтрест» и ряд других просроченных продуктов.

Представить себе такое, дорогой мой читатель, — невозможно.

Во-первых, контрабас — не скрипка. И «Чардаш Монти» на нём — сыграешь вряд ли.

И, во-вторых. Рачительные харьковчане никогда не станут швыряться дарами природы и инкубаторов. Ибо дары эти употребляются харьковчанами в пищу.

Из гнилых томатов, например, можно сконструировать великолепный борщ, из не очень свежих яиц — бисквит, из груш — компот, а подпорченные дыни — само провидение велит переработать на самогонку.

Кроме того, нельзя себе представить, что подобному «до-фа» (а именно такие басисты относятся к категории «до-фа») удалось пролезть в филармонию.

Басисты «до-фа», как правило, прячутся за чугунные глотки, шустрые клавиши и звонкие струны своих коллег в некоторых общепитовских ВИА.

Ау-у, читатель!

Ты проснулся?

Покидаем филармонию и быстренько (одна нога там, другая — здесь!) отправляемся в кабак, где работали мы с Паганини.

Барабанистом у нас был Саня Гиюр-Братский, тащившийся на группу Бони-М и получивший за это кликуху «Боня» («Бонифаций»).

Стучал Боня задорно, тр-р-рескуче — на ветхих своих барабанах, обклеенных поблескивающими обоями «под плитку» для ванной.

Обои на Бонины барабаны «поклеил» — за 20 р. — Паганини.

Такой влагонепроницаемой обшивке были нипочём не только взбитые сливки, соус ткемали и яичный ликёр, но даже свекольный самогон, пиво, вино «Лиманское» и рвотные массы.

Издали барабаны выглядели внушительно. Казалось, они обложены кафелем.

Из водоотталкивающих своих тамбуринов громовержец Бонифаций исторгал молнии. На сверкающие медные тарелки обрушивался ливень его барабанных палочек. Играли мы по принципу «чем громче, тем лучше».

Визжал, в три глотки, электроорган, бил по ушам саксофон.

Паганини демонстрировал чудеса исполнительского мастерства. На одухотворённом лице маэстро отражалось движение музыкальной мысли, пальцы стремительно бегали по гитарному грифу, демонстрируя пассажи высочайшего пилотажа.

И только прильнув ухом к басовому динамику, можно было уловить тихое, жалостливое: «До-о-о-о-о-о — фа-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Независимо от тональности и ритмического рисунка исполняемого произведения.

Глава 23. АДОЛЬФ

После того, как из нашего «фойерного» (не от «фойер», а от «фойе»), музкомедийного джаза свалил Варезка, Гриша Пинхасик привёл нового пианиста.

Звали новичка Адольф Яковлевич, он годился мне в отцы.

У Адольфа был хищный сионистский нос, голову украшал слиток свалявшихся рыжих волос, смахивающий на вычурный золотой портсигар.

Казалось — над матральником Хилоидовского поработал немелый бутафор. Нос Адольфа Яковлевича смотрелся так, будто его наклеили наспех.

Надыбал его Пинхасик — в симфоническом оркестре филармонии, где Хилоидовский играл третью скрипку.

...Адольф рассказывал, как в войну дали ему деревенские пацаны прозвище «Гитлер».

Отец на фронте погиб, а сын вдруг — Гитлер!

В войну Адольф с матерью в эвакуации были. В Узбекистане, под Ташкентом. И приписаны — к бахчеводческому колхозу имени товарища Герцена.

Пошёл Адик к председателю сельсовета товарищу Прохорову и попросил выправить «Адольф» на «Аркадий».

И сказал ему председатель, что менять имя — это просто дурь. Потому что в канцелярии небесной уже записано: «Адольф». И числиться ему там — Адольфом — по гроб жизни, несмотря на сельсовет и прочие высшие инстанции.

И что сам он после 1917-го тоже хотел имя сменить, но отговорила его маманя, земля ей пухом. А сейчас — и в голову никому не придёт — такого имени стесняться. А по тем временам звучало оно так, что не приведи господи.

Неудобно Адиду стало, что не знает, как председателя кличут.

— Извините, а как вас зовут? — спросил Адик у товарища Прохорова.

— Очень просто, — ответил тот, — Николай.

Глава 25. ФИГУРА ФИГАРО

...Играть в музкомедии приходилось совсем немного. Час — до спектакля и сорок минут — после. По средам, субботам и воскресеньям.

Бывали вечера, когда Хилоидовский был занят и у нас, и в филармонии.

Тогда Адольфу Яковлевичу приходилось изображать «фигуру Фигаро».

Концерт в филармонии начинался одновременно со спектаклем в музкомедии.

Не доиграв доспектаклевого отделение до конца, Хилоидовский захлопывал крышку рояля, стремглав выбегал из театра и, оседлав мотороллер, нёсся в филармонию. Запарковав транспортное средство у входа, влетал в храм искусств.

С проворством солдата первого года службы он напяливал на себя униформу, мгновенно настраивал скрипку (пианино для этой цели Адольфу Яковлевичу не требовалось — высоту тона он помнил наизусть), после чего появлялся, среди прочих оркестрантов, на сцене — в белой манишке, бабочке и в чёрном фраке с лоснящимся воротником.

Если времени у Хилоидовского оставалось в обрез, — третий скрипач лишался чувства локтя и, к ужасу дирижёра А. Махлина, начинал демонстрировать чудеса техники, ускоряя темп и уводя за собой весь оркестр. За что подвергался репрессиям и не вылезал из-за пюльта третьих скрипок.

Справившись с работой, Адольф снова садлал мотороллер и летел обратно — в наш «фойерный» джаз.

Переодеться «в гражданку» Хилоидовский, не успевал.

Он мчался по Сумской, Университетской, Свердлова, потом вырывался на Карла Маркса.

Крылья фрака раздувались в разные стороны. Вцепившийся в руль мотороллера Адольф напоминал орла-стервятника, несущегося с добычей на бреющем полёте.

Он поспевал к началу послеспектаклевого отделения, вспархивал по лестнице в фойе второго этажа и приземлялся на стульчик у рояля. Мы были уже на местах. Улыбаясь и тяжело дыша, Хилоидовский заводил «Королеву красоты» или «Замечательного соседа».

...Он полюбил меня, как сына, когда я окончил техникум, попал на работу в НИИметаллпромпроект и поступил в вечерний институт. Он извинился вдруг за старую дурацкую шутку с котлетами. Стал приглашать домой. Ему, мол, импонирует моя серьёзность.

До встречи с Мариной оставалось 4 года.

Оказалось, Хилоидовский хочет познакомить меня со своей дочкой. Он был напорист, как русский ледокол «Сибирь», и нахваливал свой товар, как торговец дынями на восточном базаре.

Хорошая, скромная. Стройная, как горная козочка. Учится на фармацевта.

Родители упакованные, это большое дело — всегда помогут, если что.

Мать — педикюрша, имеет живую копейку.

Он, как и я, — на двух работах...

Адольф приглашал к себе — посмотреть квартиру, посидеть за рюмкой чая, познакомиться с Норочкой.

Я ссылался на занятость, на коллоквиумы и зачёты.

О, если б знал Адольф Яковлевич, что, кроме прочего, я ещё и пишу!

В ту пору я писал по два-три письма в день (в Ташкент, студентке иняза Жене Поплавко!), и каждое моё послание занимало несколько страничек убористого текста...

Хилоидовский приглашал ещё и ещё...

Скумекав, что это — дохлый номер, Адольф Яковлевич отстал.

Глава 28. И О ЛЮБВИ, И О СУДЬБЕ...

— Итак, вернёмся к вашему прошлому, — сказал экстрасенс. — Какую область вашей жизни будем освещать?

— А что вы можете предложить? — ответил я вопросом на вопрос.

— Мы же договорились: вы называете меня на «ты».

— Я спрашиваю, что вы можете мне предложить, — продолжал стоять на своём я.

— Пожалуй, я с абсолютной точностью назову сейчас... — экстрасенс сделал паузу, — ваши любимые блюда.

Здесь белесый хохотнул, едва не поперхнувшись остывшим кофе.

— Что ж, валяйте... — согласился я.

Клиент мне уже порядком поднадоел.

Алекс напрягся, на виске проступила пульсирующая жилка. Он думал минуты три, потом торжественно произнес:

— Вы, уважаемый Сева, любите мучное и сладкое.

— Вы сказочно проницательны, гражданин фокусник! — улыбнулся я. — Даже беглого взгляда на мою ряху достаточно, чтобы это понять.

Мальчишка играл со мной в непонятную игру:

— А ещё вы любите куриные котлетки, фаршированную рыбу, цимес, а ещё любите...

— Отлично! — перебил я экстрасенса. — Итак, Алекс, вы говорили о любви. Я весь внимание. Поведайте мне, как говорится, «и о любви, и обо мне»!

— О любви? Что ж, — о любви, так о любви.

Сзади неслышно подошла Манюня с подносом и выгрузила на наш столик две порции эскалопа с жареной картошкой.

— Ваши два вторых. Борща уже, извините, нет, — виновато улыбаясь, сказала она.

— Даёшь не дать закуске остыть! — удачно, как мне показалось, скаламбурил я — и набросился на кусок мяса с жареной картошкой. Нож отчего-то не ладил с вилок, вилка — с эскалопом. Сделав несколько жевков, я почувствовал, что сыт по горло.

— Так вот, о любви... — подождав, пока я проглочу, продолжил экстрасенс. — Если вы этого хотите, я расскажу вам о любви. Слушайте и не перебивайте. Какого-то особенного опыта в этом вопросе я у вас не вижу. И вообще, в ваши тридцать шесть... Кстати, вам тридцать шесть?

— Да, тридцать шесть, — был вынужден признать я.

— Вот видите, в ваши тридцать шесть ваш донжуанский список... Хотя, нет... Списком это, пожалуй, не назовёшь. Список предполагает нечто серьёзное. Список — это как в классном журнале — от «А» до «Я». А у вас не список, а... (здесь он на мгновение задумался, подбирая подходящее слово). Да-да, не список, а афоризм какой-то! Скажу больше — вы никогда не болели гонореей.

Я утвердительно кивнул.

— Это весьма сомнительное доказательство мужской доблести — изрёк безусый и ухмыльнулся. — Поэтому я не вижу смысла продолжать эту тему. Хотя, пожалуй... — он зевнул и потянулся, — мне всё-таки есть, что вам сообщить.

— Да-да, очень интересно! — подзадорил я оракула.

— Четыре.. Я вижу цифру 4... Несмотря на ваш небогатый любовный опыт, у вас было 4 женщины с одинаковым — да-да — с одинаковым, и вместе с тем — очень редким именем!

И снова возникла Манюня. Она несла нам по бисквиту и по стакану чёрного чая с лимоном.

Алекс вытащил из портмоне червонец и протянул его Манюне.

Глава 31. ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ

Вскоре появился Алекс. Он приехал на украшенном лентами автобусе, со своими гостями.

Мы возлабали, как положено, Мендельсона.

Гости расселись.

Одной паре не хватило места.

Воистину, кто успел — тот и съел.

«У, говноеды! — шепнула мне Манюня на ходу, ковыляя за ещё одной вазой для цветов. — Заказали ровно на 102 человека. Нет, чтоб заказать на 110 — вдруг припрётся ещё кто-нибудь».

...Что сделал бы ты, дорогой читатель, на месте хозяев?

Придвинул к столу ещё пару стульев? Или потрянул мошной и велел накрыть дополнительную поляну — на случай, если подтянется сверхплановая родня?

...Пока неустроенная супружеская пара — Галина Семёнова и Артемий Петрович — ждала положительного решения вопроса, между сватами вспыхнула дискуссия.

«Будо ж домовлаэно — по пятьдесят одний людьни с кожний стороны! В нас уси — ти, шо трэба. Никого льшнього. Це вы позвалы бис зна скилькы. Так шо з охвицьянткамы домовляються сами!» — выговаривал свахе папа жениха.

К сверкающей его кожаной куртке была приколата медаль «За трудовые заслуги». Ходил папа, опираясь на массивную резную палку, какие делают на Гуцульщине.

«Мы тэж никого лишнього нэ звалы», — не сдавалась мама невесты.

«Ой, так уж и нэ звалы!» — съехидничал отец Алекса.

«Пэрэвиртэ своих», — продолжала стоять на своём сваха.

«Може, хтось чужый прыйшов — пойисты-выпыты на шермака?!» — высказал предположение папа. Затем откашлялся и объявил: «Так, шановни туварыщи! У заи можуть буты посторонние! А ну, мои гости, встаньтэ! А свахыны — сыдите! А мы со свахою зараз подывьмыся».

Жениховы гости поднялась с мест.

...Есть такой способ — погулять на халяву. Человек приходит на свадьбу, садится за стол. Невеста думает, он — со стороны жениха, жених думает — со стороны невесты. Как только затевается одаривание молодых, неоднократно остограммившийся и нахававшийся деликатесов шаровик отлучается, с понтом, в туалет. И, как разбухший, отяжелевший бумеранг, не возвращается уже никогда...

Папа со свахой медленно пошли вдоль стола, высматривая чужих среди своих. Отец — среди стояльцев, сваха — среди сидельцев.

«Ци, — взвизгнула мама невесты, указывая на одетого в шерстяной пуловер мужика с поухлой рожей и сидящую рядом, виновато улыбающуюся молодую кралю в мини-юбке. — Ци обьдва — нэ мои!»

«Нэ твои, кажэш? Та й нэ мои тэж...» — вздохнул папа.

И, отоварив мужика, что есть силы, по хребту своей гуцульской палицей, гаркнул: «Гэтэ звидциля, сучьи диты!»

Мужик втянул голову в плечи.

Краля заголосила.

Папа отоварил прихлебателя ещё разок.

«Мамо, мамо, шо ж цэ вин робэ?! — всполошилась невеста. — Цэ ж мий вчытель! Ясновидящий Поликарп!».

Ясновидящий схватил рыдающую спутницу за руку и, беспрестанно оглядываясь, потащил на выход.

Участливо вздохнув, Галина Семёновна и Артемий Петрович проскользнули на освободившиеся места. Предшественники позаботились, чтобы тарелки Галины Семёновны и Артемия Петровича были затарены маринованными лисичками, оливье и дефицитной атлантической селедочкой. Кроме того, в тарелке Галины Семёновны оказалась пара бутербродиков с икрой, которые успела ухватить себе краля ясновидящего.

Невеста бросилась вслед за учителем. За ней — с места сорвался свидетель.

Жених остался сидеть, тщательно рассматривая свою вилаку, нож и намалёванную на тарелке красную розу — эмблему любви. Что-то явно не ладилось в только что народившейся на свет семье...

Вскоре свидетель привёл зарёванную невесту.

Отец жениха со свахой двинулись дальше.

Из-за стола поднялись двое молодых людей в синих лавсановых костюмчиках и без лишних слов сквозанули на улицу.

Так или иначе, дополнительные стулья не понадобились. И даже наоборот — два места за праздничным столом оказались свободными.

Свадебное действие началось.

Я, как обычно, подошёл к столу — с саксофоном наперевес, постучал вилакой о бутылку шампусика, призывая народ к тишине (так председательствующие стучат на собраниях по графину с водой) и звонким пионерским голосом объявил:

«Дорогие товарищи!

Разрешите.

Торжественное застолье.

Посвящённое.

Дню бракосочетания.

Алекса и Ингрид.

Считать.

Открытым!».

Мы врезали первый аккорд торжественного марша.

Послышался грохот отодвигаемых стульев, все встали.

Сразу за первым аккордом последовала модуляция, и мы перешли на «Обручальное кольцо».

Я дул без микрофона, прямо в лица счастливым почитателям живой музыки (уже тогда, в конце восьмидесятых, на сценах некоторых харьковских кабаков появились фанерщики).

Пока я дул, мамаша невесты засвиристела мне прямо в ухо: «Сынок, я тэбэ прохаю, нэ трэба сьогодни нияких Алэксав, нияких Ингрыд. Мою доньку зваты Ларою, а молодого — нэ Алэксом, а Володькою. Цэ воны соби таки собаччи прызвиська для роботы узялы!».

Сыграв в темпе марша припев, мы снова сделали модуляцию и закончили тем же мажорным аккордом.

Я продолжил:

«Шампанское тоже — разрешите считать открытым. Прошу наполнить бокалы».

После чего выдал очередную ветхозаветную остроту, или — как говорят особо тупые свадебные шпрыхмейстерши — репризу: «Мужчины, ухаживайте за дамами. Не забывайте, что сегодня может наступить такой момент, когда дамам придётся ухаживать за вами».

Пока гости открывали шампанское, я подбежал к молодожёнам — на предмет выяснения, как их теперь называть.

Получив добро на «Ларису и Владимира», я громко провозгласил: «Уважаемые гости! А сейчас давайте пожелаем долгих лет супружеского счастья нашей очаровательной паре — Ларисе и... Олегу!».

Клянусь, я и поныне не знаю, откуда вспрыгнул мне на язык этот злополучный Олег.

Ну, оговорился. С кем не бывает? Но почему вместо Володьки — именно Олег?! Тот самый Олег, с которым бедная Лара встречалась до своего нынешнего жениха?!

Возможно — совпадение. Точно такое же, как недавняя заморочка безусого экстрасенса о спасении моего деда и реальная история с еврейским погромом в пригороде Вильно...

«Так, значит, вы уже в курсе насчёт Олега?!» — пробормотал Алекс-Володька. И вдруг заорал, указывая пальцем на свою тётку: «Это она, она! Его подговорила эта старая сука! Я видел, как она с ним шепталась!».

— Ах, цэ моя маты стара сука?! — воскликнула Лариса-Ингрид и залепила жениху пощёчину.

Алекс-Володька в долгу не остался и заехал невесте по печени.

К новобрачному подскочил родной брат невесты. Через мгновение новобрачный утирал рукавом окровавленный нос. Первым, кто запустил в него тарелку, была тётка невесты Елизавета Васильевна, приехавшая на свадьбу аж из Конотопа...

Гости пошли врукопашную — стенка на стенку.

Это был день летающих тарелок, подбитых глаз и размётанного по стенам холодца.

Мы похватили микрофоны, инструменты и попытались, было, покинуть поле брани. И тут раздалась пронзительная трель милицейского свистка — это выскочила из кухни бес-

страшная Манюня. Драка прекратилась. Манюня продолжала свистеть. Щёки её раздувались, как у легендарного джазового трубача Дизи Гиллеслипи.

— Немедленно прекратите безобразие, иначе через минуту здесь будет милиция! — объявила гостям Манюня.

32. ИЗДАЛЕКА ДОЛГО

Дело приобретало привычный для крестьянской свадьбы оборот.

Бойцы, только что бившиеся насмерть, пустили по круту бутылку.

Мероприятие продолжалось — предстояли жареные куры, одаривание, шашлык и сладкий стол.

Я объявил проветривание.

Жених умывался в туалете.

Публика вывалила на улицу — покурить.

— Что случилось, чувак? Ты что-то не то ляпнул?! — поинтересовался Бонифаций.

— Всё бывает. И на «А» бывает, и на «О» бывает, и на «Ё» бывает, — ответил вместо меня Диоген.

Мы тоже пошли курить. Но не на улицу, а в предбанник.

— Надо бы с этого мудачья снять бабки. А то кто его знает — что у них на уме, — сказал Электрошурка.

— Да мне сегодня как-то не в жилу, — ответил я. — Пусть пойдёт Андрюха. Или Боня.

— Нет, чувак. Ты командир, ты и пекись о башлесостоянии коллектива, — возразил Бонифаций.

Пришлось объяснять, что именно мне — сегодня могут не дать ни копейки, да ещё и накостылять по рылу — за этого мифического «Олега», неизвестно откуда спрыгнувшего мне на язык...

За бабками было решено командировать Андрея Неживенко.

Мы поднялись в зал.

Обе мамы собирали с пола осколки посуды и ошмётки паштето-винегрето-холодца.

Манюня с папой жениха переносили уцелевшую закуску со стола на подоконники.

Надлежало сменить скатерти.

Ко мне подошёл мужичонка в белоснежной вязаной кофте и попросил спуститься в предбанник, к жениху. Мы вышли с ним в предбанник, но там было пусто. Мужичонка выглянул на улицу.

— Вон он здесь, курит, — сказал мне мужик.

Я вышел.

Перед входом стояла гомонящая мужская компания.

— Видишь ли, тут такое дело, — начал, было, мужик.

— Погодь, Пэтро, я зробию цэ краще, — перебил его здоровенный жлобьяра и врзал мне вдруг коленом — промеж ног...

Дичайшая боль...

Ни вздохнуть, ни охнуть...

Я согнулся пополам и повалился на снежок.

...У этого амбала меня отбили трое.

Благодаря этим троицам — уже через мгновение — я оказался в салоне старенькой «Победы», стоящей у обочины.

Град кулаков застучал по стёклам и крыше автомобиля.

Водила включил газ и тронул машину с места.

«Спасён...» — подумал я.

...Мы выехали на Красношкольную Набережную и остановились недалеко от кафе «Факел». Шоферюга заглушил мотор и сходу отоварил меня кулачищем в подбородок. В глазах взметнулся и сразу погас синий фейерверк искр.

Я почувствовал, что из меня выходит жизнь (оказалось, жизнь может заканчиваться фейерверком...).

Ещё фейерверк... И ещё...

...Когда я был маленьким, бабушка читала мне сказку: «...И почувствовал царь, что пришла к нему смерть, и велел он позвать царевича...».

Тогда я никак не мог понять, — как человек может ощутить приближение конца.

...Река ещё не успела покрыться коркой льда.

...Обволакивающий, впивающийся в тело холод сковал руки, ноги, шею, ударил в виски. Ощущение умирания мгновенно отлетело. Почувствовав вдруг необычайную, воловью силу, я легко оттолкнулся от липкого речного дна и попытался выплыть, выскочить, выкарабкаться на гранитный берег...

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Оригинал-макет *Б. Марковский*
Дизайн обложки *С. Пионтковский*

Издательство
«Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 12.05.2010. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 20,6. Печать офсетная. Заказ 98.
Тираж 500 экз.

Мы – в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили – в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы – перенесенный
в ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...

